



СЕРГЕЙ АБРАМОВ

ОПОЗНАЙ ЖИВОГО



13143

31511 13421

71321

55141

34125 13321

84101

СЕРГЕЙ АБРАМОВ

**ОПОЗНАЙ
ЖИВОГО**



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1979

Абрамов С. А.

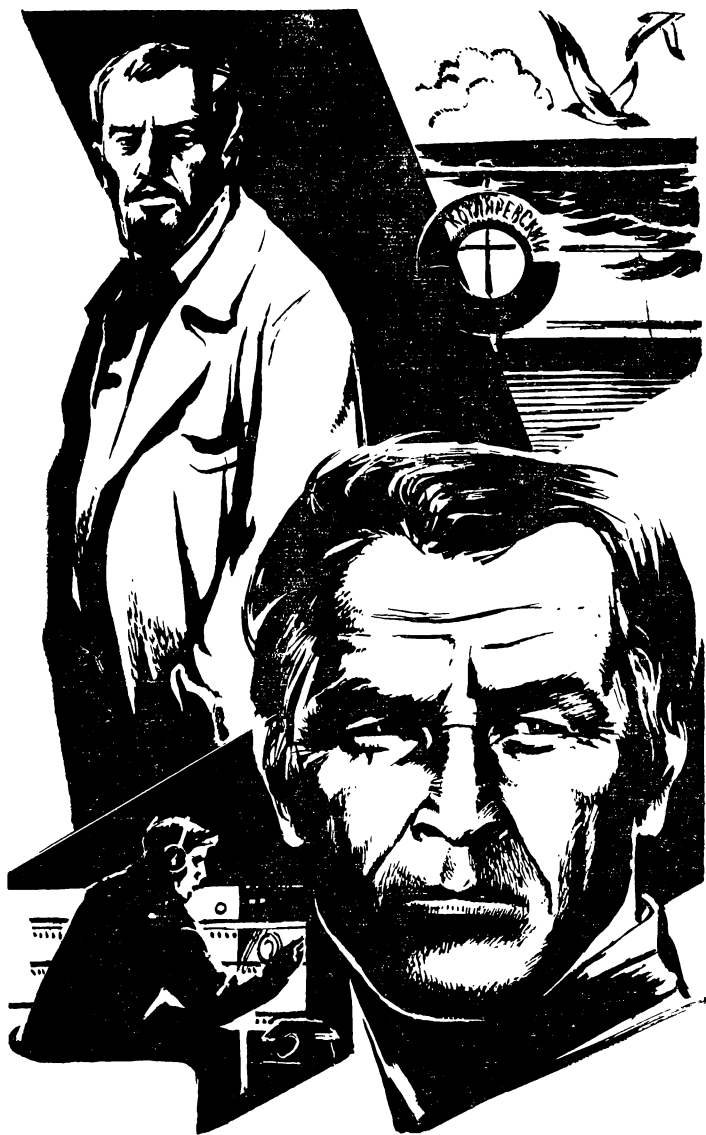
A16 Оpozнай живого. — М.: Мол. гвардия, 1979. —
256 с., ил. — (Стрела).
1 р. 10 к. 100 000 экз.

В новый сборник молодого писателя С. А. Абрамова вошли две повести: «Оpozнай живого» и «Сложи так», рассказывающие о борьбе советских чекистов с агентами иностранных разведок, заброшенными на территорию нашего государства.

P2

A $\frac{70302-232}{078(02)-79}$ 247—79. 4702010200

ОПОЗНАЙ ЖИВОГО



Я выхожу из ванной двухместного номера приморской гостиницы и почему-то поглядываю на потолок. Он так высок, что цепочку люстры с молочно-матовыми фонариками следовало бы удлинить по меньшей мере на метр. Такие величественные готические палаты я видел до этого только в застенчивых парижских переулочках в патриархальных отелях для богатых негодяев.

Я надеваю у зеркала белую водолазку с красной каемкой у шеи и серый твидовый пиджак.

— Старейший ловелас с Больших бульваров, — критически замечает Галка.

— Не язви. Принимай душ, и пойдем.

— Душ меня не устраивает. Нужна ванна. Иди один.

— Жаль. А может, без ванны?

— Иди, иди. Я уже была в Одессе в пятьдесят первом и шестьдесят восьмом. Все то же, только пообтерлось и постарело.

— А я не был здесь с сорок пятого, когда Седой вызвал меня в Москву.

— Значит, начнется паломничество по святым местам?

— Это как смотреть, Галочка. Для меня они действительно святые.

— Знаю даже, с чего начнешь.

Я молчу.

— Конечно, с трехэтажного дома на углу Свердлова и Бебеля! — смеется Галка. — Так он не постарел — одряхлел. Черная дыра вместо подъезда. Двери почему-то сняты, а перила на лестнице еле держатся. Я и на дворе была. Он кажется совсем крохотным. Знаешь, как уменьшается пространство детства, когда взрослеешь? И старого каштана посреди уже нет, и дворовая наша Швамбрания вспоминается с жалостью. Лучше не ходи, кавалер Бален-де-Балю.

Так меня окрестили в звонких ребяческих играх, по имени владелицы частной женской гимназии, в которой после революции обосновалась наша советская трудовая школа. Мне очень нравилось это роскошной звучности имя, особенно после того, как я прочел Ростана в переводе Щепкиной-Куперник. Кавалер Бален-де-Балю!

«Дорогу, дорогу гасконцам, мы с солнцем в крови рождены!»

— Для полковника это, пожалуй, чуть-чуть сентиментально, — иронически добавляет Галка, — особенно когда ему уже за пятьдесят.

А тогда мне было двадцать два года...

Мы собирались на чердаке над Галкиной комнатой, куда можно было проникнуть сквозь дыру в потолке из бокового чуланчика. Нас было пятеро, сгрудившихся вокруг старенького, починенного мною радиоприемника, хрипловатым шепотом передававшего согревающие сердце слова: «От Советского Информбюро...» Пятеро выросших на одной улице, в одном дворе и в одной школе: я, недоучившийся юрист-первокурсник, работавший наборщиком в типографии «Одесской газеты», школьница Галка, дотянувшая до десятого класса и вместо вуза поступившая официанткой в немецкий ресторан на углу Преображенской и Греческой, Володя Свентицкий, перво-разрядник по боксу в полусреднем весе, укрывшийся от румынской мобилизации в артели грузчиков на станции Одесса-Товарная, и его брат Гога, бывший пионер, ныне чистильщик сапог на Приморском бульваре. А чуть в стороне примостилась Вера, когда-то библиотекарь городской библиотеки имени Ивана Франко, превращенной в общежитие для гарнизонных солдат из охраны губернатора Алексяну, — книги сожгли, персонал разогнали, книжные стенды перешли под солдатские койки. Веру тогда стараниями Галки удалось устроить кастеляншей в соседний с рестораном отель «Пассаж» на той же Преображенской. Она распределяла и сдавала в прачечную постельное белье для гостиничных постояльцев — офицеров немецких резервных частей, задерживающихся в Одессе перед отправкой на фронт.

— Единственная из нас, кому не удалось дожить до Победы, — говорит Галка.

За четверть века супружеской жизни мы уже привыкли к семейной телепатии, и я понимающе подхватываю:

— Почему единственная?

— Я имела в виду нашу инициативную пятерку. Все выжили, только жизнь разбросала.

Галка уже не думает о ванне. Запахнув халатик, она тянется к лежащей рядом на тумбочке моей сигаретной пачке. Между прочим, она не курит.

— Оставь, — говорю я.

Не слушая меня, она берет сигарету, неумело мнет ее пальцами и долго глядит на кончики своих тапочек.

— Самой большой загадкой для меня был ее провал. Я даже не прислушивалась к разговорам за столиками. Все думала: кто? Кто предал? Ведь она была связана только с Седым, информацию передавала, как говорится, из рук в руки. А провалилась явка не Седого, а дяди Васи.

Я смотрю в зеркало на Галку. Смешинки в глазах ее погасли, да и сами глаза как будто ввалились. Или мне это показалось в тусклом зеркальном стекле?

— А помнишь клятву, с которой мы начали тогда после первомайской сводки по радио? — вдруг спрашивает она.

Не напрягая памяти, я отчеканиваю слово за словом:

— Не щадя крови и жизни своей, за пытки, за издевательства и насилия над людьми клянусь мстить врагу жестоко, беспощадно и неустанно. Кровь за кровь! Смерть за смерть!

— Да... все так...

— А ты говоришь — паломничество, — возвращаю я Галку в семидесятые годы.

Она не слышит.

Она все еще там, в глубине времени, вскрытой световой скоростью мысли.

— Наивные мы были. О чем думали? — медленно, без интонации говорит она, и слова ее оттого звучат, может быть, чуть книжно, но я знаю — они от сердца. — О романтике подвига, а не о его стратегии. О празднике подвига, а не о его буднях. Застрелить гитлеровца на улице или повесить предателя, взорвать вагон с боеприпасами или поджечь цистерну с нефтью, прижав к зажигалке бикфордов шнур. А вот о том, сколько мужества и терпения, сколько мучительных часов ожидания потребует эта вспышка зажигалки, не думали. Мы еще долго учились терпеть и ждать...

Она права: долго. Почти год. Гога чистил запыленные солдатские сапоги, подслушивал разговоры их обладателей — солдат и ефрейторов, пригнанных в Одессу. Галка напоминала болтовню пьяных гестаповцев и психующих фронтовиков за ресторанными столиками. Дядя Вася, шутовавший и гладивший офицерские бриджи на портняжном катке, терпеливо допытывался у денщи-

ков обо всем, что требовалось Седому. Володька Свентицкий сыпал песок в буксы товарных вагонов, я урывками по ночам откладывал из наборных касс шрифт в кулечки, которые под утро незаметно выносила из типографии уборщица тетя Франя. Добыча переправлялась портному в подвал, где при свете коптилки мы и набирали оперативные сводки Москвы, подслушанные по радио, и оттискивали их на обрывках типографской бумаги украденным в той же типографии валиком. Их наклеивали на заборы и стены, подбрасывали на рынке или вкладывали между листами липкой бумаги от мух, пачки которой продавали девчонки-школьницы Леся и Муля. «А вот цепкая, липкая бумага! Смерть мухам единым духом!» — выкрикивали они в рыночной толчее. И ни один купивший листы с начинкой не выдал девочек, а ведь только за одну-единственную обнаруженную в пачке листовку их могли бы пристрелить тут же, на рынке. Одного застреленного мальчонку я сам видел на Привозе, не доходя до вокзала; возле него стоял, равнодушно попыхивая скрученной из газеты сигаркой, небритый немецкий солдат. Прохожие шли мимо и крестились, не оборачиваясь: «Страшны дела твои, господи...» Улица Адольфа Гитлера. Улица Антонеску. Король Михай. Сигуранца. Гестапо.

Наша пятерка уже входила в это время в довольно большую группу, подчинявшуюся одному из подпольных райкомов Одессы. Руководил нами Седой, старый подпольщик, умело распределявший звенья, задания и роли. Работал он приемщиком в прачечной, в штате той же гостиницы, что и Вера. И связь поддерживал с ней и дядей Васей, у которого и была главная наша явка. Типографщики, правда, общались через меня или уборщицу тетю Франю, а мы, «изначальники», впятером иногда собирались у Галки за чаем-малинкой и лепешками из вареной моркови. «Пир во время чумы. Званный вечер в Транснистрии», — острили мы.

Я не замечаю, как произношу это вслух. Галка смеется.

— Почему не сказать — в Заднестровье?

— Потому что королю Михая больше нравилась Транснистрия.

— И король Михай уже забыт. Стоит ли вспоминать?

— Иногда стоит.

Порыв ветра распахивает балконную дверь. Звон стекла возвращает меня в наши дни. Я выхожу на балкон и вижу зеленый откос берега, черные холмы угольной гавани и стрелы порталных кранов, похожих на марсианские боевые машины с рисунков Робида к уэллсовской «Борьбе миров».

— Иногда стоит, — повторяю я и выхожу на улицу.

ПАЛОМНИЧЕСТВО

Галка не ошиблась. Впечатления детства исказились и поблекли. Я не узнал ни двора, ни дома на бывшей Канатной. Все сплющилось до игрушечной уменьшенности. Даже хлам на дворе был не тот, не той давности. А на чердак, где мы давали партизанскую клятву, я не полез. Может быть, там сейчас, как и прежде, развешивают белье, — еще за вора примут.

Я прохожу по улице Бебеля до пересечения ее с улицей Ленина и сворачиваю вниз, к Оперному театру. Маршрут мой тот же, что и в сентябре сорок третьего года. Память, как кинооператор, творит чудо. Одессу моего детства наплывом сменяет Одесса времен короля Михая, тускло просвечивающая сквозь нынешний, неузнаваемо помолодевший город. Он приобрел как бы прозрачность, возможную только в кино. Из-за ярко-зеленой ленточки аккуратно подстриженного газона память высвечивает выщербленный асфальт, разбитый подковами немецких солдатских сапог. Узорчатую игру шелка в витрине магазина тканей призрачно заслоняют пивные бочки румынской «бодеги». Веселые окна булочной вдруг закрываются грязным ковром универсальной коммиссионки. Хороших ковров тогда в магазинах не было — их отобрали и вывезли специальные команды для переброски всего ценного в королевскую Румынию и германский рейх. Нам в это время уже было поручено всячески препятствовать вывозу художественных ценностей из Одессы, и партию ковров, в частности, удалось спасти: их перегрузила в другой вагон бригада Свентицкого, а железнодорожники укрыли его в одном из тупичков Одессы-Товарной.

На углу улицы Ленина я уже не вижу нынешнего нарядного города — обратный ход времени безотказно сработал, воскресив в памяти и пустынность тогдашней Ришельевской, и притаившуюся за окнами непокорен-

ную тишину. Она вдруг раскололась где-то впереди грохотом взрыва, взвизгнула короткой очередью автоматов. Но я даже не вслушивался: кто обращал внимание на уличную музыку того времени? К тому же я спешил, не задумываясь над тем, что навстречу мне так же торопились редкие прохожие с серыми от испуга лицами: мало ли чего пугались тогда в Одессе. А у меня было неотложное дело: всего полквартала впереди за углом меня ждал серый обшарпанный домик, на двери которого была прибита фанерная доска-вывеска. Хозяин, обмакнув палец в чернила, витиевато вывел на ней: «Чоловичий кравец» и ниже по-русски: «Пошив, лицовка, штуковка, глажка». На крайнем правом окне первого этажа, куда легко заглянуть с улицы, должен был стоять фикус, что означало: входи смело, коли нет «хвоста». А если фикуса не было — проходи мимо, не задерживаясь и не озираясь.

Метрах в пятидесяти от памятного мне домика я останавливаюсь, как и тогда. Ведь наверняка знаю, что и дом не тот, и фикуса нет, и все же замираю на месте. Повторяю: как и тогда. Но в тот день меня остановила Галка, выскочившая из соседних ворот, простоволосая, без косынки, которую судорожно комкала в руках.

— Повернись сейчас же и ступай не спеша, — командовала она свистящим шепотом. — Ничего не спрашивай. Как будто что-то забыл.

Я повиновался, не глядя на Галку, хотя и видел краем глаза, как она идет рядом.

— В чем дело? — спросил я сквозь зубы, когда дошли до угла.

— Явка провалена. За дверью охранники с автоматами.

— А фикус?

— Какой еще фикус! Там весь угол разворочен гранатой.

Я должен был встретиться с Галкой у дяди Васи, но опаздывал, что меня и спасло. А Галка?

— Не дошла. Как увидела взрыв — весь угол разнесло, — хлоп на землю тут же, в воротах, и затаилась... А полиция с улицы полоснула по окнам из автоматов — и за дверь! До сих пор не выходят. Ждут.

— Кто же выдал?

— Спроси что-нибудь полегче.

Каждый из нас задавал себе этот вопрос. Провал

явки и смерть дяди Васи потрясли всех. Впоследствии мы узнали, что он бросил гранату не в охранников сигуранцы, ворвавшихся в мастерскую, а в угол окна, где стоял фикус. Он не успевал снять его и тем самым предупредить товарищей о провале. И граната уничтожила фикус, часть стены и его самого, что было, пожалуй, лучшим для него выходом: в сигуранце бы его замучили.

Меня же случившееся совсем подкосило. В мастерской дяди Васи я не только набирал и печатал листовки, но и ночевал, потому что другого местожительства у меня не было. Тетка, заменившая мне мать, умерла в первые же дни оккупации, а комната наша приглынулась какому-то гауптману. Снять жилье где-нибудь не рекомендовалось законами конспирации: появление нового человека всегда вызывало подозрение у опекавших дом полицаев. Седой возражал даже против ночевок у дяди Васи, рекомендуя вместо этого фиктивный брак с Верой или Галкой. Но даже для фиктивного брака с Верой я был слишком уж молод, а вариант с Галкой решительно отверг сам. Хотя она, всегда готовая к жертвам, и согласилась немедленно, но я, впервые взглянув на нее глазами пусть фиктивного, но все-таки мужа, сразу понял, что подобное псевдосупружество оказалось бы для меня слишком мучительным: Галка была чертовски хороша в свои девятнадцать лет.

Так мы и шли тогда бок о бок, растерянные, как дети, заблудившиеся в лесу, не знали, что сказать друг другу, о чем спросить, на что решиться.

— Куда же ты пойдешь теперь? — вырвалось наконец у Галки.

— Не знаю.

— К Седому?

— К Седому нельзя.

— Может, к Володьке Свентицкому?

— Мы даже здороваться на улице не должны.

— Тогда ко мне. Повесим простыню между койками — и ночуй. А брак оформим в управе.

— Я не хочу фикции, Галка.

Черные глаза ее бесстрашно встретили мой взгляд.

— Сейчас не время для любви, Саша.

— Так не будем подменять ее суррогатом.

Молча дошли до Преображенской. Осмотрелись: спокойно, «хвостов» нет.

— Как же связаться с Седым?

— Попробую через Веру. В конце концов, мы работаем в одной богадельне.

Но мы еще не знали, что Веры в гостинице нет. Ее взяли одновременно с налетом на нашу явку. Это удивляло и настораживало: Вера редко общалась с людьми из нашей группы. И обязанностью ее были агентурные сведения, а не распространение листовок. Только один раз она встретилась со мной у дяди Васи, да и то в виде исключения, когда Седого внезапно вызвали на разговор с подпольным райкомом. Сигуранца подбиралась к Седому, потому что сразу взяли обоих его связанных. Но если дядю Васю мог предать любой из нашей группы, то Веру, кроме меня, никто. В конце концов я все-таки нашел предателя, но это случилось много дней спустя, когда я заменил дядю Васю на связи с Седым.

В тот день я шел как с мутной пеленой на глазах, не зная куда и зачем. Свернул на Дерибасовскую, выпил кружку пива у Думитрака, постоял у захламленной витрины комиссионки, и вдруг чья-то рука легла мне на плечо и я услышал знакомый интеллигентный, негромкий голос:

— Что вы здесь делаете, Саша?

Я сразу узнал Марию Сергеевну Волошину, мать моего одноклассника Павлика. Я дружил с ним, бывал у них дома, хотя и несколько стеснялся церемонной строгости их европеизированного домашнего быта. Что-то мне не нравилось и в Павлике, хотя по мальчишеской своей неопытности я не мог в точности определить что, но в общем-то и не слишком огорчился, когда он, не кончив школы, уехал в Берлин к отцу, работнику советского торгпредства в Германии. С тех пор о Павлике мы и не слышали. Говорили, что отец его бросил мать, женился на немке и уже не вернулся на Родину. Так Павлик и семья его выпали из круга моего детства.

Мария Сергеевна почти не изменилась, хотя с тех пор прошло не менее семи лет. Ей было, наверное, уже за сорок, но выглядела она по-прежнему подтянутой, моложавой, ухоженной и нарядной.

— Как вы возмужали, Саша! Совсем взрослый. Только в лице еще что-то прежнее. И чубчик. Потому и узнала.

Я галантно поцеловал ей руку.

— Почему не заходите? Я там же, на Энгельса. Простите, на Маразлиевской... А что вы ищете здесь?

— Комнату ищу, Мария Сергеевна.

— Какие же комнаты на Дерибасовской? А ваша собственная?

— Увы, в ней разместился немецкий гость.

Она поняла.

— Да, да, все это очень грустно. Много грустно, Саша.

Безумная идея вдруг пришла мне в голову.

— Может быть, у вас есть свободная комната? Вы меня бы выручили. Я ведь жилец аккуратный и тихий.

Мне показалось, что она смутилась. Потом задумалась. Потом вдруг улыбнулась одним уголком губ.

— Пожалуй, я могла бы помочь. Есть комната. Бывшая комната Павлика. Ее не тронули — очень мала.

Я внутренне возликовал, вспомнив светелку Павлика.

— Можно, я сейчас же и перееду, Мария Сергеевна?

Она опять задумалась, мельком оглядела меня, оценив что-то по-своему, и добавила вежливо, но строго:

— Только одно условие, Саша. Чтоб ничего такого... Время, сами понимаете. Не подведите.

Так я и переехал в дом, едва не ставший моей могилой...

Сейчас, спустя тридцать лет, я снова прошел по улице Энгельса. Дом не очень изменился, лишь чуть-чуть постарел. Тот же серый, под гранит фасад, уставившийся на парк имени Шевченко, тот же набор готических окон на втором этаже, те же резные филенки подъезда.

Но в дом я не вошел.

Я И ТИМЧУК

От паломничества моего я уже еле волочу ноги, а до обеда в гостинице, когда обещал Галке вернуться, остается еще час с лишним. Надо его убить.

Захожу в пивной бар в переулочке на Дерибасовской, который одесситы зовут «Гамбринус», должно быть, в память воспетого Куприным тезки. После белой от солнца улицы в подвальчике полутьма, длинные столы, за которыми впрыток жмутся любители бочкового «Жигулевского», огромные пивные бочки, обращенные в столы, снующие мимо них официантки с подносами, уме-

щающими добрый десяток кружек, несчастливцы, которым так и не удастся найти свободного места. Жарко. Влажная духота, как в батумском приморском парке. Только пахнет не магнолией, а пивом, потом и соленой рыбой.

Мне везет. Освобождается место возле бочки, где уже восседает седоватый толстяк с пышными запорожскими усами. Он пристально вглядывается в меня, шурится, даже приподымается, чтоб лучше рассмотреть, и робко спрашивает:

— Олесь?

Так меня называл тридцать лет назад единственный в Одессе человек — Тимчук. Звали мы его не по имени, которое, кстати говоря, я и не помню, а просто Тимчук, Тим, Тимка. Наши квартиры были рядом, да и учились мы в одном классе, только Тим ушел из школы после седьмого класса к отцу, не то метрдотелю, не то шеф-повару в бывшем «Бристоле», учиться «на официанта» или «на кельнера», как тогда говорили. Мы просто жили рядом; не дружили и не враждовали, а драться с ним было опасно: он еще мальчишкой играл пудовой гирей и быстро вырастал из рубашек, лопавшихся у него на бицепсах.

Сейчас он сияет: тридцать лет не виделись!

— А тоби и не узнаешь. Який франт!

— А тебя? Усы как у Пилсудского.

— Ни. Як у Бульбы.

Он говорит, как и раньше, мешая русские слова с украинскими.

— Ждали — не гадали, а побачились. Давно тут?

— Утром прилетел. А вечером отплываю на «Котляревском».

— Ну а в обед ко мне на вареники. Есть и домашняя горилка з перцим. Погрустим за Одессу-маму.

— Я с Галкой приехал, Тим.

Жар в глазах Тимчука остывает.

— С Галиной Юрьевой? Так. Привет передай ей, наикрачайшей, хоть и не жаловала меня. Строгая дивчина была, недоверчивая.

— Все забылось, Тим. Просто время у нас ограничено.

— Ни. — Он сжимает толстые пальцы в пудовый кулак и легонько ударяет им по залитой пивом бочке. Бочка глухо гудит. — Ничего не забыто, Олесь.

Он прав, конечно. Ничего не забыто. И Галка действительно его недолюбливала. А в сорок первом мы все даже возненавидели его, когда он пришел из городской управы с повязкой полиция и автоматом через плечо. «Меня из ресторана силком взяли, как отец ни просил, — оправдывался он, — только я своих трогать не буду». Но мы были неумолимы. «Свои у вас в сигуранце, домнуле жандарм, а здесь, извините, своих у вас нету». Надо честно сказать, никого из нас Тимчук не выдал, а впоследствии и работу свою в полиции подчинил задачам нашей подпольной группы, и даже мне с Галкой жизнь спас, все же его добровольное «полицейство» в сорок первом году Галка ему долго не прощала. И Тимчук это знал.

Сейчас он гладит пышные свои усы — кончики намокли в добром одесском пиве — и, подмигнув, предлагает:

— Повторим?

— Повторим.

— А помнишь, как ты мене завербовав?

— Еще бы. На углу Новорыбной?

— Ни. За мостом, где трамвайные рельсы из мостовой выковыривали...

Мы действительно столкнулись тогда с Тимчуком. Я хотел было мимо пройти, да что-то в лице его поразило меня — глухая, невысказанная, подспудная ярость. Он не видел меня, смотрел сквозь меня, как грузили вырванные из гнезд рельсы на желто-зеленый немецкий грузовик.

— Интересуешься, как дружки твои хозяйствуют? — спросил я. — Стараются во славу родной Транснистрии.

— Бачу, — сказал он. — Грабят як бандюги.

— Так они и есть бандюги. Не знал разве?

— Узнал.

Я тут же подумал, что полицай с таким настроением мог быть полезен подпольщикам.

— Так хоть ты по крайней мере не имеешь отношения к этому грабежу, — начал я осторожно.

— Имею, — вздохнул он. — Получен приказ самого одесского головы Пынти. Все, что есть ценного в комиссиях, тут же забирать — и на склад городской управы. Картинки, подсвечники, лампы настольные либо из бронзы, либо из серебра, мебелишку какую-нибудь редкую. Есть еще что-то в городе, что бандитам пока не до-

сталось. — От волнения он говорил по-русски чисто, не переходя на украинский.

— А хочешь помочь, чтоб не досталось?

— Как?

— Надо узнать номера грузовых отправок, место назначения и вид отправки: багажом или почтой. Сможешь?

— Смогу.

— Заметано. Ты когда днем свободен?

— Лучше к часу. У нас съеста, как говорит домнуле голова.

— Встретимся на кладбище. Третий проход слева. У памятника купеческой вдове Охрименко. Во вторник. Не опоздай — ждать не буду. А выдашь — тебе же хуже. Поедешь напрямик не в рейх, а в рай.

— Спасибо за веру, Олесь. Не обману.

Седой не одобрил моей инициативы. Добровольно пошедший в полицию не заслуживает доверия. Но что сделано, то сделано. Встречу мне разрешили при условии, что контролировать ее будут трое подпольщиков. При малейшей опасности мне дадут возможность уйти.

Но опасности не было. Тимчук точно выполнил задание и столь же точно выполнял другие. Сведения, добываемые им, были верны и своевременны, а его связи с сигуранцей и гестапо позволили спасти не одного человека, которому угрожал арест или отправка на принудительные работы в Германию. Седой все еще осторожничал и не расширял его связи с подпольем. Но кое-чем он его все-таки связал. С Гогой Свентицким, например. С дядей Васей. С Галкой, наконец, которой труднее всего было отлучаться из ресторана, а с Тимчуком она всегда могла перемолвиться у себя на дворе или в подъезде, хотя Галка была единственной из нас, которая ему все-таки до конца не доверяла.

— Порядочный человек никогда бы не стал полицаем.

— Он давно раскаялся, Галка.

— Такие не раскаиваются. Такие мухлюют. Почуял, что крысы с тонущего корабля побежали...

Гибель дяди Васи и Веры (во внутренней тюрьме гестапо от нее не добились никаких показаний) не привела к провалу нашей организации. Вынужденная пауза не обнаружила ни слежки, ни провокаций. Но провокатор все-таки был. Тот, кто знал связных и явку, знал и за-

таился. Почему? Знал мало, хотел знать больше? Охотился за Седым, оставляя нас на закуску? Забравшись на чердак, мы с Галкой часами перебирали всю нашу группу, пробуя втиснуть каждого в незаполненную строчку кроссворда. Только я и Галка знали обоих помощников Седого, но никто из нашей группы не имел связи с Верой, а связанные с нею не знали нас. Арест Веры еще мог быть случайным — какая-нибудь неосторожность, обмолвка, оброненная записка, — но одновременный провал обоих был явно обдуманым тактическим ходом врага. Кто же сделал этот ход? Мысли путались, кроссворд не решался.

— Так можно всех подозревать, даже Седого, — злился я.

— А Тимчук? — спрашивала Галка.

— Тимчук не знал Веры.

— Мог узнать.

— Каким образом?

— Кто-нибудь проболтался.

— Кто? Вера была табу для всех.

— Для нас. А ты знал связи Веры? Нет. А связи Тимчука? Тоже нет.

Именно это упоминание о связях Тимчука и вывело меня на след предателя. Тимчук давно уже предлагал мне привлечь к работе одного «подходящего парня», который, мол, и в полицаи не пошел и на немцев не работает. Речь шла о Федьке-лимоннике, торговавшем с лотка мелкими грушами-лимонками, леденцами, похожими на подслащенное сахарином стекло, и папиросной бумагой, которую он вырывал из альбомных изданий Брокгауза и Ефрона, где листы ее вклеивались прокладкой между гравюрами. Книгами тогда в Одессе топили печки-«буржуйки», и добыча доставалась Федьке легко, обеспечивая заработок и приятельские связи с шатавшейся по рынкам румынской и немецкой солдатней.

Он мог быть кое в чем полезен для нас, но мог стать и опасным, потому что разгадал истинное лицо Тимчука. Тот как-то проговорился о листовках, а Федька загорелся, попросил привлечь к этой работе: «Листовку со слезами целовал». Седой, которого я поставил в известность об этом, допускал возможность провокации и предложил проверить Федьку, ограничив его деятельность распространением листовок, а его связи с подпольем — взаимоотношениями с Тимчуком. Где и кем печатались

листовки и как они попадали к Тимчуку, Федор не знал и не интересовался, выполняя задания как солдат приказы непосредственного начальника.

Именно это нас и успокоило, хотя должно было насторожить: молодой честный парень, допущенный к делам, требующим отваги и мужества, естественно, претендовал бы и на больший риск, и на большее к нему доверие. Но у Федьки была другая цель. Он решил на свой риск и страх проследить связи Тимчука с одесским подпольем и найти головы покрупнее и подороже тимчуковской. Запыленный, серый и юркий, в собственноручно сшитых тапочках из сыромятной кожи, он неслышно и незаметно день за днем терпеливо выслеживал Тимчука, пока не засек его встречу со мной.

Теперь «охотник» пошел по другому следу и легко обнаружил мою квартиру: я в те дни болел и выходил только на встречу с Тимчуком да проводить в первый и единственный раз посетившую нас Веру. И надо же было так случиться, что именно в эти минуты и углядел нас Федька-лимонник. Я даже заметил его на улице, только не придал значения: Федьку можно было встретить в любом конце города. Но часа своего он дождался и выследил Веру вплоть до гостиницы, а узнать, кем она там работает, было для него сущим пустяком. Две головы он продал.

Но почему он не продал третью голову — Тимчука? Да просто потому, что тот мог утопить его на допросах, а сам по себе, как раскрытый подпольем предатель, он был не нужен гестапо. Пешка, фоска, битая карта в игре. И, понимая это, Федька берег Тимчука как кончик ниточки, связывающей его с непокоренным городом. Но теперь уже Тимчук следил за ним и в конце концов поймал его в часовой мастерской, под прикрытием которой орудовала резидентура гестапо. Мы все сопоставили, все взвесили, прежде чем принять решение.

— Еще по одной, — предлагает Тимчук, стуча кружкой.

Он долго молчит, разглядывая свою поросшую рыжим волосом руку, сжимая и разжимая пальцы.

— Ты где работаешь? — спрашиваю я, пытаюсь отвлечься от воспоминаний.

— Работаю? — удивляется он вопросу. — Портальный кран бачил? На пирсе. Крановщиком.

— Ну там твоя силушка не нужна.

— Так я ж не о том. Вспомнилось. На кладбище був?

— Зачем? Я и так все помню.

— Ты же рядом стоял. Другие отвернулись, а ты бачив.

Я действительно стоял рядом и не отвернулся. Нас было пятеро тогда на кладбище у памятника одесской купчихе: Тимчук, я, Галка, Володя Свентицкий и Леся, заменившая Веру. Именно нам и поручил Седой привести приговор в исполнение. Фанерная дощечка с надписью «Провокатор гестапо. Казнен по приговору народных мстителей» была уже заготовлена, веревка тоже. Мы только забыли о табурете или ящике, который следовало выбить из-под ног повешенного. Федор стоял на коленях с кляпом во рту под узловатым отростком клена. По-моему, он уже умер заживо.

Володька взял веревку и глядел на дерево, не зная, что делать. Галка стояла позеленевшая, как от морской качки. Не двигались и мы с Лесей. Тогда Тимчук сказал: «А ну-ка отвернитесь, хлопчики. Негоже дерево трупом поганить. Я его породил, я же его и кончу...»

Вот тогда я и запомнил эти поросшие рыжим волосом могучие руки.

— Пора, Тим, — говорю я, вставая из-за бочки. — Пошли. Отплытие в шесть. Приходи к причалу.

— Приду. Не сердчай, что вспомнилось. Темное тоже не забывается.

— Темное ушло, Тим. Светлое осталось.

Мы поднимаемся из подвального на залитую солнцем улицу, а в ушах звенят серебряные трубы Довженко:

«Приготовьте самые чистые краски, художники. Мы будем писать отшумевшую юность свою».

ОТПЛЫТИЕ

Черно-белый красавец «Иван Котляревский» стоит у причала морского вокзала.

Длинные руки лебедек играючи перебрасывают грузы в разверстые пасти трюма. Многоэтажный дворец над ним пока еще пуст — театральный зал перед премьерой, причем иллюзию дополняют контролеры у трапа в белоснежных куртках и фуражках с золотыми «крабами».

Где-то наверху, на пятом или шестом этаже, и наша каюта на открытой палубе, над которой вытянулись одна

за другой серыми дельфиньими тушами шлюпки, покрытые натянутым брезентом. Теплоход был копией «Александра Пушкина», на котором я ходил в круиз из Ленинграда в Гавр прошлой осенью, — тот же черный остов и белые палубные надстройки, та же радиомачта и косо срезанный конус трубы с полоской сверху — таким алым галстуком на белом моряцком мундире.

Мы только что отобедали в ресторане на вокзальной веранде и сидим у чемоданов на причале на приятном морском сквознячке. До отплытия еще больше часа. Я молчу.

— Ты что раскис? — спрашивает Галка.

— Жарко. — Мне не хочется объяснять.

— Здесь совсем не жарко. Грустно, что уезжаем, да?

— Грустно, конечно.

— Встречи с прошлым не всегда радуют.

— Галя! — зовет кто-то рядом.

Я оборачиваюсь и вижу, как немолодая, хорошо скроенная блондинка в небесно-голубых брюках и желтой кофточке бросается к Галке.

— Ты провожаешь или едешь?

— Еду, конечно.

— Мы тоже. Шлюпочная палуба. Полулюкс. Сто двадцать четвертая.

У нас тоже шлюпочная палуба и такая же каюта-полулюкс. Но Галка не хвалится.

— Ты с кем? — не унимается блондинка.

— С мужем. Знакомься.

Я встаю.

— Гриднев, — говорю как можно суше: блондинка мне не нравится.

— Сахарова Тамара, — отвечает она и, подумав, добавляет: — Георгиевна... А у тебя интересный муж, Галина, — она оглядывает меня с головы до ног, — и одет...

— Старый пижон, — смеется Галка.

— Из какой сферы? Наука, искусство, спорт, торговля?

— Пожалуй, наука, — говорю я неохотно.

— Доктор или кандидат?

Кто-то спасает меня от допроса. С криком «Миша!» блондинка ныряет в сутолоку у трапа.

— Что это за фея?

— Моя косметичка.

— Зачем тебе косметичка?

— Работа в институте судебных экспертиз еще не избавляет меня от необходимости следить за своей внешностью.

— А это ее муж, наверно?

— Вероятно. Я с ним незнакома.

Мужчина с иссиня-черной бородой с проседью, примерно моего роста и моего возраста, даже не посмотрел в мою сторону.

— Чем он занимается?

— Оценщик в комиссионном магазине на Арбате.

— Интеллектуальная профессия.

— Зато выгодная. Может поставить твой пиджак за полсотни, положить под прилавок и позвонить своему знакомому, падкому на импортные шмотки. А тот еще подкинет ему четвертной.

— В криминалистике это имеет определенное название.

— Имеет.

— Что-то меня не тянет к такому знакомству.

— Для твоей профессии полезны любые знакомства. Я ставлю чемоданы на освободившуюся скамейку и не собираюсь вставать.

— Пусть все пройдут. Да и Тимчука пока нет.

— А я тут, — возвещает обладатель запорожских усов в украинской расшитой рубашке. В руках у него бутылка пива и два бумажных стаканчика. Третий с мороженым.

— Этот, должно быть, для меня, — смеется Галка и целует Тима в его пушистые усы. — Какой богатырь! Прямо из Гоголя. Был Остап, стал Тарас. Ты что вчера про меня Сашке наговорил?

Я объясняю:

— Это она о нашей прогулке в прошлое. О пиршестве воспоминаний.

— Пиршество воспоминаний, — назидательно говорит Галка, — хорошо в трех случаях: для мемуариста, для юбиляра и в праздник, когда встречаются ветераны войны.

— Для меня вчера и був праздник, — подтверждает Тимчук.

— А для меня праздник сейчас — это отдых, Тим. От московской сутолоки, от воспоминаний и телевизора.

Несколько минут мы оживленно болтаем. О том, о сем — ни о чем. Галка вдруг смотрит на часы и перебивает:

— У нас еще сорок минут. Успею послать телеграмму маме. Пусть не тревожится.

— С теплохода пошлешь.

— Не знаю. Там все по часам расписано. А здесь ходу всего четыре минуты.

Она убегает, оставляя нас одних, и мы вдруг убеждаемся, что говорить больше не о чем. Все переговорено. Но и в молчании обоим тепло и радостно.

Мимо нас к табачному киоску торопливо проходит человек с иссиня-черной бородой и военной выправкой. Что-то неуловимо знакомое вдруг настораживает меня в этом облике.

— На бороду дивишься? — спрашивает Тим.

— Дело не в бороде.

— А кто это?

— Муж одной Галкиной знакомой. Некто Сахаров. А может, и не Сахаров, это она Сахарова. Что-то цепляет глаз в нем, а что — не знаю.

Мы смотрим ему вслед. Он покупает пачку сигарет, возвращается и, не обращая на нас никакого внимания, закуривает в двух шагах от нашей скамейки. Теперь он отчетливо виден — так сказать, крупным планом.

— Узнал? — спрашивает Тимчук. Когда он встревожен, то говорит, не балуясь украинизмами.

— Боюсь утверждать.

— А я узнал.

— Сходство часто обманывает. Слишком уж давно это было.

— Тогда я разговаривал с ним как с тобой — лицом к лицу.

— А шрам на подбородке? Его даже борода не скрывает.

— Шрама не было. Может, потом?

— Когда потом? Забыл?

Тимчук молчит, потом произносит с твердой уверенностью:

— Он.

Я уже ни в чем не уверен. Мало ли какие бывают совпадения.

— Глупости, Тим. Показалось.

— У меня глаз крановщика. Наметанный. Не придется тебе отдыхать, полковник.

— Чудишь. Такие вещи проверять да проверять.

— Вот и проверишь. Кончился твой отпуск, дружка полковнику.

Я смотрю вслед уже шагающему по трапу бородачу. В чем же сходство? Не знаю. Но оно есть. Не подслушал же мои мысли Тимчук — узнал.

— Если понадобится — телеграфь. Прилечу для опознания, — говорит он.

— О чем вы? — подбегает Галка.

— Да ни о чем. Чудит Тимчук.

Мы обнимаемся на прощание. Он настороженно, даже встревоженно серьезен.

— Так если что, телеграфируй. А может, и до Одессы доедешь.

— О чем он? — повторяет Галка.

— Чушь зеленая, — говорю я и, подхватив чемоданы, иду к трапу.

ЯЛТА

ЗНАКОМСТВО

Мы с Галкой наплавались в бассейне и теперь сидим в шезлонгах на открытой солнцу кормовой палубе — я под тентом, Галка на солнцепеке; вероятно, рассчитывает вернуться из рейса мулаткой.

Рядом с ней на туристском надувном матрасе Тамара лениво ведет свой женский загадочный разговор. Именно загадочный: мужчинам не дано понимать женщин. Бородатый муж Тамары играет тут же у натянутой на палубе сетки в волейбол не то со студентами, не то с молодыми кандидатами наук. Играет отлично, почти профессионально, вызывая завистливые реплики зрителей: «Посмотри на «бороду». А подачка? Во дает!» Он подвижен, ловок и вынослив, как тот старый конь, который, как известно, борозды не испортит. Впрочем, слово «старый» к нему не приклеишь, даже «пожилой» не подходит. Куда мне...

Я дискоса внимательно наблюдаю за ним, силясь уловить что-то знакомое. Иногда улавливаю, чаще нет. Возникает нечто мучительно памятное и сразу же исчезает.

А он даже не смотрит на меня, не видит и не интересуется — играет беззаботно и с удовольствием. Нет, мы с Тимчуком определенно ошиблись. Тут даже не сходство, а так, что-то вроде как на дрянных фотокарточках, какие наклеивают на сезонные пригородные билеты в железнодорожных кассах.

Воспользовавшись тем, что Тамара снова отправилась в бассейн, я подвигаюсь к Галке.

— У нас два свободных места за столиком в ресторане, — говорю я с наигранным равнодушием. — Пригласи своих знакомых. Пусть пересядут.

— Тебе же не понравилась эта пара.

— Все лучше, чем одним сидеть. Новые люди. Да и веселее.

— Тебя Тамара заинтересовала?

— Скорее ее муж.

У Галки хитро прищурены глаза.

— Любопытно, почему?

— Красивый мужчина.

— Так это я должна интересоваться, а не ты.

— Вот ты и заинтересуйся.

— Зачем?

— Хорошо в волейбол играет.

— Тут что-то не то.

— Может быть. А ты все-таки их пригласи.

Тамара возвращается из бассейна, и Галка, лукаво взглянув на меня, берет, что называется, быка за рога.

— Тамара, у вас интересные соседи за столиком?

Тамара морщится:

— Два желторотых юнца. Вон они играют в волейбол с Мишей.

— Пересаживайтесь к нам. У нас как раз два свободных стула и столик не у прохода.

— Если ваш муж, конечно, не возражает, — вставляю я.

— Муж мне никогда не возражает, а потом с вами же интереснее.

Посмотрим. Первый крючок я забросил.

— Кстати, обед сегодня на час раньше. На подходе к Ялте, — добавляет Тамара. — Уже одеваться пора. А потом на экскурсию в Алупку. Идет?

— Я поеду, — говорит Галка.

Я молчу. Поедет ли он?

К обеду являемся в полном параде. Женщины рас-

кручивают разговор сразу, как магнитофонную ленту. Мужчины сдержанны и церемонны.

— По сто для аппетита перед обедом? — предлагаю я.

— Давайте.

— У вас «Столичные»?

— Нет, «Филипп Моррис».

Закуриваем.

— Оригинальная специальность у вашей жены. Эксперт-криминалист.

— О криминалистике я уже забыла, — роняет Галка: по-видимому, ей не хочется раскрывать перед посторонними секреты профессии. — Сажу на экспертизе старых документов. Недавно определяла подлинность пометок Чайковского на где-то найденных нотах.

Галка невольно подыгрывает мне. Не нужно, чтобы он знал или догадывался о моей работе.

— А вы? — тут уже спрашивает он.

Галкина рука лежит на столе. Я многозначительно сжимаю ей пальцы.

— Я юрист, — говорю. — К сожалению, не Кони и не Плевако. Рядовой член коллегии защитников.

— Уголовный кодекс?

— Нет. Разводы, наследства, дележ имущества.

Галка не проявляет ни малейшего удивления: поняла, что я начал пока еще неизвестную ей игру.

— Ну да, — лениво бросает он. — Невесело у вас получается.

— У вас веселее?

— Пожалуй, нет. Я уже после войны Плехановский кончил. Директора универмага из меня не вышло. Главбуха тоже. Верчусь мало-помалу в комиссионке.

— Золотое дело эта комиссионка, — хвастливо провозглашает Тамара.

— Не преувеличивай, — кривится он. — Работа как работа. Не лучше твоей.

Что-то в его интонации тотчас же останавливает его рубенсовскую красавицу. Теперь она занята только ножом и вилок. А он? Неудачник или играет в неудачника? Но ведь эти игры — дешевка. При его спортивной ухоженной внешности и умных, очень умных глазах. Я внимательно ищу в них давно знакомое. И нахожу. Неужели мы с Тимчуком не ошиблись?

А он только вежливо слушает или спрашивает, гля-

дит на меня как на чистый лист бумаги, на котором сам же напишет: «Сосед по столику, спутник по рейсу. Не очень интересен. Общих тем нет. Скучно». Это если мы с Тимчуком ошиблись. А если нет? Я изменился, конечно, за тридцать лет. Галка тоже, но узнать нас можно. Особенно ему, если это он. Тогда где же встревоженные искорки в глазах, растерянный жест, невольно сжатые губы, дрогнувшие пальцы, пусть чуть дрогнувшие, но я бы заметил. Глаз наметанный — профессия. А тут — ничего. Съел суп, оставил макароны — не любит. Пьет фруктовый компот. И слова бросает равнодушно.

Разговор поддерживает главным образом Галка:

— Вы почти профессионально играете в волейбол. Любите спорт?

— Больше по телевизору.

— Бросьте. Сразу виден тренинг.

— У нас дома и боксерские перчатки, и груша, — опять-таки не без хвастовства вставляет Тамара.

И опять он кривится. Откровенность жены ему явно не нравится.

— Я и стреляю неплохо, — цедит он. — В роте был снайпером.

Мне хочется спросить, где он воевал, но понимаю, что он назовет именно те места, где воевал Сахаров. А потом это можно сделать и позже.

Разговор о военном времени не должен быть преднамеренным.

И тут я опять настораживаюсь, видя, как он закури-вает. Берет сигарету двумя пальцами, оставив мизинец, чиркает зажигалкой, затягивается и тут же, вынув сигарету изо рта, глядит на тлеющий ее огонек. Тот самый жест, который и насторожил нас с Тимчуком на причале. Жест, который я помню все тридцать лет как неотплаченную пощечину.

Теплоход гудит, подъезжая к ялтинскому причалу. Официантки разносят билеты на экскурсию в Воронцовский дворец в Алушке. Там жил Черчилль в дни Ялтинской конференции, и, честно говоря, меня это мало интересует.

— Я не поеду, — говорит Сахаров.

— Я тоже, — немедленно присоединяюсь я. — Дамы поедут вдвоем, а господа по-мужски посидят чуток в баре. Не возражаете, Михаил Данилович?

Он молча кивает. Взгляд вежлив, но равнодушен. Ни любопытства, ни тревоги.

— Только я не очень разговорчивый собеседник, — лениво бросает он, — извините.

— Я тоже не из болтливых, — поддакиваю я.

А дальше происходит все как по-писаному. Мы провожаем жен до автобуса и уже готовы повернуть к трапу, как он предлагает:

— Может, пройдемся по набережной? Выпьем по стакану каберне.

Из полутемного массандровского магазина мы выходим разморенные вином и прогулкой по размягченному солнцем асфальту. Диалог невнимательно-безразличный.

— Не люблю Ялты. Одна набережная и узкие, пыльные улочки, ползущие в гору.

— А санатории?

— Лучшие санатории за Ялтой — в Ливадии и Мисхоре. А здесь один пляж. Кстати, он под нами. Выкупаемся?

— В бассейне чище.

— Бассейн — это коробочка. А я плавать люблю. Не хотите — подождите на берегу. Минут двадцать, не больше.

Он выбрал клочок пляжа почище, проковылял по камням в воде, и вдруг, нырнув, быстро уплыл вперед, почти невидный в прибое. Я тотчас же засек воспоминание. В шестнадцать лет я так же поджидал его на пляже в Лузановке, а он — если то был он — мелькал движущейся точкой вдали. Он и в детстве резвился дельфином, не обращая внимания на оградительные буйки.

Опасно поддаваться навязчивой идее и подгонять под нее все, что просится подогнать. Начнем с исходного пункта: Сахаров есть Сахаров. Преуспевающий оценщик комиссионного магазина. Муж влюбленной в него пышнотелой блондинки. Неглуп, практичен. Нравится женщинам, но не кокетничает. Так не ищите знакомого в незнакомом, полковник, не будите давно уснувших воспоминаний. Подозрительность — плохой исследователь человеческих душ.

На теплоход мы возвращаемся и сразу — в бар. Мальчишка в белой курточке переставляет на стойке бутылки с иностранными этикетками.

— Попробуем «Мартини», Михаил Данилович, — предлагаю я тоном знатока-дегустатора.

Сахаров улыбается:

— Это вам не загранийс. В лучшем случае подадут фирменный или дамский. Правда, бой?

Я настораживаюсь. Реплика режет ухо. Мальчишке тоже.

— Я не бой. Если говорите по-русски, обращайтесь, пожалуйста, как полагается.

Молодец бармен, хотя тебе и не больше семнадцати лет. Срезал-таки оценщика. А может быть, тот сказал это нарочно, с целью подразнить меня: вот тебе, мол, и промах разведчика, лови, мил друг, если сумеешь. Как говорится, «покупка» вполне в духе моего давнего знакомого Павлика Волошина.

Сахаров, игнорируя реплику бармена, не очень заинтересованно спрашивает.

— А что же есть в репертуаре?

— Могу предложить «Черноморский».

Это обыкновенная смесь ликера, водки и коньяка. Гусарский «ерш».

— Как на войне, — смеется Сахаров. — Мы так же мешали трофейный ликер, чтобы отбить сладость.

— Где воевали? — мимоходом спрашиваю я как можно равнодушнее.

— Где только не воевал! И под Вязьмой, и на северо-западе.

Продолжать ему явно не хочется, и я не настаиваю. Отставляю с отвращением «ерш» и потягиваюсь:

— Ну что теперь делать будем? Шляфен или шпацирен геен?

— По-немецки вы говорите как наш старшина из Рязани.

— А вы?

Он пожимает плечами.

— Научился немного в лагере.

— В каком?

— В плену. На Западе.

— По вашей комплекции не видно. Разве шрам только.

— Американцы, захватив лагерь, откармливали нас, как индеек. А шрам — это с детства. Нырнул неудачно, рассек о камень.

Выходит, Сахаров есть Сахаров, энный человек со случайным сходством с кем-то, тебе очень знакомым. Настолько знакомым, что у тебя даже при мысли о нем

холодеет сердце. Но пусть оно не холодеет, тем более, как нам тогда сообщили — потом, позже, — нет в живых этого человека. Обычной гранатой-лимонкой разнесло его в куски на бывшей Соборной площади. А бросил гранату даже не наш парень, то есть не из нашей группы: Седой знал его, а мы нет. Я, признаться, очень огорчился, что это была не моя граната.

Ну что ж, полковник Гриднев может теперь бездумно продолжать свой круиз по Черному морю.

Но...

Сахаров, прежде чем свернуть в коридорчик, где находится его полулюкс, снова закуривает. И снова знакомый жест. Два пальца, отставленный мизинец и пристальный задумчивый взгляд на тлеющий огонек сигареты. Такие привычки неискоренимы потому, что их не замечают и о них не помнят. И они индивидуальны, как отпечатки пальцев, двух одинаковых быть не может.

Нет, бездумный круиз не продолжается.

Я И ПАУЛЬ ГЕТЦКЕ

Сидя в кресле каюты на шлюпочной палубе, я подытоживаю воспоминания и впечатления дня.

Более тридцати лет назад, когда Павлик Волошин уезжал в Берлин к отцу, он уже курил присланные отцом английские сигареты «Голдфлейк». Курил щегольски, держа сигарету большим и указательным пальцами, отставив при этом мизинец, и вынимал ее изо рта, поглядывая на тлеющий огонек. Точно так же он закурил ее и в сорок третьем году, когда появился в Одессе у своей матери на улице Энгельса, вынужденно переименованной в дореволюционную Маразлиевскую. Был он в черном мундире СС, в звании гауптштурмфюрера и в должности начальника отделения гестапо, я не знал точно, какого именно отделения, но интересовался он, как и все в гестапо, главным образом одесским подпольем. Он вежливо и церемонно поцеловал руку Марии Сергеевны, театрально обнял меня как старого школьного друга и закурил. Тогда я и узнал, что зовут его уже не Павлик Волошин, а Пауль Гетцке, по имени махехи, оставшейся в Мюнхене. Отец его к тому времени уже умер.

Навязанную мне роль старого друга я сыграл без преувеличенной радости, но и без растерянности и сму-

щения. Встретились два бывших школьных друга и поговорили по душам о прежней и новой жизни.

— Кавалер Бален-де-Балю. Помнишь, маркиз?

— Конечно, помню.

— Кого из ребят встречаешь?

— Мало кого. Разбрелись люди. Тимчука видел.

— Тимчука и я видел. Он у румын в полиции. Думаю взять его к себе.

— Твое дело. Я с ним не дружу.

— А из девчонок кто где?

— Кто-то эвакуировался, кто-то остался.

— Галку встречаешь?

— Нет. Из дома меня выселили. В твоей светелке живу.

— Мать правильно поступила. Комната мне не нужна. А ты почему из города не удрал?

— В армию меня не взяли — плоскостопие. А эвакуироваться трудно было.

— Ты ж комсомольцем был.

— Как и ты.

Волошин — Гетцке захохотал и потрепал меня по плечу.

— Грехи молодости. Гестапо тоже не обратит внимания на твоё комсомольское прошлое. Хочешь, редактором сделаю?

— Поганая газетенка. Уж лучше наборщиком.

— Значит, душой с Советами?

— С Россией. Русский я, Павлик.

— Не Павлик, а Пауль. Я теперь немец по матери. По второй матери, баронессе фон Гетцке. Она усыновила меня и воспитала в духе новой Германии. Какой на мне мундир, видишь?

Я промолчал. Я видел и внешность и нутро гауптштурмфюрера, так радостно продавшего свою родину и народ. Даже сдержанная Мария Сергеевна после его ухода сказала мне с нескрываемой болью:

— Это уже не мой сын, Саша. Чужой. Совсем, совсем чужой...

Я попробовал сыграть:

— Что вы, Мария Сергеевна! Павлик как Павлик. Только зазнался.

— Нет, не зазнался, Саша. Онемечился.

— Грустно, — сказал я.

— Не только. Страшно.

Мне тоже было страшно. По краю пропасти идти не хотелось. Но Седой сделал неожиданный вывод:

— Перебрасывать тебя в катакомбы пока необходимости нет. Даже наоборот. Листовки, конечно, бросишь, а из школьной дружбы с гестаповским чином можно извлечь и пользу. Рискнешь?

Я думал.

— Если боишься, не неволю.

— Не боюсь. Трудно.

— А мне не трудно?

— Так ведь играть надо. А какой из меня актер!

— Сыграть нейтрала не так уж сложно. Немножко испуга, растерянности, сомнений. А вражды нет.

— Да мне каждое слово его ненавистно. В глаза плюнуть хочется.

— А ты гляди с завистью на правах старого друга, которого жизнь прибила.

— Сорвусь.

— Не исключено. А кто из нас не рискует?

И я рискнул. Пауль пришел через несколько дней в воскресенье. Пришел не столько к матери, которой он церемонно целовал руку, сколько ко мне. Влекли, должно быть, школьные воспоминания, возрастные ассоциации, возможность пооткровенничать с человеком, который для гестаповца безопасен. А может, и пощеголять хотелось тем, как изувечили душу русского школьника гитлерюгенд и впрыскивания речей Розенберга и Геббельса.

Разговаривали мы свободно, не стесняясь, спорили и убеждали друг друга — я с позиции «прибитого жизнью» нейтрала, он с высоты счастливого, удачливого игрока, новоиспеченного хозяина жизни.

— Удивляюсь твоей ограниченности. Неужели тебя, будущего юриста, удовлетворяет деятельность типографского наборщика?

— А где университет, чтобы юрист будущий стал настоящим?

— После войны мы откроем университеты. Не очень верь демагогии Геббельса: она для быдла. Каждый здравомыслящий немец понимает, что управлять Украиной без украинцев, а Россией без русских будет невозможно. Понадобятся специалисты во многих областях знания. Конечно, командовать будут победители, но и побежденным останется немалый кусок пирога.

— А кто жует этот кусок пирога? Жулье, подонки, прохвосты и уголовники.

— Издержки первых лет войны. Кого же выбирать из вас, если интеллигенция удирает при нашем приближении или отсиживается в наборщиках? Все вы поклонитесь после победы.

— Чьей победы?

— За такие вопросы даже школьных друзей отправляют в гестапо.

— Прости, Пауль, но я ведь не тупица и не баран, на которых рассчитана пропаганда профашистской «Одесской газеты». Я спрашиваю тебя именно как школьного друга: а сам ты веришь в победу?

Я не играл в искренность, я был искренним во всем, кроме обращения к гауптштурмфюреру Гетцке как к старому школьному другу.

Он верил.

— У нас, как тебе известно, вся Европа и большая половина Европейской России. Не так долго ждать.

— А Сталинград?

— Эпизод. Случайный просчет.

Он нажал двумя руками крышку стола, словно хотел его сдвинуть, — жест, который мне запомнился с первой встречи после его появления в Одессе и которым он словно хотел подчеркнуть свое желание переменить тему беседы, — и добавил:

— О шахматах не забыл? Может, сыграем партийку?

Партию эту — я играл белыми с открытым центром — он выиграл легко и красиво. В середине игры создалось парадоксальное положение, когда белые одним махом могли вырвать победу. И я сделал этот ход конем, обуславливающий, казалось бы, неизбежное поражение черных. Но у черных был единственный контршанс, парадоксальный, я повторяю, контршанс — его трудно было найти, и все же Пауль нашел этот опровергающий, достойный выдающегося мастера ход и выиграл позицию, а затем и партию.

— Вот тебе и ответ на твой миф о Сталинграде, — сказал он.

Я не спорил, хотя величины были несоизмеримы, а сравнение смехотворно, но партия сама по себе была очень эффектной, я хорошо запомнил ее, и, как оказалось, не зря.

Третий разговор в светелке Павлика носил уже офи-

циальный характер. Павлика не было, школьного приятеля не было, старого одессита не было. Был гауптштурмфюрер Гетцке, черномундирный эсэсовец и следовательно одесского гестапо.

— В городе опять появились листовки, Гриднев.

Я неопределенно хмыкнул:

— Что значит опять? Они уже два года как появляются.

— Когда я приехал, они исчезли.

— Не считаешь ли ты, что подпольщики тебя испугались?

— Не знаю. Но после моего появления в Одессе листовок какое-то время не было.

— А чем я, собственно, обязан этой высокой консультации?

— Листовки набираются в типографии «Одесской газеты».

Я засмеялся:

— У нас на каждого линотиписта свой агент сигуранцы! Строки не наберешь без просмотра.

— Есть и ручной набор.

— Акцидентный. Несколько стариков набирают афиши, объявления управы и приказы комендатуры. Проследить за ними легче легкого.

— И все-таки листовки появляются в городе.

— Не проще ли предположить, что еще до эвакуации Одессы нужный шрифт был вывезен из типографии и где-нибудь в городе налажен набор листовок?

— Подпольную типографию разгромили два месяца назад. Я уже затребовал всю документацию из сигуранцы. Погляжу, куда она меня выведет.

Я знал, куда выведет. Федька-лимонник понятия не имел о подпольной типографии. Федька-лимонник охотился за мной как за причастным к распространению листовок. Он не знал ни моего имени, ни моей клички, а сигуранца не знала моей новой квартиры. По одному, несомненно, поверхностному описанию найти меня не могли.

Но Пауль Гетцке умел думать и сопоставлять факты. Моя работа в типографии «Одесской газеты» — это он знал. Мое жительство у дяди Васи установлено добровольными или вынужденными показаниями соседей. Мое описание Федькой-лимонником кое в чем все-таки совпало. А разгром явочной квартиры и мое появление у

Марии Сергеевны были еще легче доказуемым совпадением. Седого в Одессе не было, и никто, кроме него, не мог бы переправить меня в катакомбы.

Ночью во время комендантского часа, когда на улице не было ни души, двое молчаливых эсэсовцев отвезли меня в штаб-квартиру гестапо. Отвезли довольно вежливо, не надевая наручников и не толкая прикладами автоматов в спину.

Гетцке встретил меня в кабинете без дружеских излияний, молча указал на место возле стола и произнес с любезной улыбкой:

— Ты, как я понимаю, не удивлен, Гриднев. Так поговорим по душам, без игры в нейтралов и школьных друзей.

Я молча ожидал продолжения.

— Я изучил всю документацию по делу явки на Ришельевской, — продолжал Пауль. — Сообщение известного нам одессита, не очень уважаемого как личность, но вполне подходящего как свидетель, ничего не говорит о подпольной типографии, однако довольно точно описывает тебя как постоянного жильца этой квартиры. Описание подтвердили и соседи по дому. Но дело даже не в описании. Донос, мой друг, прямо обвиняет тебя в авторстве и распространении листовок со сводками Советского Информбюро. Учитывая твою работу в типографии «Одесской газеты», я склонен думать, что обвинение звучит довольно правдоподобно. Подтверждается оно и другим обстоятельством: в день разгрома явки ты уцелел и по счастливой случайности встретил на Дерибасовской мою мать, которой и объявил о поисках новой квартиры. Мотивировал это выселением из дома на Канатной, хотя из того дома тебя выбросили еще в сорок первом году. Итак, все сходится, мой школьный друг. В твой нейтрализм, между прочим, я никогда не верил: такие, как ты, могут быть только врагами. Я сразу понял это после твоего отзыва об «Одесской газете» и прохвостах, на которых мы опираемся. Актер ты плохой, сыграл свою роль плохо, и спектакль, я думаю, уже окончен.

Я продолжал молчать. Все было ясно. Но оказалось, еще не все.

— Я мог бы тебя, конечно, подвергнуть обычной процедуре допроса, но ты слишком хлипкий, и после обработки моими молодчиками из тебя уже ничего не выжмешь. Одним подпольщиком будет меньше, только и

всего. Но мне нужен не один, а вся ваша группа. И я придумал, как до нее добраться. Тебя не будут ни бить, ни подвешивать, ни прижигать сигаретами, ни топтать сапогами. Ты уйдешь отсюда таким же чистеньким и свеженьким, как пришел. Никто, кроме матери, не знает, что ты был у нас, но на нее можно положиться. С этой же минуты, однако, каждый твой шаг будет под нашим наблюдением, и с кем бы ты ни встретился, кого бы ни посетил, даже просто перемолвился с кем-либо на улице, тот будет схвачен немедленно. Знаешь, как рыбу берут сетью? Мелкую вышвыривают, крупную на таган. Так мы и переловим всех твоих действующих и перспективных связных, а может быть, выйдем и на кого покрупнее. Игра стоит свеч, мой школьный товарищ, и мы в нее поиграем, чего бы нам это ни стоило. Что скажешь, наборщик Гриднев? Или у тебя язык отнялся от страха?

— А чего ты, собственно, ждешь: согласия или отказа?

Он хохотнул.

— Тебе нельзя отказать в присутствии духа. Так, значит, начнем игру.

Он позвонил. Вошел один из доставивших меня охранников.

— Отправьте этого господина домой, — сказал гауптштурмфюрер по-немецки. — Обращаться вежливо и учтиво. Никакого насилия.

Меня увели. Мария Сергеевна встретила нас с каменным лицом, не говоря ни слова, и так же молча проводила меня в мою светелку. Один из гестаповцев остался на улице. Утром его, вероятно, должны были сменить.

До конца комендантского часа оставалось всего четверть суток. Тишина и темнота не только пугают, но и заставляют думать.

Не зажигая света, я думал.

Моя квартира считалась явочной. Не получая от меня сведений, Седой мог явиться сам или прислать связного. Из типографии меня, конечно, выкинут, сделав это в присутствии тайных или явных гестаповцев, которые наверняка проследят любую мою попытку с кем-нибудь встретиться и что-то кому-нибудь передать. Даже Тимчука я не мог предупредить о вызове в гестапо: взяли бы и Тимчука.

Оставалась Галка или, вернее, ее чердак с дыркой в чулане. От дома на Маразлиевской до моего бывшего обиталища на Канатной можно было дойти за десять минут. В опасности оккупационной ночи эти девять минут могли растянуться до часа.

У выхода на Маразлиевскую, как я и предполагал, дежурил шпик.

Выхода на Канатную из дома не было. Но если спуститься из окна во двор, взобраться по крыше дворового погреба на двухметровую каменную стену, можно было перемахнуть во дворик другого дома, выходявшего на Канатную. До цели оставалось еще четыре дома, шесть подъездов, двое ворот и кусок еще одной полуразрушенной стены — шагов семь-восемь. Можно было нарваться на патруль, а может быть, и нет: все-таки шесть подъездов и двое ворот.

Тишина и темнота не только угрожают, но и хранят.

Самое трудное было спуститься из окна второго этажа в чернильную мглу двора. Водопроводная труба у окна была дряхлая и ржавая, но боялся я не упасть, а загреметь.

Тогда конец.

Я стоял у открытого окна и слушал тишину, как сладчайшую музыку. Что значили в сравнении с ней Бетховен или Моцарт! Она пела о риске, о свободе, об удаче гасконца Бален-де-Балю.

Я потянулся к трубе и, обхватив ее коленками, повис. Она выдержала.

Медленно, метр за метром я опустил на каменные плиты двора.

Никого.

Канатная встретила такой же чернильной тьмой. Ни одного освещенного окна, ни одного фонаря, ни одной звезды в небе.

И ни одного патрульного.

Четыре дома, шесть подъездов я прошел, прижимаясь к стене. У груды битых кирпичей на мостовой попластунски переполз на угол бывшей улицы Бебеля — румынское название ее я забыл. Подъезд был открыт, обе двери его кто-то давно снял на растопку. Беззвучно, как кошка на охоте, я добрался до чердака. Он был заколочен, но я знал, что гвозди фальшивые — одни ржавые шляпки, и рванул дверь на себя. Она открылась со зловещим уханьем... Я так и замер в ожидании тревоги.

Но тревоги не было; дырку чердака, засыпанную соломой, нашел без труда и нырнул в знакомый чуланчик, громыхнув некстати подставленным стулом.

В дверь чуланчика тотчас же просунулась Галка в белой ночной рубашке — я только эту рубашку и видел, но Галка почему-то сразу разглядела меня.

— Ты?

— Я.

— Что-нибудь случилось?

— Да.

— погоди минутку, я оденусь.

Я постоял в двери, потом шагнул в комнату, освещенную огарком свечи.

Галка была уже в халатике и поправляла сбившиеся на лоб волосы.

— Провал, — сказал я и сел к столу.

Галка закрыла рот рукой, чтобы не вскрикнуть.

— Седой?

— Пока только я.

И я рассказал Галке о разговоре в гестапо.

— Надо тебе бежать. И немедленно.

— Куда и как?

— У тебя же есть ночной типографский пропуск.

— Пропуск отобрали в гестапо.

— Попробуй тем же путем вернуться домой. Я предупрежу товарищей.

— О том, что я прокаженный? Не поможет. Пауль заберет всех моих школьных друзей. Для профилактики. Первой будешь ты.

— Я скроюсь. Других предупредим. Важно дождаться возвращения Седого. Что-нибудь придумает.

— У нас нет времени.

— Что же ты предлагаешь?

— Уничтожить Павла. Пострадаю только

— Чему поможет это самопожертвование?

— Подполью.

Галка задумалась. В свете огарка ее лицо казалось серым, как асфальт.

— Есть выход. Я разбужу Тимчука. Ты знаешь, ему нужно постучать в стенку с лестницы. Спит чутко.

Через десять минут явился Тимчук, заспанный, но одетый и с автоматом через плечо.

— У нас добрых три годыны, — сказал, выслушав. — Выведу вас как арестованных без ночных пропусков,

вроде бы в комендатуру, а на самом деле к Кривобалковским катакомбам. Вход знаю.

— А патруль?

— Прощмыгнем. Если не поверят, кончим. Больше двух человек не ходят. Ты одного, я другого. — Он протянул мне новенький «вальтер». — Стреляй в упор, прижав дуло к телу, — меньше шума.

Как мы дошли, вспоминать не хотелось. Длинно и мучительно. Но все-таки я доказал Паулю Гетцке, что даже один просчет в партии может окончиться поражением сильнейшего.

Потом нам сказали, что гауптштурмфюрер Гетцке брэнное свое существование закончил. Его убили гранатой на Соборной площади, когда он, выйдя из машины, зачем-то пошел к киоску напротив. Узнали Гетцке только по документам, так как лицо было обезображено взрывом гранаты.

Повторяю, я долго жалел потом, что то была не моя граната.

Я НАЧИНАЮ РОЗЫСК

Лента воспоминаний раскручивается и исчезает. Я встаю с кресла и поднимаюсь на капитанскую палубу. Капитан встречает меня в точно сотканном из сахарной пудры мундире с пуговицами и нашивками, отливающими червонным золотом. Он высок, русоволос и красив, этаким экранный вариант моряка. Создает же господь бог такую картинную человеческую породу.

К тому же он еще и умен.

Внимательно рассмотрев мое служебное удостоверение, он приглашает меня в кабинет. Хорошие копии Тернера и обрамленная тонким багетом гравюра легендарного парусника «Катти Сарк» украшают стены.

— Чем обязан? — спрашивает он.

— Есть подозрение, что один из пассажиров рейса выдает себя за другого. Пока только подозрение. Возможно, это честный советский гражданин, а быть может, государственный преступник. Хорошо замаскированный и очень опасный.

— Что требуется от меня?

— Обеспечить мне радиотелефонную связь с Одесой, а возможно, и с Москвой. Гарантировать полную секретность операции.

— А если он сойдет в первом порту? Скажем, здесь же, в Ялте, или в Сочи?

— Пока он, надеюсь, ничего не подозревает. Да и невыгодно ему раскрываться: он уверен, что против него никаких доказательств.

— Я не должен знать, кого вы подозреваете?

— Фамилия его Сахаров. Сидит с женой за нашим столиком в ресторане. Никаких инцидентов в пути, полагаю, не будет.

В радиорубке я связываюсь по радиотелефону сначала с Одессой. Полковника Евсея Руженко знаю лично, представлений не требуется, и разговор начинается сразу же, без преамбулы.

— Звоню с теплохода «Иван Котляревский». Стоим в Ялте.

— В отпуску?

— Прервал отпуск. Срочное дело, Евсей.

— Излагай.

— Есть подозрительный человек среди пассажиров. Проверить надо. И немедленно. Узнай все, что известно из сохранившихся в Одессе немецких архивов времен оккупации о следователе гестапо гауптштурмфюрере Гетцке. Пауль Гетцке. Записал? Он же Павел Волошин, родившийся и учившийся в Одессе. Кстати, в одной школе со мной. Как он попал в Германию и превратился в Пауля Гетцке, рассказывать долго. Узнаешь у Тимчука — тоже соученика, а сейчас крановщика в одесском порту. Под именем Гетцке, точнее фон Гетцке, Павел и вернулся в Одессу в сорок втором году. А в конце сорок третьего его убили на площади Советской Армии, бывшей Соборной. Подробности найдешь в архивах. Лично я думаю, что это камуфляж: убит другой с документами Гетцке, с дальним расчетом, понимаешь? В общем для опознания мне нужны, если сохранились, его фотокарточки и образцы почерка. Разыщи также оставшихся в живых свидетелей, которые могут вспомнить что-либо о его привычках, вкусах, манерах и особенностях поведения. Меня интересуют не допросы, а поведение вне службы. Может быть, уцелели его неотправленные письма на родину или, что более вероятно, какие-нибудь записки, пометки на документах, резолюции. Имеются ли сведения о его друзьях и родственниках в Германии.

— Ясно.

— Материал шли по фототелеграфу на адрес нашего ведомства в Сочи, а лично со мной связывайся в любое время на теплоходе.

— Бу... сде, как говорит Райкин. Все?

— Пока все.

В Москве тем же способом по радио связываюсь со своим непосредственным помощником и заместителем майором Корецким. Кратко объяснив, откуда и зачем я звоню, тщательно перечисляю все, что необходимо сделать сегодня и завтра.

— Единственное неизвестное в уравнении — личность самого Сахарова. Подробности метаморфозы Волошин — Гетцке узнаешь от подполковника Руженко в Одессе. Свяжись немедленно. Кстати, обсудишь и возможности дальнейшего превращения Гетцке в оценщика московской комиссионки Сахарова. Бесспорных доказательств этого превращения у меня нет — только личные впечатления и несколько схожих примет. Нужно что-то более веское. Вот и попробуем это веское отыскать. Возраст у Сахарова приблизительно мой: пятьдесят два — пятьдесят три. По его биографии — воевал, был в плену, освобожден американцами и возвращен (выясни: беспрепятственно или со скрипом) на родину, в Москву. Учти, что из биографии его для нас существенны главным образом довоенный и военный периоды, а также пребывание в плену вплоть до проверки его по возвращении в распоряжение наших частей. Очень важны фотоснимки довоенного и военного периодов, письма, записки и вообще образцы его почерка того времени. Есть ли родные и знакомые, знавшие его до войны, во время войны и особенно в лагере военнопленных до освобождения его американским командованием. Интересно, встречались ли они с ним после его возвращения из плена и не нашли ли каких-либо странностей, не соответствовавших его прежним привычкам, манерам, облику и характеру.

— Месяцы работы, — слышу я в ответ.

— Месяцы сожми до недели. Сегодня вторник, а в субботу я должен знать, тот ли это Сахаров, за которого он себя выдает. Держи связь со мной через капитана «Котляревского», а образцы почерка и фотоснимки передавай по фототелеграфу в Сочи, Сухуми, Батуми и Новороссийск. Завтра мы будем в Сочи, послезавтра в Сухуми и так далее. Ночь плывем, день стоим. И еще: все

добытое должно извлекаться осторожно, так, чтобы у опрашиваемого не возникло никакого беспокойства и тревоги. Лучше всего действовать под видом фронтового друга, интересующегося судьбой своего соратника. Теперь главное. Доложи генералу обо всем, что я тебе рассказал, и попроси разрешения на расследование. Это прежде всего. Если разрешит — а, думаю, так и будет, — создавай группу. Подбери лучших. Виктора, например.

— У Виктора срочное задание.

— Ну Ермоленко. Остальных на твое усмотрение.

Возвращаюсь в каюту и нахожу Галку, аппетитно высасывающую сладкую мякоть груши.

— Как развиваются события? — спрашивает она, лукаво прищурив глаз.

— События? Какие события? — Делаю невинное лицо и получаю в ответ Галкино привычное:

— Не финти.

Удивление в квадрате. Не проходит: Галка безжалостно анатомирует:

— Тебя что-то заинтересовало в Тамаркином муже. Вы еще на причале с Тимчуком к нему присматривались. Думаешь, не заметила? Заметила. И за обедом ты явно играл. Во-первых, скрыл от него свою профессию...

— Почему? Я и в самом деле юрист.

— Но не член коллегии защитников. Во-вторых, твои актерские интонации — я-то их отлично знаю. Наигранное безразличие и чем-то обостренный интерес. Так ведь?

— Допустим.

— Может быть, это не государственная тайна и не закрытая для простого смертного?

— Для тебя нет. Даже больше: твоя работа в институте криминалистики, близость к одному нашему общему делу в прошлом, твой здравый смысл и умение отличать в поведении человека ложь от правды и фальшь от искренности позволяют включить тебя в группу.

— Ничего не понимаю. Какая группа?

— Ты и я. Нас поддерживают одновременно Москва и Одесса.

— Шутишь?

— Насчет группы — да. А серьезно — начинаем расследование, как только придет «добро» из Москвы.

Словом, отпуск кончился, как верно отметил упомянутый тобою Тимчук.

— А нельзя без загадок?

— Загадка только одна. Кто такой Сахаров?

— Откуда этот внезапный и непонятный для меня интерес?

Пришлось раскрутить перед Галкой ту же ленту воспоминаний. Галка слушала серьезно и взволнованно, отражая на лице всю смену эмоций — от тревоги до недоверчивости. К концу моего рассказа последняя явно пересилила.

— Пауль Гетцке — Сахаров? Но его же убили в конце сорок третьего.

— По лицу убитого узнать не могли: оно было обезображено взрывом гранаты. Личность его установлена только по документам.

— Но задание ликвидировать Гетцке было же согласовано с Седым.

— Несомненно. Но в кого бросил гранату Терентий Саблин, боевик из второй группы Седого, мы так и не узнали. Терентий был убит осколком той же гранаты.

— Значит, предполагаешь камуфляж?

— Не я один. Предполагал и Седой. Только у нас не было доказательств.

— А какие были основания для такого предположения?

— Вторая граната. Один из наших пареньков, страховавший Терентия, слышал два взрыва, один за другим. У Терентия была всего одна граната. Кто же бросил вторую? И зачем? Возникло предположение, что о подготовке покушения на Гетцке знали в гестапо и вместо Пауля поставили другого с его документами.

— Не могу понять, — вздыхает Галка.

— Чего?

— Смысл подстановки ясен. А вторая граната зачем?

— Чтобы нельзя было опознать убитого. Терентий бросал под ноги — удар мог пощадить лицо. Вторую гранату бросили в голову.

— Не проще ли было Паулю перевестись из Одессы, не прибегая к столь сложным и кровавым мистификациям?

Я уже не могу сидеть. Я хожу взад и вперед между койками каюты, размышляя вслух.

— Видишь ли, во-первых, Волошин — Гетцке игрок.

В картах — блеф и риск, в шахматах — неожиданность и атака. Таков он и в жизни. «Проще» для него неинтересный тактический ход. Во-вторых, у берлинского начальства Пауля были, по-видимому, на него свои расчеты. Уже тогда гитлеровская разведка забрасывала к нам и в сопредельные славянские страны специально подобранных агентов на длительное оседание. Посылали человека на случай, если понадобится в будущем. Жил бы законспирированный, незаметный до того, пока не потребуется, Гетцке был для этого идеальным кандидатом. Родной для него русский язык, знание правовых норм и моральных устоев советского общества, его эстетических вкусов и бытовых черт плюс преуспевающая деятельность на гестаповском поприще и наиболее ценимые качества империалистического разведчика — ум, хитрость, жестокость и неразборчивость в средствах. Все остальное уже было делом техники.

— А почему ты решил, что Сахаров — это Волошин?

— Узнал его. И не я один.

— Видела. На причале. — Тон Галки уже становился чуть ироничным. — Интересно, по каким признакам вы его узнали? Я, например, и сейчас не узнаю.

— Ты знала его мальчиком. В эсэсовском мундире не видела. В «Пассаже» он не жил, по улицам разъезжал в машине, а в гестапо, к счастью, тебя не допрашивал.

— Пусть так. Но за три десятка лет человек иногда меняется до неузнаваемости.

— Например, отращивает бороду.

— Давай без сарказма, — уже сердится Галка. — Я не знаю, потому и спрашиваю.

— А я и объясняю. Ты знала Павлика Волошина, но не встречалась с Паулем Гетцке. А мы с Тимчуком встречались. И неоднократно. Лицом к лицу, как говорится.

— И что же в лице Сахарова оказалось волошинским?

— Во-первых, глаза. Или, точнее, что-то общее в них, собирательное: холодное недоверие к собеседнику, колючий огонек, умение скрывать что-то свое подспудное, другим неизвестное. Я не могу сформулировать точнее эту общность глаз, но, заглянув в глаза Сахарова, внутренне содрогнулся — столь знакомыми они мне показались.

— Это не для прокуратуры.

— Конечно. Впечатление не доказательство: показалось, приснилось, привиделось. Есть, правда, и другая общность портрета. Похожи лоб, высокий взлет бровей, ноздри хищника, маленькие уши. Увы, все это не «особые приметы» — найдешь у множества лиц в толпе. Но есть какие-то штрихи индивидуальности, неповторимые оттенки личности, характерные, присущие только одному человеку привычки. Один пробует языком когда-то беспокоивший его зуб, отчего лицо чуть-чуть кривится и морщится. Другой в минуту задумчивости теребит мочку уха, третий предпочитает чесать затылок, четвертый полуприкрывает рукою рот, когда удивляется. По таким привычкам часто безошибочно угадываешь сходство.

Галка напряженно молчит, думает. Глаза по-прежнему недоверчивы.

— У Павлика была своя манера входить в воду с пляжа, — вспоминает она, — нырял под волну на мелководье и плыл под водой, пока позволяло дыхание, затем выскакивал на волну, как дельфин, и уплывал далеко в море, почти невидный с берега. Впрочем, это тоже не «особая примета». Так купаются многие.

— В том числе и Сахаров.

— Где это ты видел?

— На пляже в Ялте, когда вы уезжали на экскурсию.

— Смешно.

— Скорее любопытно. Не «особая примета», согласен. Но есть и особая. У Павлика Волошина, когда он начал курить, появилась и своя манера закуривать: затянуться, вынуть сигарету изо рта двумя пальцами, оставив мизинец — этаким одесский лихаческий шик, — и посмотреть на тлеющий огонек папиросы. Точь-в-точь так же закуривает и Сахаров. Привычка настолько слилась с его личностью, что он забыл о ней как об «особой примете». Мелкий просчет, но просчет.

— А ты рискнешь утверждать, что такая же мальчишеская привычка не сохранилась с детских лет и у некоего Сахарова?

— Не рискну, конечно. Приметы не убеждают, а настораживают.

— А шрам? — вдруг вспоминает Галка. — У Павлика его не было.

— Возможна пластическая операция.

— Не подгоняешь ли ты доказательства к версии? Бывают такие следователи.

— Знаю, что бывают. Повторяю, я еще ни в чем не убежден, но причин для настораживания все больше и больше. Тут уже не только мистика интуиции и случайность совпадений «особых примет», настораживают и шероховатости в биографии Сахарова.

— Успел узнать?

— Да, из его рассказа. Кстати, говорит о важных событиях с полнейшим безразличием к теме, с какой-то подчеркнутой равнодушной интонацией. Как о нечто само собою разумеющемся. Воевал, был в плену, сидел в лагере для военнопленных, освобожден американцами, и, по-видимому, без всяких сложностей.

— Н-да... — задумывается Галка.

Искорки недоверия в ее глазах гаснут. Глаза уже не щурятся, они широко открыты, сосредоточенны и серьезны.

— Обычный в те годы способ заброски агента, — говорит она. — Придется проверять по двум каналам.

— Уже начал. Пока ты любовалась алупкинскими красотами, я переговорил с Москвой и Одессой. Завтра получу первую информацию.

Разговор обрывается, мы приходим к одной мысли, которой будут теперь отданы все наши думы, силы и чувства.

— А все-таки жаль, — говорит она, — что отпуск кончился.

СОЧИ

Я РАЗГОВАРИВАЮ С ОДЕССОЙ

Завтракаем на подходе к Сочи. На палубе тридцать градусов в тени, а здесь, в ресторане, кондиционеры снижают жару до восемнадцати. Свежо и прохладно. Официантки в накрахмаленных фартучках разносят кофе по-варшавски с пастеризованным молоком.

Разговор не клеится. Сахаров, как и вчера, молчалив и сумрачен. Тамара злится — должно быть, поссорилась с мужем; вышла к завтраку с покрасневшими веками и разговаривает только с Галкой о предстоящей экскурсии в Мацесту и Хосту.

Я молча дожевываю сырники и вздыхаю:

— Предпочел бы хороший бифштекс по-деревенски. Когда-то у Волошиных их очень хорошо готовила домработница Васса.

Он спрашивает:

— Почему по-деревенски?

— С поджаренным луком, — поясняю я. — Так он когда-то именовался в ресторанных меню.

— Не знаю, — пожимает он плечами, — до войны по ресторанам не хаживал. А сейчас они без названия. Просто бифштекс с луком. Лучше всего их готовят в Берлине.

— В Берлине? — недоумеваю я.

— Я имею в виду ресторан «Берлин», — снисходительно поясняет он.

— В Одессе в «Лондонской» готовят не хуже, — заступает за Одессу Галка.

— Что это «Лондонская»? — интересуется Сахаров. Я вмешиваюсь:

— Так называлась раньше гостиница «Одесса» на Приморском бульваре. По привычке старые одесситы ее и сейчас называют «Лондонской».

— С раскрашенным Нептуном в садике? — улыбается Сахаров. — В воскресенье с Тамарой там обедали. Неплохо. А вы, значит, тоже одессит?

Спрашивает он, как обычно, лениво, без особой заинтересованности. Именно так спросил бы Сахаров. Если же это Пауль, то не узнать меня он не мог, и вопрос, конечно, наигран. Кстати говоря, мастерски, по актерской терминологии — «в образе».

Ну а мой «образ» позволяет не лгать.

— Конечно, одессит. Вместе с Галиной в одной школе учились.

— И воевали в Одессе?

— Оба. Вместе были в оккупации. В партизанском подполье.

— Страшно было?

— На войне везде страшно.

— Верно, — соглашается он. — В плену тоже было горше горького. А что сильнее — страх перед смертью в открытом бою или ежедневный поединок с гестапо?

Если Сахаров — это Пауль, то он допускает просчет. Подлинный Сахаров не должен был бы интересоваться чужой и безразличной ему Одессой, да еще в далекие оккупационные годы. Тогда ему, Сахарову, как говорит

он сейчас, самому было несладко, и обмениваться воспоминаниями такой Сахаров едва ли бы стал. Тут Пауль из «образа» вышел.

И я с готовностью подымаю перчатку.

— Страх смерти на войне дело привычное. О нем забываешь, в подполье тем более. Нет ни бомбежек, ни артобстрела. Поединок с гестапо, конечно, не игра в очко, но мы выигрывали и такие поединки. Да и не раз.

Я посмотрел на Галку — она порывалась что-то сказать, но не сказала. И Сахаров перехватил этот взгляд. Он снова «в образе», задумчивый и незаинтересованный. Понял ли он свой актерский просчет, малюсенький, но все же просчет, или настолько убежден в своей неразоблачиваемости, что ничего и никого не боится? Это совсем в духе Пауля. Игрок всегда игрок — врожденное свойство характера не заслонишь никакой маской.

Похоже, что он играет наверняка. Узнал, но не боится, хорошо замаскирован и может поиграть со мной в кошки-мышки. Пока мои данные — воспоминания, ощущения, приметы, предположения — все это, как говорит Галка, не для прокуратуры. Акул не ловят на удочку — нужен гарпун.

Может быть, мне даст его Одесса или Москва?

Долго ждать не приходится. К столу подходит официантка и, нагнувшись ко мне, тихо спрашивает:

— Вы товарищ Гриднев Александр Романович?

— Так точно.

— Капитан вас просит подняться к нему на мостик.

— Интересно, зачем это вы ему понадобились? — неожиданно любопытствует Сахаров.

Я мгновенно импровизирую:

— Так ведь это наш старый одесский знакомый. С его помощью мы и получили эту каюту. Ведь билеты на круиз давно распроданы.

— Я знаю, — тянет Сахаров. — А как зовут вашего капитана?

— Невельский Борис Арсентьевич. Старинная родовая фамилия русских мореплавателей и землепроходцев.

Хорошо, что я предусмотрительно узнал имя и отчество капитана. Но с какой стати Сахаров спросил меня об этом? Проверить? Поймать на симпровизированной выдумке? Пожалуй, когда я уйду, он с пристрастием допросит Галку. Ничего, она вывернется.

Я подымаюсь на капитанскую палубу, припоминая

все сказанное за столом. Ничего особенного. Мелочи, нюансы. Например, демонстративное подчеркивание своего незнания Одессы, его интерес к нашим переживаниям в одесском подполье, но, может быть, мне только это показалось. Ладно, подождем.

Капитан выходит навстречу мне к верхнему трапу.

— Скорее в радиорубку, — торопит он. — Вас уже ждут.

Меня действительно ждет у радиотелефона в Одессе Евсей Руженко.

— Долго же ты добирался из ресторана. Минут десять жду, — ворчит он.

— Да, но, сам понимаешь, я не хотел показать Сахарову, что спешу к телефону. Тем более это его, кажется, заинтересовало.

— Сахаров — это воскресший Гетцке?

— Есть такая думка.

— Подтверждается думка. Донесением Тележникова секретарю подпольного райкома.

— Какого Тележникова?

— Ты же в его группе был. Седого не помнишь?

— Седого забыть нельзя. Забыл, что он Тележников. Старею. Так о чем донесение?

— О двух гранатах. Не наша граната убила Гетцке.

— Я это знаю.

— Тележников уверен, что нам вместо Гетцке подсунули другого.

— Это я тоже знаю. Меня интересует его досье.

— Досье нет. Или его вообще не было, или его изъяли заранее, еще до отступления.

— Я так и предполагал. Что же удалось узнать?

— Мало. Нет ни его фото, ни образцов почерка. Ни одной его записки, ни одного документа, им подписанного. Со свидетелями его деятельности тоже не блеск. Никто из попавших к нему в лапы не уцелел. Хозяйка квартиры, где он жил, бесследно исчезла во время отступления последних немецких частей из Одессы. Осталась в живых лишь ее дочь, находившаяся в то время у родственников в Лузановке. Ей было тогда десять лет, и многого она, естественно, не запомнила. Помнит красивого офицера, хорошо говорившего по-русски, нигде не сорившего и даже пепел от сигарет никогда не ронявшего на пол. Вот ее собственные слова: «Он курил только безмундштучные сигареты, курил медленно, лю-

боясь столбиком пепла. Как-то подозвал меня и сказал: «Смотри, девочка, как умирает сигарета. Словно человек. Остается труп, прах, который рассыплется». Иногда он с мамой раскладывал пасьянсы и даже научил ее какому-то особенному, не помню названия. Кажется, по имени какого-то короля или Бисмарка».

— А еще? — нажимаю я.

— Еще Тимчук.

— Тимчука оставь. Я уже говорил с ним в Одессе.

— Он добавляет одну деталь, о которой тебе не рассказывал. В минуты раздражения или недовольства чем-либо Гетцке кусал ногти. Точнее, один только ноготь. На мизинце левой руки он всегда был обкусан.

— Это все?

— Скажешь, мало за одни сутки! Но мы еще кое-что выловили. Мать Гетцке, Мария Сергеевна Волошина, до сих пор живет в Одессе. Говорит следующее: «Павлик и в детстве кусал мизинец, я корила его, даже по рукам била — не отучила. Осталась эта привычка у него и когда он вернулся сюда уже в роли немецкого офицера. Я уже не делала ему замечаний: он был совсем, совсем чужой, даже не русский. Друзей у него не было, девушек его я не знаю. Хотя, правда, он рассказывал мне об одной, дочери какого-то виноторговца в Берлине. Имя ее Герта Циммер, я запомнила точно: очень уж смешная фамилия. Павлик говорил, что даже хотел жениться на ней, но немецкая мачеха его, баронесса, не дала согласия на брак, пригрозив, что лишит наследства». Пока все.

— Как ты сказал — Герта Циммер?

— Точно.

— Спасибо. Это уже улов. Продолжай в том же духе. Документацию перешли мне в Москву. А связь поддерживай с «Котляревским» с ведома и разрешения капитана.

— Хороший мужик. Знаю.

— Очень уж элегантен.

— В заграничках требуется. И в своем деле, и в отношениях с людьми безупречен. Можешь полагаться на него в любой ситуации.

Капитан предупредительно встречает меня у входа в свою суперкаюту.

— Заходите, Александр Романович. Очень хочется полюбопытствовать.

— Что ж, полюбопытствуйте.

— Угощу вас настоящим ямайским ромом, остался от марсельского рейса.

— В другой раз с удовольствием. А сейчас, сами понимаете, разговаривал с Одессой, надо кое-что осмыслить и взвесить.

— А как ведет себя неизвестный в заданном уравнении?

— С отменным спокойствием.

— Не сбежит?

— Не думаю. Очень в себе уверен. Кстати, он был за столом в ресторане, когда официантка передала мне ваше приглашение, и крайне заинтересовался. Ну, я и сымпровизировал, сказав, что мы с вами знакомы еще по Одессе и даже каюту на теплоходе получили с вашей помощью. Не возражаете? Тогда просьба: разрешите зайти к вам с женой, когда будете свободны. Версия закрепится, и я могу уже без подозрений навещать вас, когда это потребуется.

— Превосходно, — дружески улыбается капитан, — сегодня же вечером и приходите ужинать. Уверяю вас, что ужин будет не хуже, чем в ресторане.

— И с ямайским ромом? — спросил я.

— И с ямайским ромом.

Я РАЗГОВАРИВАЮ С МОСКВОЙ

Галка ждет меня в каюте переодетая в другое платье и в новые туфли — видимо, собралась на прогулку в город.

— На экскурсию? — интересуюсь я.

— Нет, решили на городской пляж с Тamarой и Сахаровым.

— Он тоже едет?

— А ты разве нет?

— Не могу. Жду вызова из Москвы. Скажешь, что не хочу тащиться по жаре через весь город. Обойдусь душем. Если спросит, конечно.

— Спросит. Он явно обеспокоен твоим визитом к капитану. Я поддержала версию о знакомстве, не знаю, насколько убедительно, но поддержала.

— Сегодня вечером поддержим ее оба. Мы ужинаем не в ресторане, а у капитана. По его специальному приглашению. Обязательно похвастай этим перед Сахаро-

вым. Не специально, а к слову, без нажима. Ну а в разговоре обрати внимание на левый мизинец Сахарова.

— Ноготь обкусан? — улыбается Галка. — Тоже мне сыщик. Я это давно заметила: он кусает его, когда задумывается. Или просто проводит кончиком языка, когда кусать уже нечего. Скверная привычка, но едва ли веское доказательство.

— Даже не доказательство, а штришок. Еще один штришок к портрету Волошина — Гетцке. Ну а на пляже ты уточни еще один. Когда он заплывет подальше от берега и вы останетесь с Тамарой вдвоем, заговори о картах. Найди повод. Скажем, преферанс, покер, смотря на что клюнет. Упомяни и о пасьянсах. Обязательно о пасьянсах.

— Терпеть не могу пасьянсов. Что-то вроде козла, только без стука и в одиночку.

— Ну а по роли пасьянсы — твое любимое развлечение. Узнай, любит ли она их, если любит, обещай научить ее пасьянсу какого-то немецкого короля или Бисмарка. Старик пробаивался ими в часы досуга.

Галка настораживается.

— Зачем тебе это?

— Проверить одесскую информацию.

— Есть что-нибудь интересное?

— Мало. Перерыли все архивы — и ничего. Ни досье, ни фото, ни приказов, ни докладов, даже подписи нет. А образец почерка, сама знаешь, одна из вернейших «особых примет». Можно изменить биографию, даже внешность, только не почерк: специалисты-графологи всегда найдут общность, как его ни меняй. И если почерк настоящего Сахарова — это почерк бывшего Пауля Гетцке, значит, на руках у меня по меньшей мере козырной туз.

— Может быть, жива его мать?

— Жива и живет в том же доме. Но он никогда не писал ей. Ни одного письма, даже поздравительной открытки.

— А если потревожить его немецкую мачеху? Возможно, она тоже жива.

— Где? В Мюнхене? Попытаться, конечно, можно, но исход сомнителен. Есть другой вариант. По словам Волошиной, у Пауля в Берлине была невеста, некая Герта Циммер. Немцам свойственна сентиментальность, и возможно, что Герта Циммер, если она жива и живет

в Берлине — пусть в Западном, найдем, — все еще хранит заветное письмо или фотокарточку с трогательной надписью любимого, разлученного с нею навеки.

— Зыбко все это, — вздыхает Галка.

— Не мог он предусмотреть всего. Где-нибудь да просчитался, какой-нибудь след да оставил. Хоть кончик ниточки. А мы ее вытянем.

С этой зыбкой надеждой я и остаюсь на опустевшем теплоходе. Бассейн спущен. Без воды он неприветлив и некрасив. Снова возвращаюсь в каюту в ожидании вызова из Москвы. Но Москва молчит. Неужели Корецкий ничего не узнал? Не может быть. Что-то уже наверняка есть — накапливает, скряга, информацию. Уже час прошел — Сахаровы вот-вот вернутся. И, вспомнив к случаю о Магомете и горе, решительно поднимаюсь в радиорубку. Снова связываюсь по радиотелефону с Москвой.

— Почему не выходишь на связь? — говорю я недовольно замещающему меня Корецкому.

Корецкого я знал еще сиротой мальчуганом, подобранном наступавшей воинской частью, с которой ушел и я после освобождения Одессы. Ныне он майор с высшим юридическим образованием, непосредственно мне подчиненный.

Он сдержан и чуть-чуть суховат.

— Торопитесь, товарищ полковник.

— Меня, между прочим, зовут Александр Романович. А тороплюсь не я — время торопит. Есть что-нибудь?

— Прежде всего был у генерала. Доложил все подробно. Он заинтересован, да и знает вашу интуицию. Короче, есть «добро». И по делу кое-что есть...

— Давай кое-что.

— Сахаров живет в Москве с сорок шестого. Окончил Плехановский в пятидесятом. Работал экономистом в разных торгах, сейчас в комиссии на Арбате, соблазнился, должно быть, частными доходами, которые учесть трудно. Женат с пятьдесят девятого, до этого жил холостяком, обедал по ресторанам, вечеринки, гости, девушки, но сохранил, в общем, репутацию солидного, сдержанного человека. Жена — косметичка по специальности, практикует дома. Детей нет.

— Все это преамбула, мне знакомая. Дальше.

— Не судился и под следствием не был. Служебные

характеристики безупречны. Образ жизни замкнутый, хотя профессия его и жены предполагает обширный круг знакомых. Но ни с кем из них Сахаровы не поддерживают близких отношений. Это точно. Даже телефон у них звонит крайне редко.

— Откуда это известно?

— От соседей. Телефон у Сахаровых в передней. Стенка тонкая. Каждый звонок слышен.

— Беллетристика. Давай факты.

— Есть одна странность. Он побывал в двух лагерях для перемещенных. Мотивировка правдоподобная. Один разукрупнялся, в другой перевели. Перебросили партию, не подбирая близких ему дружков. В результате в группе одновременно с ним проходивших проверку не оказалось ни одного, кто бы хорошо знал его: пробыли вместе не более месяца. Но гитлеровский концлагерь, где он отбывал заключение, Сахаров назвал точно, перечислил все лагерное начальство и даже часть заключенных, находившихся вместе в одном бараке. Проверили — все совпало, только товарищей по заключению не нашли. Назвал Сахаров и часть, где воевал, имена и фамилии командира и политрука, точно описал места, где попали в окружение, и даже упомянул солдат, вместе с ним отстреливавшихся до последнего патрона. И еще странность: в списках части, вернее, остатков ее, вышедших из окружения, нашли его имя, и документы нашли, и фотокарточка подтвердила сходство, а вот свидетелей, лично знавших его, не обнаружилось: кто убит, кто в плену, кто без вести пропал, не оставив следа на земле. Много таких было, как Сахаров, вот и ограничились тем, что нашли и узнали. Ну, простемпелевали и отпустили домой в Апрелевку, в сорока километрах от Москвы.

— Ты говоришь, фотокарточка. Где она, эта карточка?

— В протоколах упоминается, а в деле нет.

— А что есть?

— Фотоснимки Сахарова и образцы его почерка в анкетах и служебных документах только послевоенные. Ни одного довоенного документа мы, к сожалению, не нашли.

— А у родственников? Есть у него какие-нибудь родственники? — спрашиваю я уже без всякой надежды.

И получаю в ответ настолько неожиданное, что каменею, едва не уронив трубку.

— Представьте себе, есть, полковник. Мать.

— Жива? — Голос у меня срывается на шепот.

— Живет в Апрелевке под Москвой, — отчеканивает Корецкий с многозначительной, слишком многозначительной интонацией.

Я молчу. Молча ждет и Корецкий.

Живая мать, признавшая сына после возвращения его из армии. Это, как говорят на ринге, нокаут. Все здание моих предположений, догадок и примет рассыпается, как детский домик из кубиков. А может быть, она слепа, близорука, психически ненормальна?

Слабая надежда...

— Говорили с ней?

— Говорили.

— Кто?

— Лейтенант Ермоленко. Он и сейчас в Апрелевке. Получил полную, хотя и неутешительную, информацию.

— Подробнее.

— Мать Сахарова зовут как в пьесах Островского — Анфиса Егоровна. Год рождения тысяча девятисотый. По словам Ермоленко, крепкая и легкая на подъем старуха. Муж умер в тридцатых годах от заражения крови. И до войны и в войну работала учительницей младших классов в апрелевской средней школе, в пятьдесят шестом ушла на пенсию, как она говорит, хозяйство восстановить — дом, огород, ягодник. Денег у нее много. Пенсия, клубничкой приторговывает, да сын помогает. Средства у него, мол, неограниченные.

Неограниченные. Раз. Есть зацепка. К вопросу о средствах еще вернемся.

— Легко ли узнала сына после его возвращения?

— Говорит, что сразу, несмотря на бороду. Тот же рост, тот же голос и шрамик, памятный с детства. Внимательный, говорит, сынок, памятный. Все, мол, вспомнил, даже ее материнские наставления и горести.

— Всегда был таким?

— Ермоленко ее подлинные слова записал. Неслух неслухом был, говорит, дитя малое, ребенок, но с годами к матери добрее стал. А в войну возмужал, горя да страху натерпелся, вот и понял, что ближе матери человека нет. Тут Ермоленко и спроси: в чем же эта близость выражается, часто ли они видятся, навещает ли

он ее, один или с женой, а может, она сама к ним ездит? Старуха замялась. Ермоленко подчеркивает точно, что замялась, смутилась даже. Оказывается, они почти и не видятся. Наезжает, говорит, а как часто — мнется. Некогда, мол, ему, большой человек, занятой. А она сама в Москву не ездит — старость да хвори. Была один раз — заметьте, Александр Романович, всего один раз за годы его семейной жизни, — с женой познакомилась, а говорить о ней не хочет: подходящая, мол, жена, интеллигентная. И сразу разговор оборвала, словно спохватилась, что много сказала. Хороший, мол, сын, ласковый, хоть и не навещает, а письма и деньги шлет аккуратно. Вот вам и близость, которая зиждется только на взносах в материнскую кассу.

— А велики ли взносы?

— От прямого ответа уклонилась: не обижает, батюшка, не жалуюсь. По мнению Ермоленко, старуха двучлива, и я, пожалуй, с этим согласен. Язык нарочито простоватый — этакая деревенская кумушка, — а ведь по профессии учительница с хорошим знанием русского языка. Не та речевая манера. А зачем? Чтобы вернее с толку сбить? Ну, сыновние взносы-то мы проверили. Раза четыре в год она получает почтовыми переводами по пятьсот-шестьсот рублей. А когда Сахаров сам приезжает — не часто, раз в три-два года, — материнская касса опять пополняется. Уже натурой. Вот показания соседки, портнихи из местного ателье. Зачитать? Не загружаем коммуникации?

— Зачитывай. Пока не гонят.

— «Когда сын в гостях, двери всегда на запоре, даже окна зашторивают. Сын гостит недолго — час, а то и меньше — и тут же отбывает на машине, у него собственная, сам правит. А потом Анфиса хвастается обновлениями: то пальто демисезонное с норкой, то шуба меховая, то трикотаж импортный. Опять, говорит, прибрахлаилась, спасибо сыночку — уважает». А не кажется ли вам, Александр Романович, что уважение это больше на подкуп смахивает?

— С каких пор он высылает ей деньги?

— С первых же дней, как обосновался в Москве, с сорок шестого.

— Даже в студенческие годы, когда жил на стипендию?

— Сахарова говорит, что он и тогда хорошо подра-

батывал. Переводами с немецкого для научных журналов. Язык, мол, он в плену выучил.

Выучил. Что может выучить узник гитлеровского концлагеря, кроме приказов и ругани охранников и капо?

— Мы проверяем бухгалтерские архивы соответствующих издательств, — говорит Корецкий. — Гонораров за переводы Сахарова пока не обнаружено.

Еще зацепка.

Я вспоминаю реплику Корецкого о том, что Сахаров иногда пишет матери.

— Она сама читает письма?

— Сама.

— И почерк не показался ей изменившимся?

— Он выстукивает письма на машинке, чтобы ей, мол, было легче читать.

Интересно, зачем оценщику комиссионного магазина так уж необходима пишущая машинка? Неужели только для того, чтобы облегчить чтение писем старушке матери? Непохоже на Пауля, даже в его новой роли. Вероятнее другое: его корреспонденция шире, и среди его адресатов есть лица, кому не следует писать от руки.

— Ермоленко интересовался, — продолжает Корецкий, — не сохранились ли у нее ученические тетради сына, его довоенные письма, поздравительные открытки или документы, лично им написанные. Оказывается, все погибло в конце войны в их сгоревшем от пожара деревянном домике. Самому Сахарову едва удалось спастись, настолько внезапным и сильным был вспыхнувший в доме пожар.

— Причины пожара?

— Она не знает. Решили, что поджег спяну случайный прохожий, бросивший окурочек на крыльцо, где стояла неубранная корзина с мусором, — забора тогда у дома не было.

Я думаю. Могла ли гитлеровская разведка вовремя позаботиться об уничтожении всех следов, связывающих Сахарова с его прошлым? Могла, конечно. И старуху, возможно, ожидала та же участь, что и ученические тетради ее сына. И только безоговорочное признание его сыном, пожалуй, и сохранило ей жизнь, да еще и создало сверхнадежное прикрытие преступнику. А было ли оно честным, это признание, уже не установишь. Минимум сорок тысяч рублей в нынешнем исчислении,

полученных за двадцать пять лет от «сына», плюс подарки, общая стоимость которых, вероятно, также исчисляется в тысячах, прочно и глубоко похоронили все ее сомнения, даже если они и были.

— А как отнеслась она к расспросам Ермоленко? Насторожит старуху — настожится и Сахаров. Что ей стоит предупредить его?

— Любую телеграмму можно прочитать на теплоходе. У вас же в радиорубке. А я думаю, что никакой телеграммы не будет. Схитрил Ермоленко. Представился ей как журналист, собирающий материал для очерков о мужестве советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны, в частности о тех, кто остался в живых после гитлеровской лагерной мясорубки. Старуха клюнула наживку не задумываясь.

— Что же сейчас задерживает Ермоленко? — спрашиваю я.

— Надеется разыскать друзей детства Сахарова или тех, кто знал его до войны и, может быть, видел после возвращения.

— Когда же он появится?

— Видимо, завтра. Так условились.

— Ну а теперь условимся мы. Нужны подробности первой встречи Сахарова с матерью. Может быть, есть свидетели, кто-либо присутствовал, заметил что-нибудь — ну, удивление или недоверие: с трудом узнала, скажем. Ее рассказ Ермоленко уже обусловлен сложившимися отношениями Сахаровой и ее псевдосына. Интересны же ее первые рассказы о встрече — наверное, говорила кому-нибудь: ведь в ее окружении это сенсация. И еще. Проведем другую касательную к биографии Сахарова. Свяжись с берлинской госбезопасностью и попроси о помощи. Хорошо бы узнать: жива ли и где находится бывшая невеста гауптштурмфюрера Пауля Гетцке, некая Герда Циммер, дочь известного виноторговца, и в случае ее досягаемости — не сохранились ли у нее какие-либо письма или фотокарточки с автографом Гетцке. Если да — пусть окажут любезность: переснимут и вышлют.

— Попробую, — соглашается Корецкий.

— Действуй, — напутствую я его и выключаю связь.

Теплоход стоит у сочинского причала. В коридорах, салонах и барах ни души — все в городе. Только у бассейна на шлюпочной палубе суетится молодежь: его

снова наполнили, и девушки в купальниках, подсвеченные снизу, кажутся пестрыми экзотическими рыбами в зеленоватой цистерне аквариума. Здесь мне делать нечего — стар. Может быть, стар и для молчаливого поединка, который начал с надеждой выиграть без осечки. Смогу ли? Настораживает не только железобетон легенды, но и личность ею прикрытого. Пауль Гетцке не просто военный преступник, скрывшийся в тихом омуте заурядной московской комиссионки. Залег сом на дно под корягу и не подает признаков жизни. Нет! Не зря же его дублировали во встрече со смертью в оккупированной Одессе, и не зря он дублировал незаметно исчезнувшего в германском концлагере Сахарова. Как это было сделано, выяснится впоследствии, а зачем, ясно и сейчас.

Пока же сом лежит под корягой.

Я РАССКАЗЫВАЮ ГАЛКЕ

С пляжа Галка возвращается одна — Сахаровы остались обедать в городе.

— А потом снова на пляж. У нее даже шкура задубела на солнце, а он из воды не вылезает. Мы с Тамарой три часа провалялись на пляже, пока он плавал.

— За буйки?

— Конечно. Марафонский заплыв на полдня. И знаешь что? Мне все кажется, что он не просто плавает, не из удовольствия...

Галка колеблется, не решаясь высказаться определеннее.

— Тренируется? — подсказываю я.

— Вот именно. Ты не боишься, что он сбежит, скажем, в Батуми? Граница рядом.

— Не сбежит. Во-первых, это не просто граница, это наша граница. Даже с аквалангом не проскользнешь. А во-вторых, он слишком уверен в своей безопасности.

— При желании он мог бы остаться за пределами нашей страны в одной из своих туристских поездок. Ведь у него наверняка были такие поездки?

— Тамара говорит, что были. Кажется, в Чехословакию ездили или в Швецию. Куда-то еще.

— В Чехословакию он ездил, возможно, только для

связи с кем-нибудь, кто одновременно туда приезжал с Запада. А в Швеции вполне мог остаться. Но не остался, как видишь.

— Тогда не возникала опасность разоблачения.

Галка, наверно, права. Опасность разоблачения возникла. Он, безусловно, узнал и меня и Галку еще на морском вокзале в Одессе. Поверил ли он в мой юридический камуфляж? Вероятно, нет. Члена коллегии защитников я сыграл наудачу с апломбом, но, как говорится, по касательной, неглубоко и неубедительно. Близость Галки к криминалистике, должно быть, насторожила.

Я пробую представить себя на его месте.

Первая реакция, понятно, настороженность. Гриднев и Галка, конечно, узнали его, но скрывают, делают вид, что поверили в гедониста из комиссионного магазина, любителя вкусно и сытно жить. А если игра, то зачем? Сомневаются, не убеждены, растеряны, или же, замаскировавшись, решительно начали, как у них говорят, разоблачение военного преступника? Любительски неумело или опираясь на специальную выучку профессионалов? Вероятнее первое. Сначала присмотреться, прислушаться, разглядеть получше, проверить поточнее, а потом уже действовать, на ходу передоверяя розыск специалистам этого дела. А куда пойдут специалисты? В архивы, искать следы Пауля Гетцке — будем считаться с их терминологией, — казнен по приговору одесского подполья, а довоенный Сахаров почему-то не оставил следов. Ни школьных тетрадок, ни дневников, ни писем. Документация Наро-Фоминского райвоенкомата, где призывался Сахаров, утрачена в годы войны, архивы гитлеровских концлагерей уничтожены в панике германского отступления, документированная биография Сахарова начинается с возвращения из плена. Чистенькая биография, без пятнышка, подкрепленная неопровержимым свидетельством матери, радостно встретившей своего без вести пропавшего сына. И уймутся сыщики, как бы ни божился Гриднев, что я — Гетцке, а не Сахаров.

Так предположительно может рассуждать Сахаров, судя по его поведению на борту «Котляревского». А заплывы? Почему же не поплавать, если умеешь.

— Между прочим, все сходится, даже пасьянсы. Только не Тамара — он сам их раскладывает. Стра-

стишка. О пасьянсе Бисмарка поэтому пришлось умолчать.

Тон у Галки бодрый, с этакой самоуверенностью удачливого рыбака, твердо рассчитывающего на то, что рыба от него не уйдет. Охладим.

— Пасьянсы, Галочка, на весах Фемиды как доказательство идентичности Сахаров — Гетцке весят не больше, чем его манера закуривать, купаться и грызть ногти. А на его чаше весов — гиря. Весомая. Короче говоря, в Апрелевке, под Москвой, живет родная мать Сахарова.

Галка недоумевает.

— Почему в Апрелевке? Ты же сказал — в Одессе.

— В Одессе живет Волошина, а в Апрелевке — Сахарова.

Галка пугается.

— Мать настоящего?

— Мать настоящего.

— Неужели же она поверила и признала этого?

— Увы.

— Значит, мы ошиблись.

У Галки бледность сквозь загар матово-серая. Я рассказываю Галке о послевоенной биографии Сахарова, не скрывая своих сомнений. Ошиблись? Не убежден. Конечно, признание матери — бесприоритетный вариант, но...

— Что меня смущает, Галчонок? Личность матери. Какая мать — не пенсионерка, не инвалид, а работающая, с вполне приличным заработком, согласится получать от сына-студента, не имеющего ни специальности, ни штатной работы, нынешних двести, а тогда по две тысячи рублей ежемесячно? Говорит, что сын хорошо подрабатывал переводами с немецкого языка. Оставим «язык» и вникнем в «переводы». Можно ли было зарабатывать в конце сороковых — в начале пятидесятых годов, не будучи специалистом-переводчиком, случайными переводами не менее трех тысяч в месяц? Две ведь он посылал матери, а самому что-то нужно было: квартира, питание, транспорт, кино, девушки — не монахом жил. И посуди, какая мать, даже простая полуграмотная женщина, не заподозрила бы чего-то нечистого в происхождении таких денег у рядового студента? А эта — учительница, интеллигентка — даже не задумалась и, хотя учителей в подмосковных школах со-

всем не избыток, тотчас же ушла на пенсию, как только закон позволил. Чтобы ничто не мешало клубничку возделывать да на рынок сплавлять. И как легко она, без огорчения, без обиды, отказалась от личных встреч, согласилась на подмену их реденькой даже не перепиской, а просто отпиской на пишущей машинке.

Галка безжалостно подытоживает мои экскурсии в психику Сахарова.

Я не прерываю, жду.

— Может быть, вызвать Волошину из Одессы? — вдруг спрашивает она. — Настоящая мать против псевдоматери.

— Волошиной сейчас дороже всего собственное спокойствие. Сына она фактически потеряла еще до войны, во время войны не вернула его, мысленно похоронила после взрыва партизанской гранаты и воскрешать сейчас едва ли захочет. Тем более для скамьи подсудимых.

— Откажется от признания?

— Убежден.

— А Сахарова так просто не откажется.

— Просто — да. А если усложнить? Если доказать опасность избранной ею позиции, убедить, что Сахаров — Гетцке все равно будет разоблачен?

В ответе я не нуждался: на лице Галки было написано все, что она думает. Фактор времени! Разоблачить Волошина — Гетцке необходимо до его возвращения в Москву, иначе он оборвет все связи и затаится. Еще раньше поэтому должен состояться решающий разговор с матерью Сахарова — ведь Гетцке может предупредить ее письменно или по телеграфу. До нынешнего дня он этого не сделал: из Одессы не мог, в Ялте я не отходил от него ни на шаг, а телеграфировать с теплохода не отважится, понимая, что это будет прямой уликой. Значит, телеграмму он мог послать только из Сочи сегодня, после того как избавился от наблюдения Галки, вернувшейся на теплоход. Личного телефона у матери Сахарова в Апрелевке нет, поэтому междугородная телефонная связь исключается, но Гетцке мог позвонить и кому-либо из своих агентов, поручив ему предупредить или обезвредить Сахарову.

— Обедай одна, Галина. Я иду в город, — говорю я.

Галка ни о чем не спрашивает: все поняла. Только подсказывает:

— Смотри не столкнись. Сегодня они обедают, наверное, где-нибудь поблизости от пляжа. Я думаю — успеешь.

И я успел.

К сожалению, старого друга моего, Николая Петровича, в управлении не оказалось: отдыхал где-то у себя на Полтавщине. Однако Корецкий времени не терял: о расследовании здесь знали, из Москвы шифрограмма пришла, и вежливый и решительный майор обещал сделать все, что требовалось: получить разрешение прокурора на арест местной корреспонденции Сахарова, задержать письма и телеграммы, отправленные им в подмосковный поселок Апрелевку, а также проследить все его телеграфные и телефонные переговоры с Москвой, имеющие хотя бы косвенное отношение к интересующей нас ситуации. Всю информацию я должен был получить завтра утром на теплоходе после его прибытия в Сухуми.

Тут же я связался с Москвой и Сухуми. В Сухуми потребовал задержать до проверки всю телеграфную корреспонденцию, адресованную Сахарову до востребования, а в Москве снова вызвал Корецкого.

— Что случилось? — удивился тот.

— Проследите за Сахаровой. Ее могут предупредить или даже устранить — не исключена и такая возможность. Не прозевайте. Проконтролируй всю ее переписку, в особенности телеграммы на ее имя, которые могут прийти в эти дни. Вообще с ней требуется разговор по душам, откровенный и бесхитростный, — не сомневаюсь, что поймет. Только с таким разговором придется подождать — нет еще у нас данных для этого разговора.

— Между прочим, звонил Ермоленко.

— Есть новости?

— Нашел кончик ниточки к однополчанину Сахарова. Подробности завтра к вечеру.

— Только учти: у нас в запасе четыре дня. А точнее, даже три. В воскресенье с трапа «Котляревского» на одесский причал должен сойти уже Пауль Гетцке, а не Михаил Сахаров. И сойти с полагающимся эскортом. Вот так.

На теплоход возвращаюсь раньше Сахаровых. Отлично. Не придется подыскивать объяснения своей внеплановой экскурсии в город.

«ПОШЕЛ КУПАТЬСЯ ВЕВЕРЛЕЙ»

Я просыпаюсь рано, часов в шесть или в семь, не знаю точно, — наручные часы на столе, и очень уж не хочется к ним тянуться. Сквозь зашторенные окна просвечивает мутное, дождливое небо с сизым оттенком водоедино смешавшихся моря и туч. Галка спит, уткнувшись носом в подушку.

До завтрака можно еще часок полежать, подумать. Длинный вчерашний вечер, а информации — кот наплакал. Сахаровых до ужина мы видели; что они делали в городе, не знали, а у капитана, естественно, ничего обсуждать не могли. И только тогда уже, когда все было съедено и выпито и закурили мы с капитаном по настоящей гаванской сигаре, он как бы мимоходом напомнил мне о том, что на время ужина спряталось у меня в подсознании.

— А я вашего бородача знаю, — неожиданно сказал он.

— Вы его за нашим столиком видели?

— Нет, с мостика. На шлюпочной палубе. Вы рядом стояли.

— А откуда же вы его знаете?

— Прошлой зимой был в Ленинграде. Обедал в «Астории», дня три-четыре подряд. Так он в компании немцев тоже там обедал. Столы рядом. Я его и запомнил — очень уж колоритная внешность.

— Вы сказали: в компании немцев?

— Да, туристов из ГДР. Он сидел с ними. И говорил как немцы. Я немецкий знаю.

— Вы не ошиблись? Может быть, случайное сходство?

— Нет, не ошибся. На зрительную память не жалуюсь.

«Выяснить, был ли Сахаров прошлой зимой в Ленинграде», — мысленно отметил я и тут же подумал: а что, если он не подтвердит этого? Тратить время на запросы и розыск? И что это даст? Захотелось поболтать на языке, который он считал родным в годы своего гестаповского бытия. Ничем он при этом не рисковал и ничего не боялся: мало ли о чем можно разговаривать за ресторанным обедом. Кстати, я тут же поин-

тересовался, не слышал ли капитан, о чем они разговаривали.

— По-моему, они интересовались антиквариатом.

Что ж, это вполне согласуется с новой ролью Пауля Гетцке, в которой он, по-видимому, весьма преуспел. Я сказал об этом Галке, когда возвращались от капитана, и она со мной согласилась. Встречи Сахарова, если они и планировались, происходили едва ли в столь многочисленной и шумной компании. Но одно было для меня несомненно: подлинный Сахаров, вырвавшийся живым из концлагеря, едва ли стал бы искать встречи с немцами только для того, чтобы поговорить на их родном языке.

И мне вдруг ужасно захотелось сказать ему, Сахарову — Гетцке, о том, что капитан запомнил и узнал его. Интересно, подумал я, сумеет ли он не вздрогнуть, не смутиться, сохранить свое каменное спокойствие и, должно быть, многократно отрепетированную, равнодушную усмешечку? Случай тотчас же представился. У лифта мы лицом к лицу столкнулись с Сахаровыми, подымавшимися с палубы салонов из кинозала. Я мгновенно сыграл слегка захмелевшего человека, шумно обрадовался и обнял обоих вместе, как старый друг. Сахаров осторожно отстранился, а Тамара спросила:

— Роскошный был ужин?

— Мировой. А какой ром! Жидкое золото!

— Красиво изъясняетесь, — поморщился Сахаров. — Предпочитаю всяким ромам хороший армянский коньяк.

— Коньяк тоже был, — продолжал я, умышленно не замечая его насмешливой снисходительности, — а капитан вас знает, между прочим.

Сахаров не вздрогнул, даже не моргнул, только чуть-чуть насторожился.

— Странно, — сказал он, — я даже его в лицо не знаю. Никогда не встречались.

— Встречались. Вместе обедали зимой в ленинградской «Астории».

— Я не обедал зимой в ленинградской «Астории», — отрезал Сахаров. — Капитан ошибся. Мало ли бородатых людей на свете. Со мной часто кланяются незнакомые люди. Я отвечаю из вежливости.

Тема ленинградского обеда была исчерпана, развивать ее не имело смысла, и мы разошлись по каютам.

Но я все-таки попал в цель: Сахаров уклонился от объяснений, предпочел умолчать о пустяковом, но, видимо, существенном для него событии.

— Не спишь? — спрашивает Галка, подымая с подушки голову.

— Не сплю.

— В Сухуми не выйдешь. Дрянь погода.

— Дрянь.

— Ты что так односложен? Все о вчерашнем думаешь?

— Думаю.

— И зря. Ерунда все это.

— То, что он скрыл свои контакты с немцами?

— А что подтверждает эти контакты? Свидетельство капитана? Но он действительно мог ошибиться: бородатых людей на свете вполне достаточно для такой ошибки. И вообще, ты только на меня не сердись, Сашка, но дело, как говорится, швах.

— Чье дело?

— Твое. Наше с тобой. Никаких фактических доказательств того, что он Гетцке, а не Сахаров, у тебя нет. На психологических штришках обвинения не выступишь. Тем более когда у него такой непробиваемый щит.

— Мать?

— Да. Я не верю в ее признания, Гриднев. Она не сознается.

— Мы постараемся доказать ей опасность такой позиции.

— На все твои доказательства она будет твердить одно: я мать. Кто лучше матери знает своего сына? Это мой сын — и все. Попробуй опровергни.

— А если доказательства будут неопровержимы?

— А у тебя есть эти доказательства?

— Пока нет.

— Вот я и говорю, что швах дело.

— Я не столь пессимистичен. К тому же у нас в запасе еще три дня. Кое-что выяснится сегодня в Сухуми.

— Пойдешь в город?

— Конечно.

— В такой ливень?

— Подумаешь, ливень. У меня плащ есть.

— Как ты объяснишь Сахаровым свое путешествие?

Никто же не сойдет с теплохода.

— Никак не объясню. Дела. И пора уже открывать карты. Пусть настораживается.

В ресторане за утренним завтраком разговор только о дожде. Животрепещущая, волнующая всех тема. Подошли к сухумскому причалу сквозь толщу низвергающейся с неба воды. В город выходить нельзя.

Сахаровым я ничего не объясняю — объяснит Галка, когда я уже буду на берегу. А пока лениво тянем жвачку разговора, никого и ни к чему не обязывающего, как вдруг Сахаров проявляет неожиданный интерес к профессии Галки. Она охотно посвящает его в детали своих криминалистических экспертиз.

— Интересная у вас профессия, — говорит он, — не то что у вашего мужа.

— Почему? — возражает Галка. — У Сашки тоже интересные дела попадают.

— У адвокатов по нынешним временам не может быть особенно интересных дел. Интересные дела только у следователей с Дзержинской или Петровки, тридцать восемь.

Я бы не спрашивал Гетцке о том, что он считает особенно интересным делом, но мне любопытно, что скажет об этом представитель торговой сети.

Он отвечал охотно:

— Я где-то читал, что не может быть создано ни детективного романа, ни детективного фильма, скажем, о краже зонтика. Преступление должно быть масштабным, чтобы заинтересовать публику.

— Мне, как адвокату, известны только дела о разводах и разделе имущества. Крупными их, пожалуй, не назовешь, но интересные были.

— Расскажите, — просит Тамара.

— Как-нибудь в другой раз, — вежливо улыбаюсь я и встаю. — В город не собираетесь? Не надумали?

— С ума сошли! Он же на весь день — типичный сухумский ливень. А мы думали в обезьяньем питомнике побывать — так разве тронешься! Хоть к причалу автобусы подавай — никто не поедет. — Тамара явно расстроена. — Даже в бассейн идти не хочется — солнца нет. Буду вязать что-нибудь, как примерная домохозяйка, или пасьянсы с Мишей раскладывать.

— А вы, оказывается, любитель пасьянсов? — стараясь не быть ироничным, говорю Сахарову. Но Сахаров не реагирует, сам спрашивает:

— В шахматы играете? Хотите партию?

Я с сожалением отказываюсь:

— Не сейчас. Может быть, после обеда или вечером в курительной. Я тут кое-какой материал из Москвы захватил — просмотреть надо. У меня ведь и сухумские клиенты есть, — загадочно говорю я и, не давая возможности Сахарову сделать ответный выпад, ретируюсь в свой коридор полулюксов.

В каюте мы с Галкой устраиваемся на диванчике у окна и молчим. В дождливом мареве сухумский порт выглядит прибалтийским, утратив все обаяние кавказской Ниццы. И пальмы, и портовые краны одинаково серы. Людей не видно. Лишь кое-где пробегают по асфальтовым пирсам портовики в длинных дождевиках с капюшонами.

— Сейчас пойдешь или подождешь, когда дождь кончится? — спрашивает Галка.

Дождя я не боюсь, а подождать подожду. Может, Одесса или Москва вызовут в рубку. Да и Корецкому надо еще подытожить собранные вчера материалы. Часок посижу, подумаю.

— Думай не думай, а его не поймешь, — вздыхает Галка. — Ну с какой стати он о преступлениях заговорил? Зачем?

— Он то осторожничают, то рискует, мы хладнокровно и расчетливо накапливаем шансы. Я почти догадываюсь, зачем он пригласил меня играть в шахматы.

— Зачем?

— Скажу после партии. Хочу проверить свою версию.

— О чем?

— О терпении. Сколько можно безмолвно ждать?

— Темно что-то.

— Подожди вечера — высветлю.

Час проходит, а дождь не кончается и Москва молчит. Вздохнув, преображаюсь в морского волка во время шторма — только капюшон от дождя заменен вдавнейшей кепкой — и резюмирую:

— «Пошел купаться Веверлей, осталась дома Доротея». Придумай какое-либо объяснение, Доротея, если спросят о моем внезапном исчезновении. Не зря же я намекнул о мифических сухумских клиентах.

И я окунаюсь в дождь.

В нашем сухумском отделении меня уже поджидали. Абхазские товарищи оказались радушными и общительными хозяевами.

Черноусый майор Алания действовал с неколебимой решительностью.

— Во-первых, садись, товарищ полковник, и обсохни. Небеса разверзлись — ничего не поделаешь. Насквозь промок, вижу: даже с пиджака капает. Ну а вторых, поделись с нами своими заботами. С закрытыми глазами, понимаешь, говорить трудно, а вот ты и приоткрой их, насколько нужным считаешь. Самую суть, конечно.

Я изложил «самую суть» и добавил, что прежде всего хочу познакомиться с сообщением из Сочи, а затем поговорить с Москвой о дальнейшем расследовании. Алания молча выслушал и сказал:

— Извини, товарищ полковник. Есть другое мнение. Сочи и Москва пять-десять минут подождут. А прежде всего надо, я думаю, связаться с Батуми и предупредить пограничников: вдруг сбежит? Они, конечно, и так не пропустят, но три глаза лучше, чем два. У тебя его фотокарточка есть?

Мысленно соглашаясь с майором, извлекаю из бумажника моментальный снимок Сахарова, сделанный во время его игры в волейбол на открытой палубе. Сахаров — гол, бородат и мускулист — снят в прыжке за летящим навстречу мячом.

— Бороду он может сбрить, — говорит Алания, задумчиво рассматривая снимок, — а вот фигуру ни в одном костюме не спрячешь. Снимок тебе не нужен, нет? Отлично. Подожди две минуты.

Он берет телефонную трубку, говорит несколько слов на родном языке, из которых мне знакомо только одно — Батуми, ждет, нетерпеливо постукивая пальцами по столу, затем оживляется и произносит целую тираду, в которой я уже ни слова не понимаю. Положив трубку, спрашивает:

— Перевести? Перевожу. Со всеми тонкостями художественного перевода. Сигнал ваш принят, товарищ полковник. Пограничники будут предупреждены. Батумские товарищи обо всем позаботятся. Снимок я перешлю им сегодня же по фототелеграфу. Они его размно-

жат, разошлют кому надо, встретят вашего бородача на причале, проводят по городу, засекут все адреса и встречи и доложат вам по прибытии.

— Оперативно работаешь, — говорю я.

Он удовлетворенно улыбается и достает мне из папки на столе телефонограмму из Сочи. Она адресована майору Алания для передачи прибывающему на теплоходе «Иван Котляревский» полковнику Гридневу, то есть мне.

«На морском вокзале Сахаровым сдана телеграмма Сахаровой в Апрелевку. Приводим текст: «Если обо мне будут спрашивать зпт говори как условились зпт в долгу не останусь тчк». Телеграмма скопирована и отправлена. Корреспонденции до востребования на имя Сахарова в почтовых отделениях Сочи не обнаружено».

Итак, первый документ, свидетельствующий о сомнениях Гетцке в железобетоне своей легенды. Стоического спокойствия уже нет, он встревожен, даже вынужден приоткрыть сущность своих взаимоотношений с матерью Сахарова. Конечно, телеграмма еще не доказательство камуфляжа, но уже повод к законным вопросам ее автору. О чем тревожится сын, упрасивая мать говорить «как условились»? А это заключительное «в долгу не останусь»! Разве оно не говорит о некой меркантильности отношений сына и матери?

Интересно теперь, что приготовила мне Москва. Вызываю Корецкого. Отвечает без обычной своей суровости, даже с каким-то оттенком радости.

— Наконец-то, Александр Романович! Я уже звонил вам на теплоход. Есть новости.

— Докладывай.

— Сахарову вторично не беспокоили. Но вчера вечером она получила телеграмму.

— Знаю. И текст знаю. Пока ни о чем ее больше не спрашивайте. Еще не время.

— О ниточке Ермоленко. Живет в Апрелевке некий Хлебников Виктор Васильевич, отставной гвардии майор, сейчас на пенсии. Набрел на него Ермоленко в поисках довоенных дружков Сахарова. Но оказалось, что Хлебников даже не был знаком с Сахаровым, хотя и призывался почти в одно время с ним в том же военкомате. Простой номер, правда? Но тут-то и выглянул на свет малюсенький кончик ниточки. Вскоре после демобилизации Хлебникова заехал к нему его однополча-

нин Бугров; как мы установили, было это за несколько месяцев до появления в Апрелевке Сахарова. С Хлебниковым Бугров прошел в одном, как говорится, строю до сорок второго года, пока, тяжело раненный, не смог выйти из окружения. Очутился в плену, долго болел, чуть не погиб в лагере для военнопленных, потом с группой товарищей удалось ему бежать. Случилось это в горах Словакии; беглецов спасли партизаны, вместе с которыми они и сражались до воссоединения с наступавшими советскими войсками. «Много интересного рассказал Бугров, — вспоминает Хлебников (это я уже справку Ермоленко читаю), — а потом вдруг спросил: «А ты здешнюю учительницу Сахарову случайно не знаешь?» — «Не знаю, — говорю, — а тебе зачем?» — «С сыном ее я в плену был, погиб он геройски, вот я и заехал сюда рассказать ей об этом, да не застал — где-то на курорте лечится. Может, ты ее повидашь и передашь?» — «Уволь, — говорю, — тяжело с такой вестью к старухе идти, да и нужно ли? Ждет, наверно, сына живым, глаз не смыкает, а мы ее топором — погиб, мол, и точка. А что героически или не героически, матери одна беда: о сыне плакать». Бугров подумал и согласился: «Может быть, — говорит, — ты и прав, пожалуй, лучше рану не беречь». Ну и уехал. А уже после отъезда его я узнал случайно, что сын учительницы Сахаровой живой вернулся, значит, ошибся Бугров, а как бы мы теперь в глаза ей смотрели!» Ермоленко сразу понял: ниточка! Опять сказал, собирает материал о подвигах советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны и адрес Бугрова узнал. Сегодня с утра мы проверили. Есть такой в Тобольске: Бугров Иван Тимофеевич, старший механик авторемонтной базы. Ермоленко час назад уже туда вылетел. Свяжется со мной вечером.

Я на мгновение окаменел, оцепенел, остекленел — слов у меня нет, чтобы выразить то состояние, в которое меня повергло сообщение Корецкого. Если Ермоленко точно записал рассказ Хлебникова, а в художественных вольностях Ермоленко уж никак не обвинишь, то слова Бугрова определенно звучат как свидетельство очевидца. Не бывает бесследных преступлений, говорил мой учитель полковник Новиков; какие хитрости ни придумывай, какую методику камуфляжа ни применяй, след всегда останется — только сумей найти. Те-

перь даже твоё дыхание уловят, даже запах твой в пробирку соберут, даже крохотный волосок твой, выпавший, когда ты машинально причёску поправил, выдаст тебя как миленького. А тут не запах, а человек живой. Очевидец. Как говорят на ринге, нокаутирующий удар. Хук справа.

Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять...

Аут!

Меня возвращает к действительности далекий голос Корецкого:

— Александр Романович, где вы? Линия не в порядке?

— В порядке линия, — говорю. — Задумался.

— Сейчас ещё больше задумаетесь, только меня предупредите, — смеется Корецкий, и в смехе этом что-то непохожее на его обычную суховатую сдержанность: должно быть, нечто особенное удалось Корецкому, если он так смеется. — Представьте себе, — говорит, — нашли Герту Циммер. В Берлине. За одни сутки нашли.

— Что?! — кричу я.

— Ту самую. Бывшую невесту бывшего Гетцке. Только она умерла в сорок шестом году от грудной жабы.

— Чему же ты радуешься, Коля? — тихо спрашиваю я.

— Исполнилась все-таки месть Кримгильды.

— Ничего не понимаю. Какой Кримгильды?

— Из «Песни о Нибелунгах». Кажется, там есть такая.

— Брось загадки.

— Есть бросить загадки, — меняет тон Корецкий. — Докладываю, товарищ полковник. Гауптштурмфюрер Пауль фон Гетцке действительно бросил Герту Циммер накануне войны, о чем и уведомил ее кратким письмом, в котором категорически отказался от своих обещаний жениться. Герта Циммер поплакала, спрятала письмо в черную папку с шелковыми тесемочками, в которой уже находились все прочие письма ее жениха, засушенные цветы, даримые им к памятным дням, и тому подобные реликвии неудавшегося романа, и положила папку на вечное хранение в папин сейф. После падения Берлина виноторговец-папа сбежал в западную зону, дочка померла, а в квартире поселилась ее пле-

мянница, Минна Холм, которой и досталась в наследство заветная папка. Так вот, товарищ полковник, Минна Холм и сейчас живет в той же квартире, только папки у нее уже нет.

Я молча жду — очень уж загадочно звучит сообщение Корецкого, а после заключительной реплики так и хочется написать: «Конец первой серии».

Вторая серия начинается тотчас же после многозначительной паузы.

— Нет этой папки, товарищ полковник, а есть рассказ Минны Холм нашему берлинскому коллеге Рудольфу Бергману, стенографически записанный и переданный нам по телеграфу. Сейчас он передо мной.

— По-немецки?

— Нет, уже в переводе. Читать или изложить вкратце? Не загружаем линию?

— Не твоя забота. Читай.

Корецкий откашливается и читает со вкусом, на манер диктора Центрального телевидения:

— «Бергман (после выяснения анкетных данных собеседницы и преамбулы к появлению папки с реликвиями несостоявшегося замужества). А почему фрейлейн Циммер не сожгла эти ненужные ей реликвии?»

Холм. Она хотела вернуть их Паулю после его женитьбы на избраннице баронессы. Зачем? Я тоже спрашивала: зачем? Оказывается, она лелеяла мечту напомнить ему обо всем в дни его семейного счастья. Своеобразный метод отмщения обидчику.

Бергман. Просто странный. Гетцке в лучшем случае выбросил бы все это в мусоропровод.

Холм. Я ей то же самое говорила. Но она, как бы вам сказать, была очень несовременна.словно сошла со страниц романов Марлит начала века. Вы не читали «В доме коммерции советника»? Я тоже не читала до того, как поселилась у тети. Сентиментальная чушь. А это была ее любимая книга. И, уже умирая, она просила меня непременно вернуть все фото и письма Паулю, если я о нем что-то услышу.

Бергман. И вы вернули?

Холм. Не ему лично. От него пришел человек, подтвердивший мне все обстоятельства их вынужденной разлуки с тетей, и попросил вернуть все фото и письма Пауля. Откровенно говоря, я сделала это с удовольствием. И просьбу тети выполнила, и от хранения дряни

избавилась. Пришедший, не снимая перчаток, открыл папку, сверил с имевшимся у него списком все письма и фотокарточки и объявил, что одной фотографии не хватает, а именно той, где тетя и Пауль были сняты вместе на Балтийской косе. Куда она завалилась, я не знала, искать не хотелось, и я тут же сымпровизировала, сказав, что именно эту карточку тетя сожгла, потому что господин Гетцке был снят вместе с нею. Пришедший молча выслушал мои объяснения и только спросил: «А вы точно это знаете?» — «Еще бы не точно, — говорю, — когда это при мне было». Ну, он собрал всю эту муру и откланялся. А совсем недавно я нашла эту злополучную карточку под счетами за квартиру в том же сейфе, где папка лежала, — у нас этот сейф и сейчас вместо комода. Хотела было выбросить, да закладка понадобилась — листала я в то время новый учебник английского языка. Карточка и сейчас в этой книге».

Корецкий опять откашлялся и закончил обычным своим говорком без театральных эффектов:

— Собственно, сейчас эта карточка, или, вернее, ее фотокопия, переданная по телеграфу, лежит у меня на столе рядом со стенограммой. Бравый эсэсовец и волюка Гретхен на песчаной отмели и надпись на обороте: «Божественной Кримгильде от влюбленного Зигфрида. Май 1940 года». Я знаю, о чем вам не терпится сейчас спросить. Сверял ли я почерк герра фон Гетцке образца сорокового года с почерком гражданина Сахарова семидесятых годов?

Я молчу. Спросить не решаюсь. Страшно.

— Не дышите в трубку, Александр Романович. Сверял. Может, и похоже: точно утверждать не могу. Один текст по-немецки, к тому же готическим шрифтом, другой — по-русски, да еще с дистанцией в тридцать лет с лишним. Отправил на графическую экспертизу.

— Когда ответ?

— Обещают завтра утром.

— Звони на теплоход, а если не застанешь, сам позвоню из Батуми. Спасибо, Коля, за все. За оперативность, за точность, за удачу.

Я благодарю, что называется, от души. На работе в Москве я сдержанней и строже даже с Колей Корецким, которому уже давно за сорок, но которого по-прежнему зову Колей. Так не от зазнайства это, честное слово, а от отеческой привязанности к человеку, которого

знал еще толстогубым мальчишкой. И не зря я поблагодарил его «за удачу», не ошибся в выборе слова. Ведь удача сама не приходит. Трудом добывать, не одними талантами, выдержкой добывать, смекалкой, умением не прозевать и не повторить ошибок противника. Два раза просчитался наш противник в своей игре: прозевал боевых друзей Сахарова и заветную папку бывшей невесты. А вероятно, и еще просчитался где-то, и не раз, и не два — и нашли бы мы те другие ошибки, если бы не нашли этих. Обязательно бы нашли. А может, и найдем...

С такой убежденностью я и возвращаюсь на теплоход. Дождь давно уже кончился, небо и море повторяют друг друга, как в зеркале, отлакированные дождем пальмы неправдоподобно блестят на солнце, и город просушен насквозь: от гальки в порту до прибрежных нагорий. А в растекающейся по улицам толпе туристов я неожиданно встречаю Сахаровых и Галку. Я даже не успеваю придумать что-нибудь, как верная моя Галина тотчас же приходит на выручку.

— Со щитом иль на щите? — спрашивает она.

— А ты как думаешь?

— Заплатил? — подсказывает она.

Я мгновенно ориентируюсь.

— Сейчас двести, остальные в Москве после рассмотрения кассации.

— Ну и гонорары у вас! — удивляется Тамара. — Больше профессорских.

— А вы думаете, легко выиграть дело в Верховном Суде Союза, если оно уже проиграно во всех предыдущих инстанциях?

— И вы надеетесь выиграть?

— Надеюсь. Появились доказательства по вновь открывшимся обстоятельствам. Ими и воспользуемся.

До сих пор молчавший Сахаров улыбается этойкой коварной улыбочкой.

— Я видел с прогулочной палубы, как вы героически уходили в ливень, и спросил вашу супругу: в чем причина сего геройства? И вы знаете, что она мне ответила?

— Пошел купаться Веверлей, — смеется Галка.

— А вы помните, как продолжается песенка? «И — о судьбы тяжелый рок: хотел нырнуть он головою... Но голова тяжеле ног — она осталась под водою», — сказал он.

Не верит. Ну и пусть не верит.

— В моем варианте, — говорю я, — Веверлей не тонет, а уверенно плывет к берегу. Сейчас же он идет обедать в «Абхазию», потому что на теплоходе пообедали без него.

СНИМАЕМ МАСКИ

Ужинают тоже без меня — я слишком поздно обедал и не хотел есть. Сижу в каюте и машинально черчу пляшущие фигурки. Когда-то Конан-Дойль создал тайну шифра из таких фигурок, которую и разгадал его хитроумный герой. А у меня даже нет тайны. Все ясно. Есть уравнение, в котором известен ответ, но которое я не могу пока доказать. Икс — Гетцке равен игреку — Сахарову, а почему? Что скажут зет — Бугров и данные графической экспертизы? Вот доказательства неравенства уже есть. Свидетельство родной матери. «Сынок мой любимый, ласковый, всегда был ласковым, а что борodu отрастил — так ведь мода теперь такая: с усами либо с бородой. И шрамик с детства памятный. Что? Косметический шрамик? Не знаю. Придумываете вы что-то... Исследовали? А кто вам позволил неповинного человека исследовать?»

В самом деле, кто нам позволил? Не можем же мы только подозреваемого, да еще без достаточных юридических оснований, тащить в лабораторию без его желания и воли. Ни один прокурор такого разрешения не даст. Предъявите обвинение, юридически обоснованное, и делайте, что положено по закону. Если мама вмешается, лапки складывай или давай доказательства, маму изобличающие. А чем ее изобличишь? Деньги сын дает? Правильно делает — хороший сын. Вещичками из комиссионки снабжает? Так не украдены вещички, а куплены. Нет, с налету этой теоремы не решишь. Мама вмешивается, как аксиома, доказательства не требующая. Я вспоминаю вежливую и доброжелательную Марию Сергеевну Волошину — настоящую, родную мать — и усмехаюсь.

«Мой сын жив? Вздор. Не может этого быть, если он убит лет тридцать назад. Мертвые не воскресают. Вы говорите, убит другой? Не верится. За тридцать лет он бы дал знать о себе. Зачем же опознание незнакомого мне человека? Если это сын, я не хочу его знать, тем более что он сам не признает меня матерью». — «Мария

Сергеевна, мы привлекаем вас как свидетеля, вы обязаны согласиться на опознание». — «А в чем вы его обвиняете?» — «Во многих преступлениях, Мария Сергеевна, в серьезных преступлениях против народа и государства». — «Смертная казнь?» — «Не знаю, это решит суд». — «Так что же, вы хотите, чтобы я стала его палачом?»

Тут уже не до усмешки, полковник Гриднев. Именно так это и будет, если ты другими средствами не докажешь, что икс равен игреку.

В таком умонастроении и застает меня Галка.

— Сахаровы пошли в кинозал. Какой-то детектив, не то «Береговая операция», не то «Возвращение святого Луки». Пошли, еще не началось.

— Не хочется. Старье. «Святого Луку» мы зимой в клубе видели. Занятно, но не убеждает.

— В чем не убеждает?

— В закономерной победе следствия. Не явись парень с повинной, и картина бы уплыла за границу, и бандит бы ушел.

— У нас тоже нет доказательств — одни подозрения.

— Будут и доказательства, — говорю я и рассказываю о двух просчетах Пауля Гетцке.

Галка задумывается.

— Идентичность почерка — это уже доказательство. Но будет ли экспертиза безоговорочной?

— Есть еще свидетельство Бугрова.

— А ты уверен в этом свидетельстве? Был ли Бугров очевидцем гибели Сахарова или только слышал о ней? И тот ли это Сахаров, что интересует нас? Может быть, это вообще не Сахаров, а по каким-то неведомым нам причинам только назвался Сахаровым: в плену многие меняли имена и фамилии, если документов не было.

— Типичный плюрализм, Галка.

— Что за штука?

— Множественность истин, имеющих одинаковое право на существование. Но истина-то всегда одна.

— А в чем она, эта истина? Может, это заблуждение, а не истина?

— Завтра узнаем.

— А сейчас иди в бар. После кино он с тобой в шахматы играть собирается. Не избегай его, чтобы не вызывать подозрений.

— Подозрения у него давно уже превратились в уверенность. Разговор о Веверлее помнишь?

— По-моему, Тамарка ни о чем не догадывается.

— Наверное. Таких жен в свою жизнь не пускают... А в шахматы я с ним сыграю, даже с удовольствием. Еще один вариант психологической дуэли.

— Будь осторожен, Сашка.

— Не волнуйся. У нас дуэль без оружия. Состязание умов. И партию мы сыграем этюдную, с жертвами только на доске. Но аллегорическую. Гамбит Гриднева. — Мне почему-то смешно, хотя Галка даже не улыбается.

В баре пусто и прохладно, даже холодно после палубной жары: кондиционеры отпускают явный излишек прохлады. Поэтому вместо коктейля с ледяными кубиками в бокале беру кофе по-турецки с коньяком. За шахматами устраиваюсь в уголке с настольной лампой — идеальная обстановка для турнирных раздумий.

Партнера еще нет. Машинально делаю ход королевской пешкой и вспоминаю... А не сыграть ли мне ту же партию, какую играл с Паулем в его бывшей светелке на Маразлиевской? Памятная партия. Восстанавливаю в памяти ход за ходом — получается. Вот он, остроумнейший прорыв в королевскую ставку противника и не менее остроумная ее защита. Но будет ли Пауль сегодня играть именно так? Может, он давно забыл эту партию? Да и зачем мне дразнящий экскурс в прошлое? Чтобы еще раз поймать его на подброшенную наживку? Но Пауль неглуп и насторожен. Он будет рассуждать примерно так: «Гриднев повторяет хорошо знакомую ему и мне позицию. По инерции шахматной мысли? Нет, конечно. Просто хочет лишний раз удостовериться, что я — это я. Значит, я должен сыграть иначе, как сыграл бы Сахаров, а не Гетцке. Обязательно иначе, даже проиграть, может быть. Расслабить Гриднева, заставить его усомниться в каких-то выводах, ведь доказательств у него нет — одна интуиция». Именно так и будет рассуждать Пауль и опять просчитается. Не на повторе партии хочу я поймать его, а именно на том, что он от повторе откажется.

— Сами с собой играете? — выводит меня из раздумий знакомый насмешливый голос.

Я смахиваю шахматы с доски и парирую:

— Нет, просто разбираю партию Спасский — Фишер.

— Конечно, выигрышную для Спасского?

— Конечно. Меня интересуют находки Спасского, а не его просчеты.

— Что верно, то верно, — говорит он, — надо уметь рассчитывать все возможные варианты.

— Этого даже ЭВМ не может.

— Я не о шахматах, — говорит он и садится в кресло против меня. — Давайте начнем с середины партии, которую вы только что разобрали.

— Зачем? — недоумеваю я.

Но он быстро и уверенно расставляет фигуры в той самой позиции, которая только что была на доске. Не в партии Спасский — Фишер, а в партии, сыгранной мною с Волошиным — Гетцке тридцать лет назад в оккупированной Одессе.

Я не могу скрыть своего удивления — настолько это для меня непонятно и неожиданно. Что он затеял? Маневр? Ход в игре? С какой целью? Во имя чего?

А он улыбается:

— Не ожидал?

Я все еще молчу.

— Твой ход, маркиз. Не пугайся. «Дорогу, дорогу гасконцам, мы с солнцем в крови рождены!» — Теперь он уже откровенно смеется — никакой бравады, продиктованной страхом или тревогой.

— Снял, значит, маску, — говорю я. — Пора.

— Между нами двоими — снял.

— Что означает «между нами двоими»?

— То и означает. Жен своих мы в этот предбанник не пустим. Для них я — Сахаров. И для моей и для твоей. Или ты уже рассказал по дурости?

— Пока еще нет, — маневрирую я.

— Я так и думал, если не врешь. Да нет, пожалуй, не врешь. Ты ведь службист. И не просто, а из КГБ. Данные розыска посторонним не разглашаются. Небось думал, что я в твою адвокатуру поверю? Ты такой же юрист, как я депутат бундестага.

— Между прочим, я все-таки юрист.

— Не думаю, что тебя это очень вооружило... Что пьешь? Кофе? Подожди, я у бармена коньяк возьму. Разговор будет долгий.

Мгновенно ориентируюсь: Пауль начинает игру. Смысл ее мне неясен, но я уже внутренне мобилизован — тренер, которому неизвестны расчеты противника.

— Пришел в себя, друг мой ситный? — смеется Пауль. — Ну хоть честно признайся, не ожидал такого хода?

— Не ожидал.

— Небось смертельно хочется узнать, почему это Пауль фон Гетцке вдруг начинает затяжной прыжок с парашютом?

— Без парашюта, — поправляю я.

— Ты в каком звании? — вдруг спрашивает он. — Генерал? Едва ли. Для генерала у тебя даже за тридцать лет беспорочной службы талантишка маловато. Полковник, наверное. Самый подходящий для тебя чин. Так вот, твердокаменному полковнику, сменившему тридцать пар штанов на страже государственной безопасности, по штату положена такая служебная самонадежность. «Все мое, — сказал булат». Ан нет, не все.

— Все, — решительно подтверждаю я. Теперь уже знаю, что говорить, и всю его игру на пять ходов вперед вижу — пустое это занятие, вроде «козла» во дворе. — Все, — повторяю я, — и ничего тебе не останется, бывший гауптштурмфюрер. Даже колонии строгого режима тебе не гарантирую.

— Но ведь на беззаконие не пойдешь. За грудки не схватишь и в каюту с задраенным иллюминатором не запрешь.

— Не запрю.

Он засмеялся беззаботно и весело.

— Значит, глотнем по малости и закурим. Жены нас не ждут: в шахматы сражаемся — мешать не будут. Обстановка для разговора по большому счету самая подходящая. Тихо и светло, совсем по Хемингуэю.

— Интересно, когда это ты его читал?

— После войны, конечно... Да не уклоняйся, знаю, о чем спросить хочется. Почему раскрылся, да? Думаешь, раскололся Пашка Волошин, спекся, скис? Еще на причале заметил, как вы с Тимчуком сразу нацелились. Должно быть, тут же решили: струсил. И пошло. Художественный театр, право. Работник прилавка Сахаров и адвокат Гриднев. Раскольников и Порфирий Петрович. Ну и подвели нервишки нибелунга, бежать некуда, подымай лапки и кричи: «Гетцке капут!»

Никогда не говорил так ни Павлик Волошин, ни Пауль Гетцке.

Выходит, подвели все-таки нервишки.

А впрочем, может, и не подвели — играет. Новую роль играет, даже не роль — эпизод, как говорят в кинематографе. А в глазах хитрая-прехитрая усмешечка, даже настороженности прежней нет — одно удовольствие, смакование выигрыша, пусть небольшого, а все-таки выигрыша: удивил, мол, да еще как удивил.

— А ведь я игрок, — продолжает Пауль, словно прочтя мои мысли, — и играю наверняка. Гауптштурм-фюрер Пауль фон Гетцке убит в оккупированной Одессе. Что убит — известно, что воскрес — не доказано. Точнее, доказательств у вас не было и до сих пор нет. Одни гипотезы, юридическая цена которым ноль без палочки. Никаких следов не оставил убитый Гетцке. Чистый лист бумаги, на котором вы ничего не напишете. Дальше. — Пауль хитренько подмигивает и загибает еще палец. — Сахаров тоже поручик Кижэ. Одно воспоминание. Ну а теперь загнем третий палец. Сахаров, из плена вернувшийся, живой и действующий, честный и незапятнанный, четверть века не нарушавший ни уголовного, ни гражданского кодексов. И наконец, последнее: мать, встретившая героя-сына, любимого и любящего, возвращенного судьбой вопреки похоронке. Кто посмеет усомниться в этом? Кто не постыдится посягнуть на счастье матери, нашедшей пропавшего без вести сына? Вот так-то, товарищ полковник... А открылся я тебе из тщеславия. Дань инфантильности. Помнишь, как мальчишками соревновались: кто кого?.. Ты меня узнал, копаешь, надеешься. Не ищите и не обрящете. Садитесь в камеру не собираюсь.

— А я не собираюсь тебя арестовывать, — говорю я. — Пока!

— Что значит «пока»?

— Загляни в толковый словарь. Пока есть пока. До поры до времени. Числись Сахаровым, вкушай плоды семейной идиллии, оценивай штаны в комиссионном магазине и поздравляй мамашу с днем ангела. Словом, ходи по земле, пока она не разверзнется.

— Ну что ж, выпьем тогда за удачу. Каждый за свою. — Он разливает коньяк по рюмкам.

— С тобой не пью.

— Вчера же пил.

— Пил с Сахаровым в порядке участия в этом спектакле, а с Гетцке не буду. Сейчас антракт.

Он залпом выпивает свою рюмку, откидывается в

кресле и дружески улыбается — по-моему, даже искренне.

— А все-таки ты мне нравишься, Гриднев. Всегда нравился. Потому я тебя в гестапо и не изувечил. Красоту твою пощадил.

— Гнусно ты все рассчитал, но хитро. Многие бы завалялись, если б я не ушел.

— С Тимчуком ушел?

— С Тимчуком.

— Я так и думал. И Галку предупредил?

— Конечно.

— Наутро мы к ней пришли — пусто. Тут я и понял, что ты меня переиграл. С уважением, между прочим, кавалер Бален-де-Балю. Вот и ты играй с уважением.

— А я не играю. Я работаю.

— Это ты так начальству говоришь. Да, Гриднев. Ничего до сих пор не понял.

Он допивает коньяк и долго молчит, закуривая свой «Филипп Моррис» обычным волошинским манером. Я не могу сдерживать улыбки, которую он, впрочем, не замечает. Нет, не стальные нервы у бывшего гауптштурмфюрера, и ржавеет железо его легенды. И предупредительную телеграмму Сахаровой послал, и со мной поиграл, и что-то еще, наверное, придумает.

Ну а моя задача ясна: ждать. Время пока работает на меня.

И снова насмешливые искорки у него в глазах. Может быть, уже и придумал еще что-то. Нет, не придумал — просто расставляет по местам шахматные фигурки.

— Спать еще рано, — говорит он, — да и не заснем мы с тобой, пожалуй. Лучше отвлечемся — сыграем партию. Шахматы не выпивка — к дружбе не обязывают.

БАТУМИ

ПОСЛЕ ШТОРМА

Просыпаюсь поздно. Шторм, разыгравшийся к утру, задержал теплоход в пути. Уже одиннадцатый час, а мы еще только на подходе к Батуми.

Да и заснули вчера поздно — Галка и сейчас поса-

пывает: сказался ночной разговор. Вернулся я из бара около полуночи, Галка уже поджидала меня.

Когда я рассказал ей все, очень подробно рассказал, со всеми своими ощущениями и психологическими мотивировками, она тотчас же сделала вывод:

— Напуган. Смертельно напуган.

— Риска он не боится.

— Риска? Чем же он рисковал, скажите на милость? Что ты узнал его — он заметил; что работаешь в КГБ — догадался. В маске или без маски, он все равно для тебя Пауль Гетцке, неубитый, приспособившийся и близкий к разоблачению. Ничем он не рисковал, глупости! А мотивировка — липа. Из тщеславия, дань инфантильности! Чистейшей воды липа. Ты же сам учуял подтекст: напуган. Открыл карты для того, чтобы ты их открыл.

Меня упорно не оставляла тревожная мысль: не сбежал бы он из Батуми. И даже не за границу: туда он не рискнет уходить — не экипирован, не готов, да и пограничники предупреждены. В Москву он может рвануть, в Москву. На самолете или поездом. Ему туда раньше нас попасть нужно. Если он и вправду резидент, то оборвет все связи, уничтожит все, что может его изобличить, и, возможно, успеет скрыться. А самое главное, еще больше запугать старуху, мамашу его распрекрасную. Если она не станет молчать — ему конец. Впрочем, он не дурак: сам к старухе не сунется, понимает, что все пути к ней мы перекрыли. Значит, будет искать что-то другое...

Честно говоря, я не был подготовлен к решению. О возможности побега предупредили пограничников — так. Но в Сухуми меня заверили, что каждый его шаг в Батуми будет взят под контроль. Значит, нужно встретиться с оперативной группой раньше, чем она возьмет Сахарова под наблюдение и помешает его бегству в любом направлении.

Рискну? Рискну, пожалуй. Любое промедление может сорвать операцию. Я потянулся за сигаретами и тут же получил по рукам.

— Стоп! — сказала Галка. — Брось курить. Хватит одной пачки! — Она вырвала у меня вторую, к которой было потянулся. — А все-таки интересный у тебя, Сашка, был разговор, остросюжетный. (Я только хмыкнул в ответ.) Не находишь? Зря. Ужасно интересно вот так

просто, в мирнейшей, можно сказать, обстановке, за чашкой кофе с врагом своим встретиться. С оголтелым врагом, смертельно тебя ненавидящим, готовым на все — хоть пулю в упор в переносицу, хоть бритвой с размаху по горлу, — и разговаривать вот как мы с тобой, с глазу на глаз, о самом для вас сокровенном... Об Одессе хоть вспомнили?

— Вспомнили. Они к тебе наутро из гестапо пришли, а тебя нет. Пусто. Так и сказал: «Переиграл ты меня, кавалер Бален-де-Балю».

— Даже прозвище помнит.

— Да, Галка, Пауля не проведешь. Вторично он откровенничать не будет. Обязательно заподозрит. Только, пожалуй, прямые контакты с ним уже не нужны. В Батуми и Новороссийске будем обедать и ужинать в городе. Или у капитана. Подумаем.

— Насторожится еще больше.

— Пусть. Теперь уже не страшно.

— Зато мне страшно.

— Только если упустим...

Так мы и проговорили почти до рассвета, пока не начался шторм. Нашу многоэтажную громадину хотя и плавно, но изрядно покачивало. Я вышел на палубу. В предрассветном сумраке ничего не различалось, кроме свинца неба и моря да белых гребней волн у самого борта — дальше они тускнели и размывались. Стоять было холодно и тоскливо. Я вернулся в каюту, лег и, как это ни странно, заснул под качку.

Разбудил меня телефон. Трубку сняла Галка.

— Да. Доброе утро... Это Тамара, — добавляет она уже для меня шепотом. — Почему такой голос? Только проснулась. Что? Вторую смену завтрака? Проспали, конечно. Все шторм — не могла спать из-за качки. Нет, нет, не беспокойтесь. — Галка прикрывает рукой телефонную трубку и шепчет: — Сахаров предлагает сходить к шеф-повару и соорудить для нас завтрак в каюте... Спасибо, Тамарочка. Поблагодари Михаила Даниловича и скажи, что мы завтракаем у капитана. Да, да. Уже договорились.

— Что за вольт, Галка? — удивляюсь я.

— А ты хочешь, чтобы Сахаров принес тебе завтрак из ресторана?

— Шеф может послать официантку.

— А если Сахаров все-таки принесет сам?

— С какой стати?

— Подумай. Ты очень уверен в том, что ему не захочется подсыпать тебе чего-нибудь в чай или кофе?

— Яд в кофе! Этим занимались, насколько я помню, Рене-флорентинец у Дюма и Чезаре Борджиа у Саббатини. Даже Сименон не подвергал Мегрэ такой вульгарной опасности.

— Почему обязательно яд? — витийствует Галка. — Есть и снотворные. Имеются и другие токсические средства, позволяющие положить человека на больничную койку. Ты же сам говорил, что ему важно попасть в Москву раньше нас.

— Между «важно попасть» и «попасть» не один шаг. Боюсь, что даже и яд теперь ему уже не поможет... А где же все-таки будем завтракать?

— Может быть, в кафе на причале?

— Причала еще не видно. Придется к твоему варианту прибегнуть.

— Какому варианту?

— Позвонить капитану.

Но телефон сам предупреждает меня.

— Вас просят срочно в радиорубку.

— Одевайся, Галка, и будь готова, — говорю я, срочно приобретая подходящий для палубы вид. — Когда позвоню, подымайся наверх.

В Москве меня уже дожидается у телефона Корецкий.

— Очень коротко, Александр Романович. Есть уже данные экспертизы по фотокарточкам. На фотоснимках Сахарова в 1970 году и в 1946-м после возвращения из плена установлено приблизительное тождество оригинала с оригиналом фотокарточки Пауля Гетцке, присланной из ГДР и датированной 1940 годом, с учетом, конечно, допустимых возрастных изменений.

— Почему приблизительное?

— На снимке Гетцке нет шрама на лице и несколько иная конфигурация губ.

— И шрам и складка губ могут быть результатом косметической операции.

— К сожалению, снимки даже при увеличении не позволяют установить косметическое вмешательство.

Я вздыхаю.

— Значит, остается лаборатория.

— Лабораторное исследование может быть проведено только после ареста обвиняемого.

— Знаю, Коля, знаю, — устало говорю я. — А как обстоит дело с идентификацией почерков?

— Пока никак. Эксперты в чем-то еще сомневаются. Окончательный результат экспертизы получим часа через два.

— Значит, в два позвоню по ВЧ.

— Лучше в три, Александр Романович. До трех обязательно позвонит Ермоленко. Предварительные данные обнадеживают. Бугров именно тот Бугров, который был в сорок шестом в Апрелевке, и Сахаров, о котором шла речь, именно тот Сахаров, который нам нужен. Ермоленко обещал позвонить тотчас же, как только все детали разговора с Бугровым будут уточнены.

— В три так в три, — согласился я. — Лишний час музыки не испортит. А как наблюдение в Апрелевке?

— По плану. Пост у дома и наблюдение за передвижением по городу. Пока тихо.

— Главное, не допускать встреч с неизвестными в городе лицами.

— Учтем, — отчеканивает Корецкий и кладет трубку.

Завтрак у капитана сервируется, едва я успеваю высказать свою просьбу. Мало того, мы получаем приглашение и на все дальнейшие завтраки, обеды и ужины вплоть до прибытия в Одессу. В личных контактах с Сахаровым уже необходимости нет. Главное сейчас — это встреча с батумской опергруппой раньше, чем Сахаров сойдет с теплохода.

Но и тут решение уже подготовлено. И даже, я бы сказал, с некоторым театральным эффектом. Пока мы завтракаем и слушаем занимательные капитанские байки о корабельном житье-бытье в заграничных портах, к теплоходу подходит катер из батумского порта, и высокий грузин в штатском появляется в капитанской каюте с просьбой немедленно связать его с полковником Гриневым. Все понятно. Я извиняюсь перед капитаном и выхожу с грузином на мостик.

— Старший лейтенант Лежава, — представляется он, — жду ваших распоряжений.

— Вы обо всем предупреждены или нужны разъяснения?

— Задача поставлена так. Сахаров должен быть опознан по фотоснимку. Снимки розданы. Мы встречаем

его у трапа, следуем за ним по городу, засекаем все встречи и разделяемся в зависимости от ситуации.

— Сколько у вас человек?

— Четверо. С нами легковая машина и мотоцикл.

— Учтите главное: его ни в коем случае нельзя упустить.

— Мы не упустим, а погранохрана предупреждена.

— Погранохрана не понадобится. За границу он не побежит. Вероятнее всего, попытается удрать на самолете в Москву.

— Билетов в Москву уже нет. На все рейсы до утра.

— Он может ждать до утра. Смущены? Что делать тогда, узнаете. А пока разберем другие варианты. В-первых, можно достать билет и по блату.

— Постараемся пресечь и эту возможность, товарищ полковник.

— Можно вылететь в Москву и с других аэродромов. Скажем, из Сухуми, Адлера или Тбилиси. А туда добраться не так сложно.

— Будет сложно. Предупредим кассира.

— В городе не одна касса. Можно уйти в Сочи и на «Комете», здесь ходят суда на подводных крыльях. В Сухуми тем более. А до Тбилиси поездом ночь езды. Вариантов много. Ну так вот: если он опередит или перехитрит вас, задержите его хотя бы под предлогом, что он не то лицо, за которое себя выдает, что требуется проверка подлинности его документов, и вызовите меня — я буду у вас в управлении. Это на случай, если он попытается бежать из Батуми. Если вернется на теплоход, не спускайте с него глаз, куда бы он ни направился. Наблюдение и днем и ночью. Учтите, что он отличный пловец и легко может вплавь добраться до берега. Все это диктует необходимость по крайней мере двоим из вас сопровождать нас до Одессы.

— Нас предупредили об этом, товарищ полковник.

— Кто поедет?

— Я и лейтенант Нодия.

— Вот и отлично, — улыбаюсь я. — Будем работать совместно. Дополнительные распоряжения получите по возвращении на теплоход. Каюту мы вам подберем поближе к Сахарову. А пока займите пост у лифта на шлюпочной палубе и ждите, пока он не выйдет из каюты. Третья от вестибюля, номер сто двадцать четыре. Вы его сразу узнаете, если он не сбрил бороду, а я думаю, что

не сбрил. Он будет с женой — эффектная крашеная блондинка лет сорока, жемчуг в ушах, жемчужная нитка на шее. Пойдете вслед за ними, чтобы наблюдающие у трапа действовали безошибочно. Важно не упустить его.

— Будет исполнено. — Старший лейтенант машинально тянет руку ко лбу, но, вспомнив, что он в штатском, виновато раскланивается и уходит. Хороший, по видимому, работник, толковый и не болтливый. С такими легко.

— Вторая палуба вниз, — говорю ему вслед.

— А я здесь все знаю, товарищ полковник, — оборачивается он, спускаясь по трапу к подвешенным в гнездах шлюпкам.

Мы выходим с Галкой на мостик. Капитан уже на посту, вводит судно в устье портовой бухты. Медленно, как в кадре набегающей кинокамеры, движется навстречу причудливая конструкция порта — панорама зданий, кранов, цистерн, больших и малых судов у причалов на фоне зеленого амфитеатра нагорий с россыпью белых и кремовых домиков. Я люблю это зрелище нарастающего перед глазами порта с его пестрой палитрой красок и праздничной суетой на причалах и набережных. Как хорошо наблюдать эту сцену, когда ты беззаботен и счастлив той полнотой радости, какую дают эта высота неба, жар солнца, ленивая синь моря и бронзовый загар на лицах встречающих. Галка так и смотрит сейчас — с радостным чувством свободы от житейских забот, забыла даже спросить о прервавшем наш завтрак госте с военного катера.

Впрочем, ошибаюсь — вспомнила.

— Ты кого это высматриваешь в толпе?

— Видишь двух парней у трапа? Один в желтой водолазке, с усиками, другой — в майке. Типичные «бичи». А вон еще один у машины. И мотоцикл вдали у стенок.

— Твои люди?

— Предполагаю.

— Это их тот парень прислал? Оттуда?

— Ага.

— Я так и подумала. Больно вышколен, только что каблуками не щелкает.

— Он и должен быть вышколен. Старший лейтенант по званию. С нами до Одессы поедет.

- Зачем?
- Может понадобится.
- Договорились?

— Конечно. Обо всем, что требуется. Давай вниз, хочу с Сахаровыми на палубе потолкаться, пока они на берег не сошли.

Сахаровых мы встречаем двумя этажами ниже, у лифта. Они явно собрались на берег. У Тамары импортная пляжная сумка с головой тигра на белом пластике, на руке у Сахарова переброшен аккуратно вывернутый подкладкой наверх пиджак.

— На экскурсию или на пляж? — интересуется Галка.

Тамара обиженно морщится:

— Я хотела на экскурсию. Потрясная прогулка в ботанический сад на Зеленом Мысу. Но Миша почему-то не хочет.

— А вы куда? — спрашивает он с обычной сахаровской незаинтересованностью, словно и не было у нас никакого разговора вчера.

— Сейчас никуда. Подождем, пока не схлынет эта туристская толчея. А там, вероятно, тоже на пляж. Кстати, — говорю я Сахарову, — за буйки там плавать вам не удастся. Охрана.

Он молча пожимает плечами все с той же наигранной безразличностью.

Все идет как задумано: старший лейтенант Лежава в летней кремовой распашонке неотступно следует за Сахаровым. Он и в кабину лифта с ними вошел, и шагает сейчас за ними по трапу.

— Интересно, зачем Сахарову пиджак? — спрашивает Галка: тоже заметила.

— А ты не догадываешься?

— Кажется, да.

— Погляди-ка на этих ребят у трапа. Вот один уже садится на мотоцикл — думаю, в аэропорт махнет. Другой поплелся за нашей парочкой, а третий идет к машине.

— Кто это?

— Ты же его только что в лифте видела.

— Ясно.

— Все идет по плану.

У меня еще два часа свободного времени. В город ехать рано, а Галка теряет день.

— Ты бы на пляж поехала, — говорю я, — все-таки лучший пляж на побережье. Тамару найдешь. Вероятно, зареванную.

— Почему?

— Он же оставит ее на пляже. Вот ты и утетишь.

— А ты?

— Мне лишь через два часа надо быть в управлении. Кстати, может быть, я сегодня и не вернусь на теплоход. Возможно, мне придется срочно лететь в Москву. На сутки. Завтра, может быть, даже утром, вернусь в Новороссийск. Как раз к теплоходу.

— Почему вдруг такая спешка?

— Все зависит от сложившейся ситуации, вернее, от некоторых ее обстоятельств. Каких, сам еще не знаю. Но, вероятнее всего, лететь придется.

— В связи с Бугровым?

— Не только. Эта одна из связок, не больше. И не будем уточнять, Галочка. Всему свое время.

— А ведь верно сказал Сахаров: ты все-таки службист, Сашка.

— Обстоятельства, — неопределенно говорю я. — Задачи разделяются. Мне — одна, тебе — другая. Добровольно или вынужденно, но Сахаров обязательно вернется на теплоход. Будет рваться ко мне — не пускай. Скажи, что я нездоров, повысилось давление или сердце пошаливает, — словом, что-нибудь придумай. Врач будет предупрежден. Дверь каюты держи всегда на запоре, ключ при себе. Предупреди стюардессу, чтобы второй ключ никому не давала. Вот, собственно, и все. А заканчивать операцию будем на перегоне Новороссийск — Одесса.

ОБЛАВА

Вахтанг Мгеладзе, немолодой уже грузин в звании подполковника, говорит по-русски с легким акцентом. А внешне он чем-то напоминает Ираклия Андроникова, этого мастера короткого рассказа, — если не лицом, то каким-то только ему присущим обаянием.

— Похож? — улыбается он. — Многие говорят, а чем похож, понятия не имею. И рассказывать ничего не умею. Вместо рассказа я вам лучше рапорт Лежавы прочту.

— «Нинико, бери карандаш и стенографируй. Под-

полковника на месте нет, а у меня срочное донесение. Пиши. Полковник Гриднев задание уточнил. Надо не только проследить Сахарова во время его передвижений по городу, засечь все его встречи и явки, но и никоим образом не выпустить его из города. Только на теплоход — и никаких других вариантов. Первый вариант провалился сразу: в кассах аэропорта билетов на Москву не было. Только он вышел в зал ожидания и объявил во весь голос: «Друзья, — говорит, — кто захочет уступить мне билет в Москву, плачу вдвое». Никто не откликнулся. А он, как на рынке, еще громче: «Очень нужно, товарищи, поскорее попасть в Москву — человек при смерти! Может, кто с женой едет, так я и два билета возьму. По сто рублей, деньги на бочку». Тут кто-то зашевелился. Ну а мы тоже не протачки. Милиционер под боком — сразу в бой. «Не шуми, — говорит, — генацвале, нехорошо получается. А еще хуже спекуляцию разводить. Кто билет продаст, заберу обоих». Тут он извинения попросил: «Очень нужно, — говорит, — товарищ, простите». Ко второй кассе пошел, на местные рейсы. А там уже Нико Гавашели сидел. «Продажа билетов, — говорит (это он уже с начальством согласовал), — временно прекращена ввиду нелетной погоды». — «Какая же нелетная погода, — кипятится Сахаров, — когда на небе ни облачка!» — «Здесь нет, — говорит Нико, — а в горах грозовой фронт, понял?» Ну Сахаров наш совсем заскучал. Стоит сейчас в дверях, пока я по телефону докладываю, что и как, и размышляет, куда податься. Торадзе с Нодия уже у машины, меня ждут. Вот он шагнул в дверь, прощай пока, Нинико, некогда мне: бегу, догоняю. А Гавашели уже на вокзал помчался — на случай, если Сахаров в Тбилиси надумает с вечерним скорым. Будешь расшифровывать, смотри не перепутай — зарежу».

Я невольно не могу сдерживать улыбки, но и тревоги скрыть не могу — очень уж энергично действует Сахаров, очень уж ему хочется раньше меня в Москву попасть. И денег никаких не жалеет.

— Эх, не упустили бы, товарищ подполковник, — не могу я сдержаться.

Он смотрит на меня с таким успокаивающим радушием, что тревога моя тает, как мороженое на его блюде.

— Извини, дорогой, не угощаю: совсем растаяло, —

говорит он, поймав мой взгляд, — и давай так. Полковника и подполковника пока отменим, мы не на смотре. Я — Вахтанг, ты — Сандро, все, как у вас говорят, проще простого. Задача твоя мне ясна: из Сухуми предупредили. Ему не уйти. Мне уже все ясно: брать его ты не хочешь или потому, что цепочка, которая за ним тянется, тебе неясна, или потому, что оснований для ареста пока еще нет. Думаю, второе вернее. Так?

— Так, — говорю я, — основания в Москве добывают, а мне важно не выпустить его с теплохода, до Одессы доездить. Двух я у тебя забираю — предупрежден?

— Поедут Лежава и Нодия. От таких ни по морю, ни посуху не уйдешь. Будь спок, как там в Москве говорят, Райкин кажется? А Сахаров этот что, из-за рубежа?

— Нет, — вздыхаю я, — из-за рубежа давно бы взяли. А то с сорок шестого в Москве живет. А в сорок третьем в Одессе в гестапо подвизался в чине гауптштурмфюрера. По национальности русский, по обстоятельствам немец, а по духу подлец.

— Тогда зачем спешить? Взять можно и позже, пусть гуляет до поры до времени. А пока нащупай всю его агентуру — связных, явки, шифровки, тайники, почтовые ящики.

— Нельзя. Нет времени. Он узнал меня и сразу понял, что открыт. Главное для него теперь — уйти от следствия. И если мы не разоблачим его до возвращения в Москву, он преспокойно оборвет все связи и с милой улыбкой предложит Немезиде ничью. А это, сам понимаешь, нас никак не устраивает. А если возьмем его до возвращения в Москву, то хоть кончик ниточки да останется. А там, смотри, и весь клубок разматываем. Вот он и рвется в Москву нас опередить.

— Почему бы тебе там его не встретить? У тебя же все шансы попасть в Москву раньше.

— Может, и придется слетать на сутки. Спецрейс устроишь?

— А почему нет? Туда и обратно.

— Обратно не сюда, а в Новороссийск, к теплоходу. Он сегодня вечером отойдет, в Новороссийске утром будет. А мою поездку сейчас с Москвой согласую.

Мгеладзе хрустит пальцами и вздыхает сочувственно.

— А жаль небось отпуска, а? На таком теплоходе

только жить-поживать, а не шпионов ловить. Я сам прошлым летом на «Шота Руставели» такой же круиз проделал. Бассейн — царский, можно сказать, коньячок к ужину, пивком зайейся. Я сам люблю и на сквознячке посидеть, и шариками на бильярде постучать, и кофейку у Махмуда вкусить — есть у нас такой мусульманин, кофе как аллах варит.

— Да, — говорю, — жаль, конечно, — и вздыхаю. И не пляж в голове, а мечущийся по городу Сахаров и Корецкий в Москве у телефона.

С ним я и соединяюсь по ВЧ.

— Есть новости? — спрашиваю.

— Вагон! Ермоленко встретился с Бугровым и уточнил все, что требуется. Сахаров Михаил Данилович бежал вместе с Бугровым из заключения в феврале сорок пятого года во время транспортировки лагерного эшелона на запад. Обстоятельства побега и события, ему предшествовавшие, очень интересны, но это не телефонный разговор. Главное же в том, что Бугров лично знал Сахарова, сражался с ним бок о бок в Словацких Татрах и даже получил от него фотокарточку, на которой они сняты вместе на биваке партизанского отряда Славко Бенека. Второе: Бугров категорически утверждает, что Сахаров погиб в марте того же года, когда он в составе партизанской пятерки прикрывал переброску отряда в горах. Погибли они близ Махалян на Братиславском шоссе. Там и похоронены, и памятник им поставлен — гранитная глыба с именами, среди которых и Сахаров. Снимок этот тоже имеется.

— Значит, Бугров не очевидец гибели Сахарова? — перебиваю я.

— Нет, но он принимал участие в захоронении погибших. Кроме того, одному из группы прикрытия, хотя и тяжело раненному, все же удалось спастись. Это Янек Ондра, бывший пулеметчик отряда. Сейчас он директор одного из телевизионных ателье в Братиславе.

— Вот что, Коля, — опять перебиваю я, — немедленно после разговора со мной свяжись с Братиславой. Попроси товарищей помочь нам. Пусть постараются найти этого Ондру и взять у него письменные показания о гибели группы прикрытия, и Сахарова в частности. Объясни товарищам срочность всего этого дела...

— Уже связались, — не без гордости сообщает Корецкий. — Ответ ожидаем сегодня же.

— Лады, — говорю я, — дальше. Бугрова — в Москву, сам понимаешь. Вместе с Ермоленко и всей документацией по делу. Тоже сегодня.

— Уже вылетели. Будут часам к шести, если в пути ничто не задержит. — В голосе Корецкого уже звучит торжество угадавшего все шесть номеров в очередном тираже «Спортлото». — Теперь, я думаю, Александр Романович, можно и к старухе. К псевдомамаше Сахарова. Сослаться на то, что это какой-нибудь другой Сахаров, ей не удастся. Он все рассказал Бугрову: и кто его мать, и где она живет и работает. И об отношениях с ней рассказал. Не очень, оказывается, любила она сыночка. Парень о вузе мечтал, а она его работать заставила: деньги, мол, дома нужны. Учеником к мяснику на рынок определила; мясники, говорит, теперь лучше инженеров живут. А уходя в свой последний бой, Сахаров так и сказал Бугрову: «Найдешь, если жив будешь, в Апрелевке матушку, так передай ей, что подарков не шлю, а если умереть придется в бою, так умру с честью, ни имени своего, ни Родины не опозорив». Бугров бы так и передал, если б нашел ее по приезду, ну а потом, как мы знаем, по совету однополчанина своего передумал. Я полагаю завтра же ее навестить и поговорить по душам, благо основания для такого разговора у нас имеются, если, конечно, — добавляет он, — не будет других указаний.

— Будут, Коля, — говорю я, понимая, как огорчу я сейчас человека. — Навещу ее я, и не завтра, а сегодня же вечером. После того, как встречу с Бугровым.

Корецкий долго молчит, так долго, что я уже начинаю думать, не произошло ли где-нибудь разъединения на линии.

— Ничего не понимаю, — доносится до меня наконец его недоумевающий голос, — вы откуда говорите, Александр Романович?

— Из Батуми, Коля. И в течение ближайшего часа отбываю в Москву.

— А как же Сахаров?

— Пока он мечется по городу в поисках билета на самолет. Надеется попасть в Москву раньше меня.

— И вы допустите?

— Нет, конечно. Его сопровождает в странствиях целая опергруппа, надежно его блокирующая. В конце концов, если понадобится, прибегнем к крайним мерам.

— Будете брать?

— Зачем? Просто попросим по-хорошему не покидать теплохода до прибытия в Одессу.

— На теплоходе палуб много, кают еще больше, а пассажиров по пальцам не сосчитаешь.

— Зато выход один, Коля. К трапу.

— Можно и через борт. Вплавь, если плавает. А плавать он умеет — в гестаповских школах и не тому учат.

— Умеет, Коля! И до берега доплывет — что днем, что ночью. Только к борту его не подпустят.

— Что ж, вам виднее, — не очень охотно соглашается Корецкий.

Пусть огорчается. Дело есть дело.

— Задержи Бугрова и Ермоленко до моего прибытия, — заканчиваю я разговор. — Надеюсь, до семи буду, если погода позволит. Постарайся к этому времени и Ондру найти. Сам понимаешь, как важны сейчас его показания. Бугров плюс Ондра плюс памятник на могиле Сахарова — вот наши три роковые для Гетцке карты. И пиковая дама из Апрелевки ему уже не поможет.

Я расстаюсь с Корецким, но телефон меня не отпускает. Звонит городской аппарат. Мгеладзе слушает, говорит что-то по-грузински и передает трубку мне.

— Докладывает Лежава, товарищ полковник, — слышу я знакомый баритон. На этот раз рапорт старшего лейтенанта суховат, точен и лишен «вольностей» вроде «генацвале» и пресловутого «объекта», оброненных им в телефонной беседе с симпатичной стенографисткой Нинико. — Звоню из отделения милиции морвокзала, куда только что доставлен задержанный нами гражданин Сахаров. Прорваться ему не удалось ни в Сочи, ни в Тбилиси. Правда, на железнодорожном вокзале через носильщика достал билет на тбилисский скорый, но проинструктированная нами милиция задержала и носильщика и незаконного владельца билета, добытого спекулятивным путем. Конечно, потом их отпустили, а билет вернули в кассу для продажи в порядке живой очереди. Гражданин Сахаров в очереди стоять не захотел, а помчался в порт. Задержись мы хотя бы минуты на две, он бы ушел: как раз в этот момент отходила от причала «Комета» в Сухуми. Он уже прыгнул с пристани на борт, но Торадзе успел все-таки остановить судно. Прямо с

причала мы и доставили задержанного в отделение милиции. Задержание объяснили, как вы приказали: есть, мол, подозрение, что он выдает себя за другого, и требуется проверить подлинность его документов. Задержанный гражданин Сахаров проявил спокойствие и выдержку, не ругался и не кричал, только сказал, что обжалует незаконное задержание в прокуратуру города. Ни я, ни Гавашели при этом не присутствовали — держимся в стороне, ведь нам еще придется встречаться на теплоходе, — а участвуют в задержании Торадзе и Нодия. Так какие же будут указания, товарищ полковник?

— Сейчас приеду. Предупредите об этом задержанного, не называя моей фамилии. Все.

На моих часах без пяти три. Рейсовый самолет в Москву в шестнадцать сорок. Говорю Мгеладзе:

— Спецрейса не надо. Обеспечь место в рейсовом. У меня еще полтора часа в запасе. Успею.

Через десять минут я уже у морвокзала. Машину на подходе останавливает Лежава.

— Докладываю, товарищ полковник. Задержанный Сахаров вместе с Торадзе и Гавашели находится в дежурке отделения милиции. Жду ваших распоряжений.

— Думаю, что Сахарова следует отпустить, пусть вернется на теплоход. А вам необходимо продолжить за ним наблюдение, как мы условились. Будьте наготове. Еще раз учтите: пловец первоклассный. В разговор не вступайте, но, если спросит что, отвечайте вежливо и по существу. Ко мне в каюту не допускайте: болен, мол. На теплоходе буду завтра. Тогда и поговорим.

Сахаров при виде меня не удивлен и не рассержен — видимо, был уверен, что приеду именно я.

— Что за детские игры? — спрашивает Сахаров, когда мы остаемся одни.

— Это не игра, а операция по задержанию государственного преступника. — Тон у меня официален и строг.

— Есть уже ордер на арест? — ухмыляется Сахаров. — Покажи.

— Это не арест, а задержание гражданина Сахарова по подозрению в том, что он не то лицо, за которое себя выдает.

— Так ты же не в милиции работаешь, Гриднев.

— Дело гауптштурмфюрера Гетцке проходит по моему ведомству, Сахаров.

— Партбилетом рискуешь.

— Ничуть. Нарушения процессуальных норм не будет. Твердо надеюсь, что буду иметь все основания просить прокурора о превращении твоего задержания в арест.

— А если не дождешься?

Я развожу руками, стараясь подчеркнуть огорчение.

— Тогда твое счастье. Вернешься в Москву к своим арбатским пенатам.

Сахаров молчит, долго думает, поджав губы, потом с явным удовольствием (как это у него получается, не понимаю) лениво потягивается и говорит:

— Есть смысл подождать, кавалер Бален-де-Балю. Считай, что предложение принято.

И мы выходим вместе, как два вполне расположенных друг к другу спутника по морскому пассажирскому рейсу. Торадзе и Гавашели исчезают, а Лежава и Нодия, видимо, следуют за нами, должны, хоть даже я их не замечаю.

Уже выходя из лифта, решаюсь сыграть. Полузакрыв глаза, прижимаюсь к стенке и тяжело вздыхаю.

— Что с тобой? — спрашивает Сахаров.

— Сердце, — выдавливаю я с трудом, — по-шаливает... — И еще раз вздыхаю, приложив руку к груди.

— Я провожу тебя до каюты, — говорит он.

Я, молча кивнув, соглашаюсь. Он доводит меня до двери, но, прежде чем открыть ее, я шепчу:

— Не вздумай удрать. Как бы я сейчас ни чувствовал себя, тебе все равно не уйти. Возьмут тут же, у трапа. Я не бросаюсь словами, ты знаешь. — И, открыв дверь, хрипло говорю удивленно встречающей меня Галке: — Валидол!

Сахаров, по-моему, еще стоит за дверью, и я, приложив палец к губам — молчи, мол, — сажусь на койку и продолжаю шепотом:

— Валидола не требуется. Как только Сахаров уйдет, я незаметно должен уйти.

— Значит, все-таки летишь?

— В шестнадцать сорок.

— Вернешься завтра?

— Рассчитываю.

— А мне как держаться?

— Главное, поддерживай версию болезни. С Тама-рой и Сахаровым встречайся как можно реже. Держись

сдержанно и огорченно. Все-таки я заболел и вынужден лежать в каюте.

И мы расстались, чтобы встретиться завтра в Новороссийске.

МОСКВА

МИХАИЛ САХАРОВ

Я иду по широкому рабочему коридору, такому же родному и близкому, как и коридор моей московской квартиры. Останавливаюсь у двери со знакомой табличкой, стучу.

— Входите, — отвечает голос Корецкого.

Я вхожу и с удовольствием — не скрываю этого — наблюдаю немую сцену. Ермоленко и Корецкий. Что в их молчаливом приветствии? Радость или смущение, тайное недовольство от внезапного визита начальства или скрытый вздох облегчения, снимающий какую-то долю ответственности, тяжелой и, несомненно, тревожащей.

— Из Домодедова? — спрашивает Корецкий.

— Ага.

— Почему же не позвонили, Александр Романович? Мы бы машину прислали.

— Подумаешь, Цезарь прибыл. Добрался и на такси.

Я сажусь в кресло напротив Ермоленко, оставляя Корецкого на моем привычном месте за письменным столом, на котором теперь нет ни одной бумажки. Педантичный Коля, или, вернее, если принять во внимание звание и возраст, Николай Артемьевич Корецкий, в отличие от меня прячет все папки в сейф или в ящики стола, оставляя девственно чистым зеленое сукно под стеклянной плитой.

— А где же Бугров? — спрашиваю я удивленно.

— В столовой, — отвечает Ермоленко. Он без пиджака, в одной тенниске: в Москве тоже батумская жара. — За полчаса до вас прибыли. Я-то успел перекусить, а ему не удалось.

— Со щитом иль на щите? — лукаво осведомляюсь я.

— Темпов не учитываете, Александр Романович, — обижается Ермоленко. — Стали бы мы с Бугровым спе-

шить, если б Фемида нам не содействовала. Да и Фортуна тоже.

Любит высокий стиль.

— А ну-ка без риторики, юноша. Серьезно. С чувством, с толком, с расстановкой. Докладывайте.

— По порядку, Александр Романович?

— С апрелевской разведки.

— Хотелось бы начать с матери Сахарова, но о ней в заключение. А начнем с соседей. За тридцать лет они переменялись — кто умер, кто переехал, кто и до войны Сахаровым не интересовался. Помнит его один Суконцев, старик пенсионер. «До войны, — говорит, — складный мальчишка был, бедовый, но услужливый. Как-то раз в огороде помог, разок или два вместе на рыбалку ходили. А после войны только и видел его мельком, когда к матери на машине приезжал, — сначала на «Победе», потом на «Волге». Бородатый, солидный, словно директор треста; на меня даже не взглянул, не то чтобы поздороваться да старика вспомнить. Но я не расстраивался: кто он мне? Не сын, не племян, я старше его на двадцать лет — мог и запомнить: подумаешь, десяток окуней когда-то вместе выловили». С опознанием Сахарова соседями, как видите, не получилось. А довоенных дружков его я не нашел — ни парней, ни девушек. Даже странно, Александр Романович, показалось, словно их ветром сдуло. Указали мне на двух: Алексея Минина, одноклассника, — вместе с ним призывался, а после войны в местном продмаге работал, — так он за несколько месяцев до возвращения Сахарова трагически, можно сказать, погиб: ночью его на шоссе грузовиком сшибло. Кто сшиб, как, почему — неизвестно. Грузовик, оказывается, накануне со стоянки угнали, а потом где-то у Вострякова бросили. Начальник милиции так и сказал: «Пьяная авантюра — угнали, сбили, испугались, бросили». Никого не нашли. Второй, кто бы мог опознать Сахарова, тоже отпал: мясник с рынка Василий Жмых — у него Мишка Сахаров до призыва подручным работал. Так опять задача. Пил Жмых крепко. В армию его не взяли — хромой; жена бросила, детей не было — вот и пил с рыночных доходов. А когда Сахарову вернуться, Жмыха мертвым в канаве нашли: делириум тремор, как говорят врачи. Смерть от перепоя — не придерешься.

Я делаю предостерегающий жест рукой — остано-

вись, мол, погоди. Навязчивая мысль приходит в голову, я еще ее осознать не могу, но Ермоленко уже понимающе улыбается.

— Тоже ухватились, товарищ полковник? И меня зацепило. Почему это два человека, единственные два человека, которые близко знали довоенного Сахарова и могли бы опознать его при встрече после войны, вдруг оба почти в одно и то же время погибают якобы от несчастного случая?

— Не торопись, Ермолай, не кроссворд разгадываем, — прерывает его Корецкий. — Признаков насильственной смерти не было. Теперь тем более их не найти — дело давнее. Гипотезы о неслучайности нам ничего не дают.

— Но подтверждают версию о проникновении фиктивного Сахарова в Советский Союз. Видимо, настоящий Сахаров был похож на Волошина — Гетцке. Их свели в лагере — об этом вам, товарищ полковник, Бугров расскажет, он слышал все от самого Сахарова. Ну а потом как обычно: уничтожение документов, фотокарточек и образцов почерка «довоенного» Сахарова... Примеры работы фашистской разведки нам, к сожалению, известны.

— Кстати, — перебиваю я, — каковы данные экспертизы по идентификации почерков?

Корецкий вынимает папку, в которой на видном месте красуется любительское фото памятного мне по Одессе черномундирного гестаповца Гетцке и светловолосой Герты Циммер, симпатичной немочки с арийским профилем. Несмотря на отсутствие бороды и тридцатилетнюю разницу в возрасте, при желании можно увидеть и сходство между бритым Гетцке и бородатым Сахаровым. Но только при желании — прокуратура и суд могут и усомниться. Сходство почерков, уже известное мне из телеграфных переговоров с Корецким, — надписи на обороте карточки и расписок Сахарова на документах из комиссионного магазина, — более определенно. Экспертиза подтверждает идентичность (по наклону букв, и по расстоянию между ними, и по характеру нажима), но делает все-таки оговорочку. Экспертов несколько смущают те же тридцатилетняя дистанция между образцами и отличие немецкой остроугольной готики от округленной плавности русского рукописного текста. Если судья не буквоед, оговорочка, быть может, роли и не

сыграет, но кто знает, равенство Гетцке — Сахаров и тут может быть не доказано.

— Зато с Бугровым порядок, — утешает меня Ермоленко и, зная мою шахматную страстишку, добавляет: — Классический эндшпиль, товарищ полковник. Смертельный и неожиданный ход конем.

Но мне почему-то невесело.

— Документы по версии Бугрова подобраны? — спрашиваю я у Корецкого.

Вместо ответа он так же молча извлекает из стола вторую папку, в которой несколько фотоснимков и сообщение из Братиславы в двух экземплярах — перевод и оригинал. На первом, явно любительском снимке, но снятом при хорошем дневном освещении, два бородача в овечьих меховых безрукавках и немецких солдатских сапогах, должно быть снятых с мертвых фашистских карателей. В руках у обоих «шмайсеры». Позади каменный горный уступ и прилепившаяся к скале тощенькая сосенка. Как я ни вглядываюсь в лица, не нахожу в них ничего знакомого. На обороте снимка надпись по-русски, сделанная, по-видимому, трофейной авторучкой: «Другу и соратнику Ване Бугрову на память о хорошем дне. Много фашистских сволочей под этой скалой полегло. Михаил». А ниже — другой текст, тоже по-русски, но другими, более свежими чернилами и другим почерком: «Снято в конце марта сорок пятого года в Словацких Татрах после разгрома отряда немецко-фашистских карателей».

— Внизу это Бугров написал, — поясняет Корецкий. — Вот этот слева, ростом поменьше. А это — Сахаров, -- указывает он на бородача со «шмайсером», стоящего у края обрыва. — Вот его увеличенное изображение, сделанное уже у нас в лаборатории.

На этом снимке крупно лицо бородача, чем-то напоминающего Волошина — Гетцке. Но только чем-то. Может быть, лоб и нос похожи, может быть, шрам, вгрызающийся в бороду на щеке. Но, в общем-то, лица разные: и бороды непохожие, по-разному растут и завихряются, другие глаза, другие губы. Я сравниваю лежащий рядом снимок Сахарова из комиссии, лишний раз убеждающий, что действительный Сахаров отнюдь не двойник фиктивного — так, случайное сходство, даже не близкое, а весьма поверхностное сходство лиц, которое можно увидеть в фототеках «Мосфильма».

— Ни малейшего сходства! — радостно утверждает Ермоленко, выхватывая у меня карточку Сахарова — Гетцке. — Все другое: и глаза-щелочки, и борода из парикмахерской. Вот шрам только...

Торопится парень с выводами. Жаль даже охладить его. Но это делает за меня Корецкий:

— Есть сходство, увы. Хотя различий, конечно, больше, но различия-то и могут обернуться против бугровской версии. Ведь снимков довоенного Сахарова у нас нет. На кого он похож, на того или на этого? И спросить некого, кроме мамыши. Вот тут-то и есть закавыка.

Он прав: закавыка действительно есть, но есть и возможность ее обойти.

— Передай снимки по бильдаппарату в Одессу. Пусть проверят у Волошиной, какой из двух бородачей больше похож на ее сына. Пошли сейчас же. Может, к утру и ответ получим. Мне все равно раньше завтрашнего утра не вылететь.

Корецкий уходит со снимками, и мы остаемся одни. Ермоленко молчит из деликатности, не решаясь заговорить первым. Молчу и я. Думаю... Все-таки различия лиц на обоих снимках — это наш шанс, а не наших противников. Они, эти различия, подкрепляют нашу основную версию. Бугров лично знал человека на фотокарточке, снятой в партизанском краю в Словакии, знал его и живым и мертвым, видел простреленное тело его в кустарнике близ Михалян, где стоит сейчас приземистый гранитный обелиск с выбитыми на нем именами погибших. Я беру снимок и читаю:

ЯРОСЛАВ МИТИЧ
АНТОН ГОЛЕМБА
МИХАЛ САХАРОВ
ЧЕСЛАВ ВОДИЧКА

Михал Сахаров! Что можно выдвинуть против этого высеченного на камне свидетельства? Может быть, у погибшего было другое имя? Может быть, он по каким-то причинам только называл себя Сахаровым? Но зачем русскому советскому человеку даже на территории, занятой врагом, до последнего дыхания боровшемуся против фашистской скверны, — зачем партизану и антифашисту скрывать свое настоящее имя от друзей и соратников? Ведь он назвал не только себя, но и свое

местожительство в СССР, имя и адрес матери, которой и послал слова предсмертного прощания. А может, под его именем все же захоронен кто-то другой? Может быть, Бугров ошибся, что-то помешало ему узнать в убитом своего боевого товарища, и не точное знание, а только догадка обусловила список имен на памятнике? Но ведь жив и другой свидетель, непосредственный участник последнего боя партизанской пятерки.

Я беру сообщение из Братиславы — гриф ведомства, дата, краткая сопроводилка к стенограмме беседы с директором телевизионного ателье в Братиславе Ондрой Янеком.

«Вопрос. Где вы находились в феврале — марте 1945 года?

Ответ. В составе партизанского отряда майора Бенека в Словацких Татрах.

Вопрос. Расскажите о вашей последней боевой операции.

Ответ. Мы прикрывали отход отряда в районе Кропачева. Пять человек — я, Големба, Водичка, Митич и Сахаров.

Вопрос. Вы лично видели в бою Сахарова?

Ответ. Он находился на огневой позиции в трех метрах от меня. Мы держались около часа, пока нас всех не перебили каратели. Я был тяжело ранен, лежал без сознания, и гитлеровцы сочли меня тоже убитым.

Вопрос. Сахаров не менял позиции во время боя?

Ответ. Нет. Михал был убит первым, и я занял его позицию.

Вопрос. Вы были уверены, что он убит?

Ответ. Пуля попала в глаз и размозжила затылок.

Вопрос. Можно ли было узнать его после смерти?

Ответ. Конечно. Лицо его не очень пострадало».

— Спасибо, Ондра. В своем братиславском ателье ты взял сейчас за горло еще одного фашистского выродка, который думает, что ушел от возмездия.

Последние слова я невольно произношу вслух и тотчас же слышу ответный возглас Ермоленко:

— Не ушел и не уйдет, товарищ полковник! Фактически он изобличен, и мы накапливаем свидетельства уже не столько против него, сколько против его псевдоматери.

Соображает Ермоленко. Это и есть направление нашего главного удара. Именно здесь должна быть про-

рвана оборона Волошина — Гетцке. Если про-
рвем — всё!

— Трудная старуха, — продолжает Ермоленко, — хитрая и расчетливая. Ничего от сердца, от чувства — все от рассудка, расчета. Это не только мое впечатление. Ни один сосед, с кем бы я ни говорил, доброго слова о ней не сказал. Надменна, хвастлива и жадна. Летом и осенью на крылечке спит, чтобы в сад никто не забрался. Охотничье ружье у нее для этого есть — солью заряжено. Я, правда, не видел, но соседи уверяют, что есть.

— Сплетни, возможно.

— Может, и сплетни. Только в поселке ее никто не любит, и она никого. Все у нее кляузники да пакостники. «Неужто все?» — спрашиваю. «Все, батюшка, все. Клубника у меня уродится, так норовят какую-нибудь гадость подбросить, спелу ягоду попортить». — «И ваш сын, — говорю, — потому ни с кем здесь не знается?» — «Потому, батюшка, потому что порядочному человеку с подонками говорить не о чем. Не того огорода капуста».

— Так и разговаривала?

— Именно так. Этакая гоголевская Коробочка, только тощая, как палка от щетки. На слова не скупится, а ни одному слову не веришь. «Мать я отзывчивая, сына не беспокою, от дела не отрываю, рада и минутке, какую мне уделит...» Прямо этикетка с консервной банки. На этикетке — материнская нежность, а в жестянке — сберкнижка. Только на последних минутах открылась — человеческим языком заговорила. Злым, но искренним. Я ее еще раз о подарках сына спросил. «А это вас, — говорит, — совсем не касается и отношения к мужеству советских военнопленных не имеет. И вообще не кажется ли вам, что наш разговор несколько затянулся? — И, прямая, не сгибаясь, подходит к двери, распахивает ее и, указывая перстом на крыльцо, цедит сквозь зубы: — Прошу!»

Тут Ермоленко вздыхает и грустно заканчивает:

— Вот где у вас закавыка, как говорит майор Корецкий, а не в сходстве или различии почерков и лиц. Тут лицо ясное, замороженное. Для такого коловорот нужен, а не простое человеческое слово. Трудный у вас разговор будет, Александр Романович.

— Боюсь, что да.

— Когда встреча?

— Думаю, сегодня.

— Прочтите мой доклад Николаю Артемьевичу. Там все подробно изложено.

— Прочту обязательно. Хотя майор Корецкий уже по телефону мне все изложил. Во всяком случае, главное.

В этот момент щелкает дверная ручка, и я слышу голос Корецкого: «Входите, Иван Тимофеевич». В комнату протискивается кряжистый, бритоголовый, моих лет человек с рабочими, неотмываемыми от масла и смазки руками. Он явно не знает, куда их девать: в карманы неудобно, за спину несподручно, по швам не положено. Ему бы гаечный ключ да пассатижи в привычные пальцы, а тут приходится, как газетчику, рассказывать да писать.

— Бугров Иван Тимофеевич, — представляется он. Я приглашаю его сесть.

БУГРОВ ВСПОМИНАЕТ

— Ну что ж, начнем, Иван Тимофеевич, — говорю я, включая магнитофон.

Бугров смущается.

— Я ведь уже рассказывал все как было, товарищ следователь, товарищу Ермоленко рассказал. Боюсь, как бы не напутать чего.

— А вы не бойтесь, Иван Тимофеевич, — успокаиваю я его, — рассказ ваш нам очень пригодился, а сейчас я официально допрашиваю вас как свидетеля по делу Волошина — Гетцке.

— Закурить можно? — спрашивает Бугров, неловко шевеля пальцами: ему явно не нравится слово «допрашиваю».

— Курите и не смущайтесь. Вот, взгляните, пожалуйста, — я раскладываю перед ним несколько фотографий. — Узнаете кого-нибудь?

Бугров долго смотрит на карточки, потом выбирает сахаровский, говорит неуверенно:

— Вот этот вроде на Мишу Сахарова походит. Здорово походит, а все ж не он. Что-то не то, чужое, не могу понять что, но лицо другое...

— Где вы познакомились с Сахаровым Михаилом Даниловичем?

— В седьмом бараке лагеря для советских военнопленных в горной Словакии, в районе Гачево-Мяты. Бы-

ло это в августе или в сентябре сорок четвертого года. В конце лета. Сахарова вместе с транспортом других заключенных перевели из концлагеря, эвакуированного в связи с наступлением Советской Армии. Выглядел он измученным, но держался бодро. Не то чтобы страха или подавленности, даже душевной тоски, которой там многие наши болели, я у него не заметил. Вот эта внутренняя гордость советская, которую не истребили ни унижения, ни каторжный труд, и возмущала лагерное начальство. Из пяти месяцев пребывания в лагере он половину в карцере просидел. Только однажды вдруг что-то переменялось.

— В нем?

— Нет. В отношении к нему. Меньше стали приди-
раться на выработке, меньше теребили в бараке. Он сразу подметил перемену и сказал мне: «Не к добру это, Ваня. Должно быть, отправят скоро в небесную рейхс-
канцелярию». Однажды наш капо, подлец, из уголовни-
ков, дезертир из штрафной роты — Мохнач мы его называли, — направляет его к коменданту. Конец, ду-
маем. Жду его, а сердце болит: увидимся ли? А он и
вернулся. «Ну что, — спрашиваю, — били?» — «Нет, —
говорит, — пальцем не тронули. Только непонятный был
разговор: пытали меня о том, о сем, а зачем, неизвес-
тно». И рассказал, что сначала нечто вроде медицин-
ского осмотра прошел. Всего осмотрели, а шрам на лице
даже сфотографировали — именно шрам, а потом уже
все лицо и в фас и в профиль, хотя карточки наши в
лагерной картотеке уже имелись. А тут даже в рот за-
глянули, все зубы пересчитали, какие остались. И все
требовали: «Говори правду, а не то в расход». Может
быть, они и по-другому это называли, это я Мишины
слова по-своему переиначиваю, а смысл тот. Все чтобы
по правде. Сахаров, конечно, удивляется: «Зачем все
это вам? Если шпионом хотите сделать — не выйдет.
Родину не продам». А они смеются: «Нет, шпионом ты
нам не нужен, просто мы ищем среди вас людей, кото-
рых Советская власть обидела». — «А меня, — говорит
Сахаров, — она не обижала». — «Так, может быть, —
спрашивают, — родные тебя обижали?» — «А родных
никого у меня нет, — говорит Сахаров, — кроме мате-
ри. Строгая, — говорит, — была, резкая, шалостей не
прощала, но мать — это мать, и обижаться на нее не
следует». Тут они, как он рассказал, потрещали меж

собой по-немецки и сказали, чтобы в барак возвращался.

— А кто был на этом допросе в комендатуре, Сахаров не рассказывал? — спрашиваю я у Бугрова.

— Сейчас уже не помню, — признается он. — Кажется, кто-то из лагерного начальства и какие-то чужие штурмфюреры — не знаю я их званий, — те же бешеные собаки в черных мундирах. Сахаров только вскользь о них упомянул, уж очень удивил его самый допрос.

— А после допроса что было?

— Ничего. Все как будто по-прежнему. Та же мука мученическая на выработке и в бараке, и тот же брандахлыст на еду, та же солома на подстилку. А когда его в карцер опять посадили, Миша даже обрадовался. «Слава богу, — говорит, — никаких перемен не будет». Вернулся он дня через три, вид прежний, как у загнанной кобылы, чуть с ног не валится, только с лица опять смурной, недоверчивый. «Не пойму, Ваня, — говорит, — их механики. И карцер не прежний, теплее как будто, и солома на полу, да и не один я в карцере, а с парнем, одних лет со мной, в плен попал, говорит, под Харьковом. С тех пор, как и я, в лагерях мытарится. Штангу до войны выжимал, а сейчас, смеется, вешалкой стал». Про вешалку, я понимаю, он для красивого словца сказал, потому что, по словам Миши, выглядел, по нашему положению, сытно. Миша даже подумал, что подсадную утку ему подкинули, а потом усомнился. На побег не подговаривает, о товарищах не расспрашивает, а болтает все о родной Одессе-маме, где он родился и вырос. О школе рассказывает, об улицах, о море, даже скумбрию копченую вспомнил. Ну, Сахаров и отошел. Тоже стал вспоминать и о доме рассказывать. Не понравился мне этот разговор в карцере: зря говорил Миша, расчувствовался. А вдруг все-таки одессит этот действительно утка подсадная? Но Сахаров не поверил. «А что, — говорит, — он от меня выведал? Как я пять двоек за один день домой принес, как на рынке мясо рубить учился — где кострец, где огузок — или как у матери цветные карандаши стащил да на рынке продал. И, честно говоря, Ваня, это я матери соврал, что карандаши продал, а на самом деле одноногий Верке подарил — на костылях она ходила, поездом ногу отрезало. Да только одесситу этого не рассказал, не захотелось как-то. Вот и

вся моя информация — поди, мол, стучи. Нет, — говорит, — Ваня, не стукач он, не паразит, а такой же, как и мы, горемыка».

То, что рассказал сейчас Бугров, бесценно, и я немедленно его прерываю:

— Давайте уточним, Иван Тимофеевич. Итак, Сахаров рассказал одесситу про пять двоек, заработанных за один день в школе, про то, как мясо рубить учился и как цветные карандаши у матери стащил и на рынке продал?

— Точно.

— А вам сказал, что карандаши не на рынке продал, а больной девочке подарил?

— Точно. Именно так и сказал.

— Ну а потом?

— Потом страшно было. Два десятка заключенных из нашего барака, в том числе и меня с Мишей, включили в партию смертников. Значит, так...

Я слушаю тихий рассказ Бугрова не прерывая. Не новая, но всегда страшная история массового истребления людей, у которых уже отняли все, кроме жизни. Теперь отнимали и жизнь. Печей в лагере не было, захоронение в скальном грунте требовало больших запасов взрывчатки, сжигать штабелями тоже было невыгодно: человек горит долго, нужно топливо, а горючее в «третьей империи» уже стали в те дни экономить. Предназначенных к ликвидации наиболее истощенных и уже неспособных к работе людей пересылали специальными эшелонами в концлагерь побольше, где и сжигали их в специально оборудованных лагерных топках. В такой транспорт попали и Сахаров с Бугровым. Он рассказывал об этом нескладно, но образно. Я почти сам ощущал эту грохочущую тьму на колесах, смрад от набитых на грязных нарах, как спички в коробке, невымытых, некормленных, нездоровых людей, их тяжелое свистящее дыхание, эту мучительную ломоту в костях, ледяной холод не топленного в январскую стужу вагона. Я почти видел вырезанную самодельным ножом дыру в основании вагона, ее полуобрубленные, полуобломанные края, ее рябящую пустоту, позволявшую человеку броситься в межрельсовую гремющую тьму, не зацепившись о края выреза. Кто-то не рискнул броситься: слишком страшно, да и все равно помирать. Кто-то прыгнул не раздумывая по той же причине: все равно помирать. Выпрыгнуть из

вагона удалось всем рискнувшим — охрана ничего не услышала и тем более не увидела в темноте безлунной январской ночи, но спаслись далеко не все. Многие так и остались лежать на скальном грунте. Бугров ушибся, но встал, нашел без памяти лежавшего Сахарова; к счастью, и тот ничего не сломал и не вывихнул. Потом к ним присоединились еще четверо, и всю ночь шли они по горной тропе ощупью, цепляясь за кусты и спотыкаясь о камни. Двух в темноте потеряли — должно быть, свалились где-то без сил, а остальные еще полдня карабкались по горному обледеневшему склону, пока не наткнулись на партизанский патруль. Обогрелись, привыкли, прижились. Мало-помалу преодолели и языковой барьер, благо язык-то ведь тоже славянский, что-то в нем и так было понятно, без перевода. Воевали умело, профессионально, заслужив одобрение и уважение новых друзей. Эту часть рассказа Бугров почти скомкал, даже на скороговорку перешел, и его можно было понять: война всюду одинакова, если ею движет ненависть к твоим поработителям.

— Вы и в отряде вместе держались, Иван Тимофеевич?

— Точно. Всегда рядышком, как свояки.

— Ну и как, грустил он по дому, вспоминал что-нибудь?

— Кто из нас не грустил тогда, товарищ следователь? За тысячу верст от дому — заплачешь, когда друзей да любимых вспомнишь. У меня вот невеста была...

— А у Сахарова?

— Не было у него невесты. Рассказывал, что всегда был замкнутым парнем, больше интересовался книжками, а не девушками. Нравилась ему какая-то дивчина в полку, но даже ее имени не назвал.

— А о матери вспоминал?

— Не было у него матери.

Я недоуменно переглядываюсь с Ермоленко и Корецким. Реплика Бугрова настораживает. Что он хочет этим сказать?

— А эта, которая в Апрелевке, не мать, а мачеха. Мать-то от родов умерла, а в метрику соседку вписали, учительницу. Как и почему это вышло, Сахаров не знал. Может, потому, что учительница эта за его отца замуж хотела выйти и ребенка на свое имя взяла, чтоб привязать крепче. Жадная до денег всегда была, а отец Ми-

ши много зарабатывал на фабрике граммофонных пластинок. Разбирал, говорит, на антресолях старые отцовские бумаги и нашел письмо его из больницы к жене. Заражение крови у него тогда определили, оттого и умер. А в письме написал, чтоб мальчишку берегла, правды ему не открывала, что, мол, это и ему и ей хорошо. У него будет мать, а не мачеха, а у нее — сын, на которого в летах и опереться можно. Миша даже зубами скрежетал, когда рассказывал.

Ценность того, что говорил Бугров, определялась не новизной или неожиданностью, а тем, что он полностью раскрывал характер Анфисы Егоровны Сахаровой и психологические мотивы ее преступления. Не только жадность к деньгам побудила ее признать сыном чужого и, несомненно, опасного человека и не только его вероятный шантаж утвердил ее в этом признании, но и трезвый расчет, что ее слово — слово матери — всегда будет решающим в споре о личности сына, но и равнодушие к судьбе пасынка, который, как она знала от Гетцке, был сожжен в топке гитлеровского концлагеря.

— А не говорил ли вам Сахаров, как она реагировала на его открытие?

— Он не сказал ей: испугался, что выгонит. А куда ему деваться в пятнадцать лет без паспорта и без денег? Так и жили как кошка с собакой: она помыкала, он терпел. Потому и просил меня ей передать, чтобы подарков не ждала от него, а я, честно говоря, был даже доволен, что не застал ее в Апрелевке, когда приезжал к Хлебникову. Ну а рассказывать ему обо всем не стал: не близкий он Сахарову человек, не его дело.

— Значит, псевдосын так и не знает, что он псевдопасынок? — говорит Корецкий.

Я доволен.

— Еще одно преимущество в нашей беседе с Анфисой Егоровной. — Я смотрю на часы — половина девятого. Есть шанс, что еще успею попасть в Апрелевку и наверняка застану ее у телевизора.

— Магнитофон возьмете?

— Зачем? Мы просто поговорим. По душам. А магнитофон включим, когда мадам будет у нас на допросе сидеть.

Я без плаща, в штатском, даже без головного убора. Самый подходящий вид для разговора по душам с «пиковой дамой».

Большая комната, торшерный сумрак, цветной экран телевизора, обстановка «жилой комнаты», чешская или финская, не знаю, но, по-видимому, не так давно купленная. Хозяйка дома стоит передо мной в длинном домашнем халате, высокая, голубовато-седая, как говорят, хорошо сохранившаяся для своих лет, но очень уж прямая и угловатая. Лицо строгое, даже суровое, с синеватой складкой ненакрашенных губ и действительно пронзающими насквозь глазами. Она возвращает мне мое служебное удостоверение и не играя в безразличие, а искренне безразлично спрашивает:

— Где же ордер?

— Какой ордер?

— На арест или на обыск.

— Вы меня не поняли, Анфиса Егоровна. — Я стараюсь быть любезным, хотя и с оттенком суховатости. — Я к вам по делу, очень важному и для меня и для вас, визит неофициальный, необходимость поговорить.

— Значит, допрос?

— И опять ошиблись, Анфиса Егоровна. Просто разговор по душам, без протоколов и записей. Виноват, что потревожил вас поздно, но вы, как я вижу, еще не ложились спать. И телевизор включен. Кстати, вы его выключите, он нам не понадобится.

— Тогда снимите пиджак и садитесь к столу.

— Зачем же пиджак? — удивляюсь я. — Неловко как-то, я в подтяжках, неэстетично. Да у вас и нежарко.

— Но и нехолодно. И пусть без эстетики, зато без всяких записывающих приборов — не знаю, что у вас там в карманах. Повесьте пиджак вон на тот гвоздик, от стола подальше.

Я повинуюсь и возвращаюсь к столу; хорошо еще, что подтяжки импортные — белые, как у гимнастов на снарядах: этакий пожилой тренер между двумя занятиями.

— Что же вас интересует? — спрашивает она, оставаясь и на стуле такой же прямой и жесткой. Великолечно «держит спину» — сказал бы о ней хореограф.

— Меня интересует ваш сын после его возвращения с войны, с первого появления в этом доме, с первых минут вашей встречи.

— Я бы хотела знать, почему это вас интересует.

— Я объясню несколько позже. А сейчас попрошу ответить: как прошла ваша встреча? Сразу ли вы узнали его? В чем-то он изменился, что удивило или смутило вас? Каков был, так сказать, эмоциональный тонус этой минуты?

Она недоуменно пожимает плечами.

— Станный вопрос. Очень странный. Встретились как мать и сын после долгой разлуки. Эмоциональный тонус? Смешно. Я уже и на возвращение его не надеялась. А что удивило? Ничего не удивило. Ну, повзрослел, почернел, отрастил бороду, но как может близкий человек остаться неузнаваемым?

Я вспоминаю слова Ермоленко о двуличности Сахаровой и об ее «речевой манере» с подделкой под народный говор. Двуличность сразу же подтверждается: речевая манера уже совершенно другая. Сейчас это действительно бывшая учительница, трезво мыслящая, с быстрой реакцией и привычной ей речью вполне интеллигентного человека. Ермоленко она не разгадала, а я сй сразу открылся, ну и сообразила, конечно, в какой манере ей вести разговор.

О Ермоленко, между прочим, и она вспомнила.

— О встрече с сыном я уже, кстати, рассказывала. Спрашивал меня тут один. От вас или из газеты.

— Возможно. Только нынешний ваш рассказ странно не совпадает с рассказом вашей соседки, Аксеновой. Она была невольным свидетелем этой встречи — выстиранное белье развешивала на смежном заборе. По ее словам, вы встретили сына на крыльце, удивленно спросили: «Что вам угодно?» — «Мама! — воскликнул он. — Я же Миша, неужто не узнала?» Вы долго всматривались, не спускаясь вниз, потом сказали: «Странно. И голос не узнаю». — «Это у меня после контузии», — пояснил он, взбежал по ступенькам, обнял вас и втолкнул в дверь. Аксенова твердо уверена, что все произошло именно так.

— А вы знаете, кто такая Аксенова? Первый кляузник и доносчик в поселке. Ее кляузы уже надоели всем и в милиции и в райкоме.

— Зачем же ей лгать в данном случае? Никакого смысла и никакой выгоды.

— Смысл один — сделать гадость, — брезгливо цедит Анфиса Егоровна. — И едва ли вас украшают поиски информации на помойке. Да и зачем, собственно,

эта информация? Почему ваше ведомство интересуют такие детали, как радостный смех или возглас удивления при встрече? И какая разница в том, узнала ли я сына сразу или спустя две минуты, на крыльце или в доме?

— Потому что мы располагаем сведениями, что ваш так называемый сын, Михаил Данилович Сахаров, совсем не то лицо, за которое себя выдает.

Она не удивлена, не испугана, только чуть-чуть вздернула брови. Великолепная выдержка: получила телеграмму от Сахарова и соответственно подготовилась.

— Для серьезного разговора, по-моему, совершенно несерьезная постановка вопроса. Вы говорите матери, что ее сын не сын, а чужой дядя. Цирк.

Отвечаю тем же:

— В основе вашей бравады — неправда. Человек, который называет себя Сахаровым, во-первых, не Сахаров, во-вторых, не ваш сын.

— Бред. Я не слепа, не глуха и психически нормальна.

— И все-таки не вы его мать.

— А кто же, по-вашему?

— Рискну сказать правду. Нам известна его настоящая мать. Это Мария Сергеевна Волошина. Живет в Одессе и может дать показания.

Сахарова по-прежнему «держит спину». Ни тени смущения.

— Значит, еще не дала показаний. И не даст, если не идиотка. Проиграет иск в любой судебной инстанции. Конечно, я понимаю, что спрашиваете здесь вы, а не я. Но разрешите все-таки спросить: что общего у взыскателя алиментов с задачами государственной безопасности?

— Речь идет не о взыскании алиментов, что вы сами прекрасно понимаете, — говорю я, вкладывая в слова всю необходимую здесь суровость. — Речь идет о розыске преступника.

Гражданин СССР, проживающий в Москве с паспортом Михаила Даниловича Сахарова и называющий себя вашим сыном, на самом деле Павел Волошин, русский по национальности, одессит по месту рождения, эмигрант по личному выбору, нацист по убеждению, сумевший сменить русскую фамилию Волошин на немецкую Гетцке, гауптштурмфюрер по званию в годы немецко-

фашистской агрессии, гестаповец по месту работы и палач по призванию, на совести которого сотни жертв — повешенных и расстрелянных, угнанных на каторжные работы в Германию и просто замученных пытками в одесском гестапо. Еще в конце войны была подготовлена переброска Волошина — Гетцке в СССР под видом бывшего военнопленного Сахарова, что и удалось ему при вашем вольном или невольном содействии.

— Но где же тогда мой настоящий сын? — Она задает этот вопрос с легким оттенком иронии, так, чтобы не подумали, что она поверила.

Но я уточняю и уточняю.

— Гетцке и его хозяева полагают, что Сахарова сожгли в лагерной топке. Его и должны были сжечь. Но ему удалось обмануть палачей и бежать. О побеге случайно никто не узнал, а его, истощенного и больного, подобрали и вылечили партизаны Словакии.

— Он жив?

— К сожалению, убит.

— А почему я должна этому верить?

Я вынимаю уже известные мне фотокарточки из папки Корецкого — снимки Сахарова, средний и крупный план, и обелиск с его именем на Братиславском шоссе.

Она долго и внимательно рассматривает фотографии.

— Может, это какой-нибудь другой Сахаров? Может быть, даже не русский, словак? Тут написано не Михаил, а Михал.

— Так его называли в отряде.

— Еще раз повторяю: почему я должна этому верить?

— Дополнительные аргументы потом. Прежде всего сходство.

— Оно не убеждает. Похож, но не очень.

Я кладу перед ней снимок Сахарова из комиссионки.

— Этот более похож?

— Конечно. И шрам заметнее.

— А если этот шрам только результат косметической хирургии?

— Докажите.

— В свое время и это будет доказано.

— В свое время. А пока вы ничем не доказали, что этот Сахаров с памятника и есть мой настоящий сын. Кто, кроме матери, может знать это? Чей голос для правосудия будет весомее ее голоса?

— Есть такой голос, Анфиса Егоровна. Есть. Голос близкого друга и боевого соратника. Есть свидетель, лично знавший Михаила Даниловича, знавший все о нем и о вас, — друг, которому ваш сын перед своим последним боем поручил разыскать вас в Апрелевке и передать свой прощальный привет. Неужели же вы и теперь не верите?

Она молчит. Глаза опущены. Лихорадочно подыскивает новый контраргумент или готова сдаться?

Нет, не готова.

— А этот свидетель уже видел моего Мишу?

— Пока еще нет. Но, несомненно, увидит.

— Это у вас называется опознание? Допустим, что оно состоится. Допустим, что ваш свидетель не узнает в моем сыне своего Сахарова. Но кому же поверит суд? Родной матери, знающей своего сына добрых полсотни лет, или какому-то постороннему человеку, рассказывающему байки о другом постороннем человеке, лично мне неизвестном, но почему-то именуящем себя моим сыном? Может быть, кому-то в лагере было выгодно назваться Сахаровым? Может быть, мое имя, адрес и какие-то детали биографии сына он узнал от него самого. А если все это лишь авантюра, смысл которой сейчас уже едва можно раскрыть? Где-то убит и похоронен неизвестный мне человек под именем Сахарова. Есть его имя на камне и свидетельство другого, неизвестного мне человека. Но почему я должна верить, что убит и похоронен мой сын, когда он уже четверть века живет и работает рядом? Смешно. У живого человека появился мертвый двойник. Человек-невидимка. Поручик Киж.

— У этого поручика вполне реальная внешность, так что не будем гадать, кому поверит или не поверит суд, — говорю я, укладывая фотокарточки в папку.

— Хотите чаю? — вдруг спрашивает она. — Я сейчас подогрею чайник. Он еще теплый.

— Не откажусь. Разговор наш не окончен.

— А зачем его продолжать? Не к чему. Попьем чайку и расстанемся. Мне вы ничего не доказали. Доказывайте на суде.

— На суде мы предъявим вам обвинение в пособничестве государственному преступнику.

Она смотрит на меня в упор немигающими злыми глазами. Какая сила воли у этой женщины и как боялись ее, должно быть, и дети и учителя.

— Прежде чем предъявить обвинение мне, вы должны арестовать моего сына, предъявив обвинение ему. А если вы добиваетесь от меня выгодных вам показаний, значит, оснований для его ареста нет.

— Ваши показания могли бы только ускорить дело, а оснований для ареста у нас достаточно.

— Каких? Что у вас есть, кроме этих неубеждающих фотографий, сплетен соседей и сомнительного свидетельства о бывшем русском военнопленном, явившемся в партизанский отряд без документов, назвавшемся именем Сахарова и не оставившем после своей смерти никаких юридических доказательств того, что он якобы говорил вашему подставному свидетелю?

Не сдается старуха. Может быть, я ошибся, неверно повел разговор, допустил какие-то просчеты, чего-то не предусмотрел? Сахарова по-прежнему убеждена, что ее материнский авторитет прикрывает ее Гетике несокрушимым щитом. Ну что ж, попробуем еще раз крепость щита.

— Хотите доказательств? У нас они есть, со временем мы вам их предъявим. А пока у нас, как говорится, беседа по душам.

— Никакого желания продолжать ее у меня нет. Вздорные обвинения в адрес честного человека...

— Вы о Сахарове? А между тем этот честный человек сам узнал меня и откровенно и цинично признался, что вы — его верный друг и союзник.

— И этому тоже прикажете верить?

— Пока я вам ничего не приказываю.

— А разговор, конечно, протекал без свидетелей и никак не записывался?

— Как и наш с вами.

Она усмехается.

— Что ж, продолжайте.

— Все это бравада, конечно, — он напуган. Об этом говорит и его отчаянная телеграмма вам. Не делайте удивленных глаз, мы знаем ее содержание и знаем, что вы ее получили. Поэтому и ваше упорство не удивляет. Оно вытекает из того, что произошло между вами.

— Вы, как господь бог, все знаете.

— Если не знаем, так догадываемся. Хотите, я вам расскажу, как вы стали его сообщницей? Сначала вы его не узнали: борода, голос, глаза, манеры — все другое. Не мог так перемениться мальчишка, ушедший из

дома пять лет назад. Но он напомнил вам многое, чего не мог знать никто другой, кроме Миши. Смеясь, он вспомнил о пяти двойках по всем предметам за один день, о том, как разделявал говядину и свинину на рынке, как продал там украденные у вас цветные карандаши...

— Вы действительно бог.

— Все совпадает, да? А между прочим, Сахаров все это сам рассказал Волошину — Гетцке, посаженному к нему в лагерный карцер. Многое рассказал о себе, и эти байки в частности. Только не все рассказал: карандаши, например, не продал, а подарил больной девочке. Так что мы знаем даже больше, чем ваш псевдосын. Вас подкупил его рассказ, а главное, подарки — два чемодана продуктов и тряпок. Вот тут-то и погасли ваши сомнения; не все ли равно, какой сын — похожий или непохожий, зато щедрый и уважительный. О вражеском лазутчике вы даже и не подумали, «шпионская» литература еще не появилась тогда на книжном рынке. А когда сомнения вновь возникли и укрепились, было уже поздно: щедрый сын предстал в роли умудренного шантажиста. На явку с повинной вы не решились и потянули лямку сообщницы. Страх заглушил последние остатки совести: вы понимали, что Гетцке не пощадил бы свое прикрытие, если б хоть чуточку в нем усомнился. Вот вам и сказка о доброй бабушке и тороватом волке.

Она отодвигает чашку с остывшим чаем и встает из-за стола такая же прямая и угловатая.

— Кстати, последний поезд уже ушел.

— У меня машина. — Я тоже встаю.

— Где сейчас Миша?

— На теплоходе. Завтра мы с ним увидимся.

— Передайте привет от матери.

И тут я наношу ей последний удар:

— А не от мачехи?

Она вскрикивает:

— Что?! — И вскрик этот ломает «палку от щетки», спина уже согнута, голова ушла в плечи.

— Вы же не родная мать Михаилу Сахарову, и он знал об этом.

— Неправда!

Она потрясена. Для нее уже ясно, что мы многое знаем и продолжать лгать рискованно. В глазах откровенный испуг, может быть, потому, что открыта не столь

существенная для нее, но, как ей казалось, наиболее сокровенная тайна.

— К сожалению, для вас правда, Анфиса Егоровна. Михаил прочел письмо отца из больницы, которое тот писал вам перед смертью, — холодно разъясняю я.

Вздых облегчения:

— Этого письма давно уже нет.

— Но еще живы соседи, которые знают, как было вписано ваше имя в свидетельство о рождении Сахарова. Легко узнать и о смерти его настоящей матери.

Мы оба молчим: она — взволнованно, я — выжидательно. Наконец она подыскивает какие-то нужные ей слова.

— Допустим, что вы правы. Но какая разница для вас, сын он мне или пасынок? Я его с пеленок вырастила.

— Разница есть, увы. И неожиданная для вас. Подлинный Сахаров знал об этом, а фиктивный не знает. Так что подумайте обо всем, Анфиса Егоровна. До свидания.

Она останавливает меня, что-то решившая, снова спокойная.

— А свидание это состоится, вероятно, у вас на Лубянке?

Я не разубеждаю ее.

— Вот тогда и поговорим. Я буду отвечать, а вы — записывать. А разговора по душам, извините, не вышло.

Меня она не провожает. Я иду по дорожке к калитке расстроенный. Не буду же я уверять генерала в том, что это победа....

ВОЕННЫЙ СОВЕТ

Но генерала уверять не приходится.

— Конечно, это совсем не победа, — резюмирует он мой доклад.

Генералом мы его зовем за глаза, а в глаза — Алексеем Петровичем. Нас же он называет по-разному. Меня — Романычем (сколько лет прослужили вместе), Корецкого — по фамилии, Ермоленко, как младшего, — просто по званию. Когда сердится, по званию обращается ко всем подчиненным.

Сейчас он не сердится. Он размышляет.

— Ты рассчитывал на большее, но расчет обернулся просчетом.

— Крепкая старуха, — вставляет Ермоленко.

— Не люблю жаргона, старший лейтенант. Избегайте его хотя бы в моем присутствии, — морщится генерал. — Но кое-чего мы все-таки добились. Сахарова смущена, пожалуй, даже испугана. Доказательств так много, и весомость их столь ощутима, что отвергнуть их с маху трудно. И прочность «материнского авторитета» уже не кажется ей такой уж бесспорной. В конце концов, она, конечно же, понимает, что ей грозит. Кстати, в обоих случаях — признается она сейчас или позже — ответственности ей все равно не избежать. Это она уже поняла. Но понимает и другое. Даже если мы и докажем сообщничество, она в любом суде добьется смягчения приговора: обманулась, мол, сходством, сыновней почтительностью, его знанием их довоенной жизни. Ей и о шантаже говорить не нужно. Если Гетцке ее не продаст, то версия «обманутой матери» пройдет даже у самого строгого прокурора: много ли можно требовать от старого человека, особенно когда ему уже семьдесят с лишним лет. Так зачем же признаваться сейчас, когда мы сами даем ей отсрочку? Преступник еще не арестован, может быть, ему посчастливится скрыться. Ведь не исключена такая возможность. Даже вы сами об этом подумали, ну а ей и бог велел. Скроется Гетцке — «обманутая мать» обманет любого следователя.

— Значит, Алексей Петрович, ты считаешь, что я допустил просчет?

— Ты просчитался в цели, а не в средствах. Средства правильные. Откровенный разговор, систематизация доказательств, точный анализ соединенного — и цель достигнута. Только не та цель. Ты рассчитывал сразу закончить дело. Одним росчерком. А дело-то далеко не закончено. В нем, как в драматическом произведении, есть своя завязка, экспозиция, кульминация и развязка. В пять дней подошли к кульминации. Но развязки еще нет. И где ее сделать, когда и как — вот об этом и надо думать.

У Ермоленко уже готов ответ:

— Где? Здесь. Летим в Новороссийск, берем Сахарова. В Москве допрос. Медицинское исследование происхождения шрама. Оpozнание. Очные ставки.

— С кем? — спрашиваю я.

— Хотя бы с Волошиной и Бугровым.

— Волошину я бы не стал беспокоить. Я хорошо знаю Марию Сергеевну. Она нам не поможет. Не подпишет смертный приговор сыну.

— Резонно, — поддерживает меня генерал. — Кстати, от нее уже получен ответ. Я перехватил его, не обижайтесь. Волошина из предъявленных фотографий выбрала оценщика из комиссии, именно он, по ее словам, больше похож на ее сына. Но категорически подтвердить тождество отказалась: борода, шрам, тридцать лет не видела, привыкла к мысли, что он погиб, и все такое прочее. Для нас существенна лишь первая реакция — почти опознала сына в нашем борода-том клиенте. На большее рассчитывать не приходится. Да и без Волошиной у нас достаточно объективных свидетельств. А с Бугровым как: сначала арест Сахарова, а потом опознание?

Я много думал об этом. Арестованный Гетцке станет отчаянно обороняться. Его знали в Одессе, видели в лагере, изучали на проверке после возвращения из плена. Кто-нибудь уцелел из его гестаповской агентуры, жив кто-то из сахаровских довоенных друзей, однополчан, лагерных однобарачников. На допросах и очных ставках Гетцке будет психологически вооружен и на встрече с Бугровым найдет защиту. Нашла же ее Сахарова, не раздумывая опорочившая и сына, и его боевого товарища. Гетцке же наверняка придумает еще более тонкий и расчетливый ход. Значит, встречу с Бугровым в интересах следствия лучше будет провести до ареста. На теплоходе. В самую неподходящую минуту, когда Пауль психологически расслабится. Такую минуту можно заранее подготовить, а ее эмоциональную окраску симпровизировать. Тут и должен сыграть свою роль, не может не сыграть эффект неожиданности.

Так я и поясняю свой план генералу.

— Добро, — ободряет он меня, — есть резон.

— Есть еще резон, Алексей Петрович. Но у нас с Корецким тут согласия нет. Майор предлагает арестовать Сахарова на теплоходе сразу же после опознания его Бугровым.

— А ты возражаешь?

— Возражаю. И вот почему...

— Погоди, — останавливает меня генерал и к Корецкому: — А где вы держать его будете?

— На теплоходе найдем помещение, Алексей Петрович.

— А где охрану возьмете?

— Там у нас два оперативных работника из батумского управления.

Генерал задумывается и снова ко мне:

— А почему возражаешь?

— Я предлагаю отсрочить арест до прибытия в Одессу. Сбежать ему некуда — от Новороссийска до Одессы нет остановок. А на борту круглосуточное наблюдение. Два батумских чекиста дежурят по очереди.

— Слишком уж хитроумная затея. И что она даст?

— Он уже растерян, психически подавлен и напуган. В Батуми пытался всеми способами попасть в Москву раньше нас. Чтобы встретиться с Сахаровой, может быть, даже ликвидировать ее и скрыться — в Москве у него, вероятно, есть такая возможность. Но оперативность и находчивость батумских товарищей предотвратили побег. А вчера я предупредил, что в случае появления его на берегу он будет немедленно взят под стражу. Так что пребывание его на борту теплохода пока гарантировано. Но отсрочка ареста дает и надежду. Он великолепный пловец и вблизи берегов Одессы может рискнуть вплавь добраться до любого из прибрежных городков или поселков, а там поездом или с попутной машиной скрыться где-нибудь поблизости, может быть, даже податься в глубинку. Шанс, конечно, минимальный, один из ста, но он обязательно им воспользуется: он у него единственный. Тут-то мы его и возьмем.

Корецкий уже не спорит, и «добро» генерала завершает наш военный совет. Утро уже позади, до отлета самолета часа полтора, решаем встретиться и пообедать на аэровокзале.

Бугров дремлет за столом, мужественно прогоняя сон кофе и сигаретами.

— Не выспался, — извиняется он, — плохо спал на новом месте. Бессонница.

— В самолете выспитесь, — утешает его Ермоленко.

В самолете наши места не рядом, поэтому инструктирую Бугрова тут же за обедом:

— На теплоходе, как только войдете, Иван Тимофеевич, подымайтесь лифтом на палубу салонов, смело шагайте по коридору до первой открытой двери. Это или курительная, или бар. Там мы вас и найдем, пока не

обеспечим места для вас и Ермоленко. Запомните твердо: на теплоходе мы незнакомы, не замечайте меня и не подходите, пока я не позову вас сам. Связь поддерживаем через Ермоленко.

К теплоходу на причал в Новороссийске прибываем в пятом часу. Жарко. Летнее кафе морвокзала почти пусто, и только у грузовых отсеков нашего черно-белого красавца рабочая суeta. Грузовые лебедки тянут на тросах какие-то контейнеры и бочки. Плывут в воздухе «Москвичи» и «Волги» пассажиров — их переправляют после вояжей с кавказских дорог через Новороссийск в Одессу. У поручней на верхних палубах теплохода никого — послеобеденный отдых.

Подымаюсь на лифте один, оставляю следующую кабину Ермоленко и Бугрову. Не нужно, чтобы нас видели вместе. Только бы не налететь на Тамару или Сахарова... Но путь свободен. Ермоленко не дожидаясь — он сам найдет батумских товарищей, все координаты у него есть — и, стараясь как можно осторожнее и быстрее проникнуть в наш каютный коридор, который, к счастью, пуст, как в вагоне ночью, подхожу к двери своей каюты. Нажимаю ручку — заперто.

— Кто? — слышу я голос Галки из-за двери.

— Здесь живет фрейлейн Костюк из городской управы? — вспоминаю я пароль нашей одесской подпольной группы.

Дверь открывается, и я попадаю в объятия Галки.

— Пospел все-таки!

— К развязке, — уточняю я.

НОВОРОССИЙСК — ОДЕССА

КОНЕЦ

Обмениваться впечатлениями уже некогда, так как Галка сразу же ошарашивает новостью. На мой вопрос, где Сахаров, она делает круглые глаза и хватается за голову.

— Сахаров здесь, но Тамара сбежала.

— Как сбежала?

— Он перехитрил нас. Послал Тамару в Москву.

— Когда?

— Должно быть, утром. После завтрака. Уже за

обедом он появился один и доверительно сообщил, что Тамара получила телеграмму о болезни матери и вылетела из Новороссийска в Москву. На самолет он ее не провожал — наверное, помнит твое предупреждение, но о телеграмме соврал. Я просила капитана проверить, была ли такая телеграмма, оказалось, что не было. Но факт остается фактом: Тамара уже в Москве, проморгали вы ее.

— Еще не в Москве. Первый рейс, с которым она могла улететь, что-то около трех. Успеем.

Отправляюсь в радиорубку и по радиотелефону соединяюсь с Москвой. Корецкого нет, но я добываю самого генерала.

— Алексей Петрович, промашка. Ругаться будете потом — времени мало. Пока ближайший самолет еще не прибыл из Новороссийска, необходимо послать людей встретить Тамару Сахарову и проследить ее путь из аэропорта. Брать ее, пожалуй, не стоит. Нет основания, да и бесполезно. Пусть себе едет в Апрелевку. Анфиса Егоровна уже все продумала и соображает, что спасать надо себя, а не Сахарова. Если же Тамара поедет по другим адресам, пусть проследят.

Генерал молчит несколько секунд — видимо, сдерживается.

— Хорошо, — говорит он замороженным голосом. — Других промашек нет?

— Пока нет, — отвечаю я.

Продолжать разговор уже незачем — у генерала времени в обрез. А я иду к капитану. К счастью, ждать его не приходится — он у себя.

— Когда у вас закрываются бары? — спрашиваю я.

Капитан несколько удивлен:

— В двенадцать. А что?

— Можно закрыть один пораньше? То есть не совсем закрыть, а для пассажиров. Бармен уйдет, а мы останемся.

— Понимаю. — Капитан задумывается, мысленно подбирая для нас подходящее помещение. — Крайний бар без курительной. Последний по левому коридору. Вывеска: «Близ Диканьки». Идет?

— Идет.

— Когда?

— Часов в десять-одиннадцать, когда вам удобнее.

— Хорошо. Я скажу бармену. Он оставит вам ключ. Много вас?

— Я да он, да еще трое. Почти джаз-оркестр, только без музыки.

— Надеюсь, и без стрельбы?

— Что вы, капитан! Это только генеральная репетиция.

После разговора с капитаном разыскиваю Лежаву.

— Порядок, товарищ полковник. Я с ним Нодия оставил. Оба ныряют.

— Не заметил слежки?

— По-моему, нет.

— Что-то не верится. У него гестаповская выучка.

— Так мы для него все на одно лицо. наших ребят из Грузии здесь полно. Любимое грузинское развлечение летом — батумский круиз.

— А как он себя ведет?

— Беспокойно. Часто ссорится с женой. Уединяется. Пьет.

— А жену вы проморгали.

— Так вы же сами, товарищ полковник, выключили ее из наблюдения.

— Знаю. Мой промах. А за Сахарова вы в ответе. За каждый шаг. Сегодня вечером после отплытия из Новороссийска, часов в одиннадцать, будьте оба у бара «Близ Диканьки». Держитесь незаметно, но так, чтобы я мог позвать вас в любую минуту.

Остается Галка, и все происходившее на теплоходе в мое отсутствие будет выяснено. Галка ждет на шлюпочной палубе против нашей каюты.

— Как прошел ужин вчера, когда я уехал?

— Сахаров не явился. Пришла одна Тамара с растекшимися ресницами и распухшими веками. Говорит, что поссорились. Я посочувствовала и, воспользовавшись настроением, поинтересовалась ее семейной жизнью. Обеспечены они вот так, — Галка подносит два пальца к горлу, — но атмосфера дома ненастная. Живут замкнуто, дома у них, кроме Томкиной клиентуры, никто не бывает; у нее самой какие-то шашни, но Сахаров смотрит сквозь пальцы: либо это его не интересует, либо устраивает. Но мне кажется, что-то все-таки связывает их, кроме брака. Во всяком случае с недавнего времени. А пить он начал только здесь, на теплоходе, что крайне удивляет Тамару: в Москве она этого не замечала.

В общем, две разные жизни, в чем-то, конечно, связанные, кроме брачных уз, но, должно быть, совсем, совсем недавно. Какой-то потаенный страх сквозит в словах Тамары, а раньше — я ведь ее давно знаю — никогда этого не замечала.

Я пропускаю мимо ушей все сказанное Галкой. Сейчас меня интересует другое.

— Когда ты увидела Сахарова?

— Сегодня за обедом. По-моему, он был даже рад, что Тамара уехала.

— Радость понятна. Только это ему уже не поможет.

— Подвел итоги?

— Подведу сегодня вечером.

— Тебе сейчас нельзя выходить из каюты. По-моему, он поверил, что ты болен.

— Поверил или не поверил, это уже не имеет значения. Операция заканчивается.

— Где?

— «Близ Диканьки». Есть такой бар на теплоходе. Поближе к двенадцати ночи. Ты не ходи.

— Я понимаю, что доктор Ватсон тебе уже не нужен.

— Не обижайся, Галчонок. Ты свое дело сделала.

— А если он вооружен?

— Ты думаешь, у нас дуэль? «Возьмем Лепажа пистолеты, отмерим тридцать два шага...» Нет, Галка, только психологический этюд.

— Время неподходящее. В двенадцать бары уже закрываются.

— Наш бар будет открыт до утра. Так что не жди меня ночью. — Я обнимаю ее за плечи и добавляю: — А теперь пойду искать «школьного друга».

Галка не понимает.

— Зачем?

— Надо же предупредить его о вечере на хуторе «Близ Диканьки».

Я нахожу его за бассейном в шезлонге, греется под заходящим уже за море солнцем. Он сидит голый, в одних плавках и больших черных очках. Я присаживаюсь на корточки рядом и спрашиваю:

— Отдыхаешь?

Он молниеносно оглядывается по сторонам, не слышит ли кто-нибудь, и, убедившись, что рядом никого нет, усмехается:

— Как видишь. А тебе ведь следует в лазарете лежать.

— Отлежался.

— Ой ли?

В этом «ой ли» я слышу нескрываемую иронию. Значит, не верил и не верит.

— А ты, пока я болел, уже вышел на связь?

Он снимает очки и смеется:

— Ты о жене?

— В Москву послал?

— Ага.

— Не поможет.

— Утешайся, если ты уже с ордером.

— Пока еще нет.

— Не надейся. В любом суде проиграешь.

— Поживем — увидим. А пока поговорить треба.

— О чем?

— Узнаешь.

— А если откажусь?

— Не откажешься. Не в твоих интересах.

— Допустим, но не здесь же.

— И не сейчас. Есть бар в конце коридора. Рядом с музыкальным салоном. Скажем, в половине одиннадцатого. Свидетелей не будет. Кто в кино, кто на концерте. Самое подходящее место для randevu. А что нам нужно? Бутылку пива или пару коктейлей.

— Не нравится мне все это.

— Не нравится, когда надевают наручники. А для этого, к сожалению, еще не пришло время.

Теперь он уже откровенно хохочет.

— Признаешься в бессилии?

— Пока да. Пока.

— Ну что ж, поговорим, если тема подходящая. Какой бар? «Близ Диканьки»? Страшная месть, да?

— Еще не страшная.

— Ладно, приду.

Теперь я отправляюсь на розыски Ермоленко и Бугрова. Оба отсыплются в отведенной им каюте. Вскикивают как по команде.

— В половине двенадцатого уйдет бармен, и войдете вы. Напоминаю: ни слова о Сахарове, о лагере, о партизанах, о войне. Пусть не знает, кто вы и откуда. Твердо запомните. Это приказ. Ясно?

— Точно, — чеканит Бугров.

- Не подведете?
- Не подведу, товарищ полковник.
- Добро, — копирую я генерала.

«БЛИЗ ДИКАНЬКИ»

Длинный узкий коридор пуст. Лишь в конце его в дверях музыкального салона, откуда доносится чье-то микрофонное пение, маячит Нодия в сером костюме. Его никак не примешь за сыщика. С тоненькой стрелкой усов и модными бачками, молодой развлекающийся грузин, каких десятки среди пассажиров. Он стоит вполоборота к невидной из коридора эстраде так, что вход в интересующий меня бар остается в поле его зрения. Лежавы еще нет. Должно быть, он придет позже, чтобы не бросаться в глаза.

Я смотрю на часы: двадцать минут одиннадцатого. Прошло около часа после отплытия, теплоход уже в открытом море, далеко от Новороссийска. В четверть одиннадцатого я, как было условлено, отправился в бар.

Признаться, у меня не было полной уверенности в удаче. Галка так и сказала: «Прав твой Корецкий. Нечего было церемониться здесь с опознаниями, а снять его с теплохода в Новороссийске и отправить под стражей в Москву». Но очень уж соблазнил «эффект неожиданности». В случае успеха он обеспечивал нам полную и безоговорочную победу, почти обезоруживал противника и вдребезги разбивал «материнский авторитет». Возможно, я недооцениваю изворотливости и вооруженности Пауля. Развязка близка, но так не хочется ее отдалять.

С тайной тревогой я и вхожу в полутемный бар. Пауль уже здесь, один-одинешенек в далеком уголке за зеленой лампой. Перед ним уже ополовиненная бутылка армянского коньяка с парадом из звездочек. Слова Тамары о том, что он непривычно много пьет, и количество выпитого меня успокаивают: значит, нервы у него не выдерживают.

- И даже успел заправиться?
- Присоединяйся...
- Спасибо. Предпочту пиво.
- Поединку пиво не поможет. Слабеешь.
- Наш поединок начался не сегодня, — парирую я.
- Думал, сбегу? Куда?

— Теплоход велик. Поди прочеши эту громадину — хлопот не оберешься.

— А зачем это мне? Бегут из безвыходного положения. А в безвыходном положении ты, а не я.

— Почему?

— Хочешь арестовать, а не можешь. Придется потом выпускать с извинениями. Это полковнику-то!

Он явно издевается. Не хочется отвечать: не базар.

— Доказательства добывал? Где, в Москве или в Одессе?

— В Берлине.

Его глаза суживаются, как две щелочки. Удивлен или испуган?

— А что в Берлине?

— Скажем, Герта Циммер.

Вздых облегчения. Почти неслышный, но все же явственный.

— Нет давно уже Герты Циммер. Провоцируешь.

— А твои письма к ней?

— И писем нет. Ни одной строчки. Даже подписи.

— А фото на Балтийской косе с дарственной надписью?

Он ставит недопитый бокал на стол. Стекло подозрительно звякает.

— Значит, она его не сожгла?

— Увы.

— Просчет, — цедит он. — Писал я тогда по-немецки.

— Экспертиза подтвердила тождество.

— Экспертиза не безгрешна. А в Одессе у меня чисто. Архивы вывезены, агентура уничтожена.

— Есть свидетели.

— Кто? Ты — следователь. Тебе даже дело мое вести не положено. Отведу по личным соображениям. Жена твоя не годится по тем же мотивам. Кто же остается? Тимчук?

— Кстати, Тимчук опознал тебя с первого взгляда.

— К старости память слабеет. Да и Тимчук человек замаранный. На двух хозяев работал. Кому суд поверит: бывшему полицая или родной матери?

Я смотрю на бармена. Облокотясь на стойку, он читает книгу. Значит, нет еще половины двенадцатого. Надо уйти с одесской темы.

— А ты уверен в показаниях Сахаровой?

— Ты не знаешь Анфисы Егоровны, — улыбается он. — Это же Васса Железнова. Кремень.

Не следует рассказывать ему о моей беседе с Анфисой Егоровной. Пусть надеется. Это его единственный шанс уйти от разоблачения. В моих интересах сейчас даже укрепить эту веру — тем беспроницашнее будет мой план.

— Да, — притворно вздыхаю я, — допустил промах, проворонил Тамару... — Мельком бросаю взгляд на часы: — Теперь она уже, к сожалению, в Москве.

— В Апрелевке, кавалер Бален-де-Балю. Твоя шпага опять сломалась. Интересно все-таки, на что ты надеешься?

— На количество доказательств. Как тебе известно, оно всегда переходит в качество.

— Я не марксист, а прагматик. Верю только в реальные силы и реальные обстоятельства.

— Помню, ты так же рассуждал и в Одессе, когда собирался с моей помощью выловить всю нашу подпольную группу.

Он благодушно отхлебывает коньяк. Сейчас он совсем расслабился.

Бармен уже убрал все бутылки и уходит, оставляя ключ в замке. Пауль оглядывается:

— Кажется, бар уже закрывают. Сейчас нас выгонят.

— Погоди. Именно сейчас и начнется самое интересное.

В бар входят Ермоленко и Бугров.

Пауль вскакивает.

— Сядьте, гражданин Сахаров, — говорю я официальным тоном, — мы вас долго не задержим. Подойдите, Иван Тимофеевич.

Бугров подходит ближе, Ермоленко остается поодаль.

— Вы узнаете этого человека, гражданин Сахаров? — спрашиваю я.

Сахаров недоуменно пожимает плечами.

— В первый раз вижу.

Теперь я обращаюсь к Бугрову:

— А вы его знаете, Иван Тимофеевич?

— Никак нет, товарищ полковник.

— Вглядитесь получше. — Я поворачиваю настольную лампу так, чтобы Бугров мог лучше разглядеть лицо Сахарова. — Не узнаете?

— Не узнаю, товарищ полковник.

— Ну что ж... — вздыхаю я. — Вы свободны, Иван Тимофеевич. Ермоленко, проводите товарища в его каюту и возвращайтесь сюда.

Оба уходят.

— Что это было? — спрашивает Гетцке. Он больше удивлен, чем взволнован.

— Неудавшееся опознание, — говорю я. — К сожалению, тебе везет, Пауль. Наш свидетель не опознал в тебе гауптштурмфюрера Гетцке.

Он хохочет. Хохот нервный, почти истерический.

— Смеяться рано, — строго говорю я. — Мы еще не в Одессе.

Он хочет что-то сказать, потом молча допивает коньяк в бокале, театрально раскланивается и говорит:

— Благодарю.

И уходит.

Я остаюсь. Проведена, так сказать, часть опознания. Бугров не узнал в Сахарове эсэсовца Гетцке. О настоящем Михаиле Сахарове речи пока не было. Будет еще, будет...

Ермоленко возвращается с бутылкой пива, захваченной из другого бара.

— Что будем делать, Александр Романович?

— Ждать.

— Я все-таки не понимаю, почему вы так провели опознание?

— Как — так?

— Ну, вполсилы, что ли... Бугров-то Сахарова опознать мог, а не Гетцке.

— Еще опознает. Потом. А сегодняшний день расцени как отвлекающий ход. Пусть Гетцке поверит, что мы на ложном пути.

— Как думаете: поверил?

— Кажется, поверил, — отвечаю я. — Поверил в нашу неудачу, в то, что мы смущены и растеряны. Фактически мы дали ему отсрочку, возможность действовать.

— Как?

— Он уже давно напуган, Ермоленко. В миссию жены он не верит. На непреклонность Сахаровой уже не надеется. Еще в Батуми он понял, что изобличен, что мы ищем каких-то последних, решающих доказательств. Точки над «и». Сейчас он почти убежден в том, что мы этой точки поставить не можем, ждем до Одессы.

В Одессу мы прибываем под утро, значит, еще до рассвета он попытается обмануть нас и скрыться. С пробковым поясом — а такие пояса есть в каждой каюте — марафонскому пловцу добраться до берега не составит труда.

— Рискованно, Александр Романович.

— Он в цейтноте, Ермоленко. А в цейтноте, если вы играете в шахматы, как известно, делают самые рискованные, самые роковые ходы. Вот я и жду такого хода. Помните, что я говорил генералу? Возьмем его у трапа.

— Какие будут приказания?

— Прежде всего договоритесь с электриком. Необходимо выключить свет в вестибюле и остановить лифт. До рассвета. С капитаном все согласовано. Коридор остается освещенным и просматривается насквозь. Его блокируют с двух сторон Лежава и Нодия. Невидимые в темноте, они отлично видят дверь из каюты. Вы лично блокируете лестницу — единственный путь на нижние палубы. Я прикрываю вас из кабины остановленного лифта — дверь будет открыта.

Ермоленко уходит. До двух ночи я лежу, прикорнув на диванчике у большого стола. Теплоход чуть-чуть покачивает — трудно будет плыть даже марафонцу в такую погоду. Но я твердо убежден, что Пауль все-таки рискнет. Не будет ждать до Одессы. На что я рассчитывал бы в его положении? На свою силу и ловкость, на быстроту реакции, на оружие, наконец. Хотя он и ехал в свой туристский рейс, не ожидая разоблачения, привычка иметь оружие у людей его профессии — вторая натура. А я обещал капитану, что стрельбы не будет. Кто знает, может быть, обойдемся и без стрельбы — нас все-таки четверо.

Два часа — минута в минуту. Я выхожу и поднимаюсь по лестнице в затемненный вестибюль на шлюпочной палубе. В темноте натыкаюсь на прижавшегося к стене человека.

— Ермоленко? — спрашиваю я шепотом.

Он шепчет в ответ:

— Тсс... в кабину лифта нельзя. Она остановлена этажом ниже.

Косяк света из коридора тускло очерчивает какую-то тень. Лежава или Нодия? Я не вижу — значит, не видит и он. Подымаюсь ступенькой выше и занимаю пост на

лестнице, ведущей наверх, в капитанское царство. Пауль туда не пойдет — слишком высоко, — но пост удобен: в двух шагах дверь на подветренную галерею, к поручням еле-еле освещенной шлюпочной палубы.

Медленно, жестоко медленно тянется время. Начинает ломить ноги, как бывало, когда стоял на часах. Ермоленко не шелохнется, Лежава или Нодия — тоже. Молодежь — не те кости, не тот вес.

Где-то в коридоре еле слышный щелчок. Кто-то повернул ручку двери, кто-то почти бесшумно шагнул из каюты. Я говорю «почти», потому что улавливаю даже шелест шагов в резиновых тапочках. Шаг — замер, еще шаг — опять тишина: ждет, не раздастся ли где-нибудь подозрительный звук. Наконец в тусклом косяке света появилась смутная фигура в купальном халате. «Почему в халате?» — мелькнула мысль. Но соображать было некогда. Тень из угла вестибюля — Лежава или Нодия — метнулась навстречу. Человек в халате отскочил, выбросил вперед руку с черным предметом в кулаке. Пистолет? Но выстрела я не услышал — только негромкий щелчок, Лежава или Нодия откинулся со стоном, закрывая лицо руками. Я не считал секунд, но мне показалось, что мы с Ермоленко бросились к выходу из коридора одновременно. Черный предмет в руке человека в халате снова щелкнул, но промазал: Ермоленко успел ударить противника головой в грудь и тут же отлетел, отброшенный сильным пинком ноги. Но я уже вцепился сзади, выворачивая руку с неизвестным оружием. Человек в халате вскрикнул от боли и выронил его на пол. Однако и я не остановил его: руки обхватили что-то жесткое, облегчающее тело под халатом, и халат остался у меня в руках, а человек выскользнул и метнулся к двери на палубу. Тут его и настиг добежавший из коридора второй наш наблюдающий, и удар тяжелым пистолетом по голове свалил стрелявшего на пол.

Я освещаю фонариком вестибюль. Гетцке лежит на полу голый, в одних плавках, толстом пробковом поясе, помешавшем мне обхватить его, и с самодельным полиэтиленовым рюкзаком на спине, в котором, наверно, упакована одежда. Лежава стоит согнувшись, протирая глаза рукой.

— Ранен? — спрашиваю я.

— Кажется, нет. Но не могу открыть глаз. Жжет,

Ермоленко поднимает с пола короткоствольный, почти игрушечный пистолет и говорит с уважением:

— Заграничная штучка. Стреляет ампулами со слезоточивым газом.

Сеанс, как говорится, окончен. Нодия помогает Лежаве добраться до бара и промыть глаза. Мы с Ермоленко тащим бесчувственного Гетцке на диван, где я провалялся до двух часов ночи, снимаем пробковый пояс и кое-как напяливаем на лежащего куртку и брюки, спрятанные в полиэтиленовом рюкзаке. Там же деньги и документы на имя Сахарова — видно, не предусмотрел необходимости запастись фальшивым паспортом.

— Надень ему наручники и прикрой халатом, — говорю я Ермоленко. — Сейчас очухается...

Двадцать пять минут третьего. Меньше получаса потребовалось для развязки операции, начатой шесть дней назад. Шесть дней розысков, междугородных переговоров, психологических поединков, морского и воздушного вояжей и одной рискованной схватки. Разве выразишь в этом коротком перечне все, что было пережито в эти тревожные дни! Если бы не удар Нодия, Гетцке еще мог бы попытаться уйти. Но не ушел бы!

Я все рассчитал точно, кроме халата, из которого он так удачно выскользнул почти у самой двери на палубу.

Пауль открывает глаза, удивленно оглядывает окружающих, пробует двигать руками, скованными наручниками, поправляет плечами с трудом напыленный нами пиджак. Говорить он не может или не хочет, только опускает веки, чтобы не видеть нас.

— Дайте ему коньяку, — говорю я.

Он сжимает зубы и отворачивается.

— Конец, Пауль, — заключаю я.

По коридору слышатся чьи-то шаги. Теплоход просыпается.

СОВСЕМ ДРУГОЕ ДЕЛО

В Одессе, что уже согласовано с капитаном, мы сходим первыми, как только опускается трап. Впереди Ермоленко, за ним Лежава и Нодия, поддерживая под руки опустившего голову Сахарова, который теперь уже не Сахаров, а Волошин — Гетцке, последним я, сразу попадающий в объятия «Тараса Бульбы».

— Спиймали все-таки того человека! — радостно возвещает он.

— Поймали, Тим.

— Значит, на вареники ко мне не поедешь?

— Не поеду, Тим. Приедешь ты ко мне. Вызовем для опознания.

Волошина уводят к ожидающей нас тут же на причале машине.

— Проводи Галку, Тим, — говорю я. — Пусть ожидает меня в аэропорту.

— До побачення, — кивает он.

Еще одно прощание с прошлым, а впереди уже разговор с генералом.

— Поздравляю, Романыч, — слышу я в ответ на мой краткий доклад, — а у нас тоже хорошие новости..

Я жду продолжения.

— Сахарова все-таки явилась с повинной. Все подтвердилось. Ты как в воду смотрел.

— Задержали?

— Зачем? Показания записали. Все ясно. Никуда она не сбежит и от суда не уйдет. Только в строгости приговора я, честно говоря, сомневаюсь.

— А как с Волошиным?

— Проще простого с Волошиным. Дело доведет Корецкий. Вот так.

Я не могу скрыть разочарования.

— Почему он, а не я?

Генерал долго молчит. Я слышу, как он постукивает пальцами о стеклянную доску стола.

— У тебя другая задача, Романыч, — наконец говорит он. — С Волошиным, по сути дела, все уже кончено, а вот Тамара Сахарова по возвращении домой сняла медную дощечку с двери. Не случайно сняла, ты сам предполагал нечто подобное. Мы, конечно, вернули дощечку на свое место, и теперь в квартире наши люди. Ищем связей и безусловно найдем. Вот ими ты и займешься. Только это, конечно, другое дело.

Генерал прав. Это уже совсем другое дело.

СПОЖИ ТАК



Уже давно ночь. Кругом тихо. Жена, должно быть, тоже давно спит в своем санатории в Пицунде, а я сижу, не раздеваясь, у письменного стола и думаю, думаю, думаю. Думать мне никто не мешает. Впрочем, ни о чем особенном я не думаю, а только мысленно смотрю на воинский билет, паспорт и затрепанный роман Агаты Кристи на английском языке «Убийство Роджера Экройда». Книжка, как выяснилось, скрывает ключ к зашифровке секретной переписки, прочесть которую, кроме адресата, никому не дано. Но, честно говоря, книжка эта, несмотря на всю свою для нас важность, только маячит перед глазами, а вижу я паспорт с именем и отчеством моего Ягодкина и фотокарточкой человека, на него совсем непохожего.

Звонок телефона — этакий чуть-чуть журчащий зуммер, — я терпеть не мог пронзительных телефонных звонков ни дома, ни на работе, они оглушали только в приемной и тотчас же гасли, переведенные на мой аппарат, преображаясь в такое же, как и сейчас, зуммерное журчание.

— Полковник Соболев слушает, — говорю я.

— Майор Жирмундский приветствует, — галантно, но чуть насмешливо отзывается голос в трубке и тут же уже без всякой официальности продолжает: — Не разбудил?

— Нет, не сплю. Думаю.

— Жену вчера проводил на юг и скучаешь? Не рановато ли?

— Не совсем точно. Скучаю, конечно, но не думаю о ней.

— Железная коробочка спать не дает?

— Допустим. Есть новости?

— Кое-что. Экспертиза номер один: на двух страницах у Агаты Кристи ключ для шифровки текстов на английском языке. К сожалению, мы можем только шифровать, а не расшифровывать. Текстов для расшифровки пока еще нет.

— Пока?

— Я и не рассчитываю найти их сейчас — там уже два бульдозера котлован для нового дома роют. А вдруг появятся? Мало ли как бывает. Ведь остались же лю-

ди — кто, пока неизвестно, — но подходили же они иногда к его киоску с газетами. Кому-то из них предназначались доллары из той пачки, что была в коробке. Кому и за что? И от кого он сам получил эти доллары и тоже за что?

— Нам же искать ответ.

— Сизифов труд.

— А может быть, он и не работал сейчас, а только состоял в резерве? — размышляю я вслух. — За это тоже иногда платят. Отпечатки пальцев выявили?

— На Агате Кристи их как горохом рассыпано. А на пачке долларов все пять пальцев те же, что и на коробочке с мелочью в его газетном киоске, — пальцы Ягодкина. Муровский оперативник, что нашел труп, снял у него отпечатки пальцев. Все сходится.

— Ты сказал «пальцы Ягодкина»? — уточняю я. — Но это не его имя. Ве того, на чье имя выписаны военный билет и паспорт.

Жирмундский смеется. Он очень доволен.

— Между прочим, как показала экспертиза номер два, в документах все подлинное — не подкупаешься. Ты скажешь, что выдавал их Новоружский военкомат в сорок восьмом году и девятнадцатое отделение московской милиции в пятьдесят пятом? Верно. Вполне допустимо, что есть или был другой, известный тебе Ягодкин, а документами его воспользовался профессиональный разведчик, шифрующий свои донесения не по-немецки, а по-английски. Мы, Николай Петрович, тоже не сидим сложа руки. Пока ты жену провожал, мы кое-какую военно-архивную пыль встряхнули. И выяснили, что сгоревший в состоянии полного опьянения во время пожара в однокомнатной дворничьей сторожке киоскер-пенсионер Ягодкин был Ягодкиным еще в 1946 году после возвращения из плена. Тогда же была запрошена указанная им воинская часть, в составе которой он якобы участвовал в военных действиях, и получен ответ, что Михаил Федорович Ягодкин действительно числился в списках личного состава указанной им части до марта 1944 года, когда он пропал без вести. Совпали и названные им имена и фамилии командиров роты, батальона и полка, из которых к моменту проверки оказался в живых только комполка, да и тот лица его не помнил: мало ли было солдат у него — всех не запомнишь. Проверили по спискам — сходится. Что в плену делал?

На заводе работал — вот свидетельства. А почему это вдруг у немцев такая снисходительность к военнопленному? Тоже объяснил: на заводах в Германии к этому времени уже рабочих рук не хватало, вот и подбирали из военнопленных — тех, кто поздоровее да посильнее. У многих никаких документов нет, а у этого все чистенько. Ну и пропустили сволочь затаившуюся. Вот только с военным билетом у него нескладуха. Выдан он ему почему-то под Москвой в Новой Рузе, и в графе прохождения военной службы упомянута только воинская часть, в которой он служил до сорок четвертого года, а дальше все волшебным образом преобразуется. Уже он не пропал без вести, а тяжело ранен и решением медицинской комиссии от военной службы освобожден. Липа явная... С этой липой он и московский военкомат прошел, поселился в опустевшей после эвакуации дворницкой сторожке в Марьиной роще и подрабатывал к пенсии по инвалидности торговлишкой в газетном киоске. Может, он и не работал на заславшую его разведку, но кто-то нашел его недавно — доллары-то новенькие. Ну и запил Ягодкин со страху, спьяну и сгорел, а может, и нарочно себя поджег. Трудно все-таки за доллары Родину продавать, бывает, что и сдадут нервы. По-моему, логичная версия?

Я терпеливо дослушиваю «логичную версию» Жирмундского и говорю:

— У Гадохи не сдали бы. Его «вышка» пугала. А высшая мера ему давно была уготовлена.

— Ты о ком? — недоумевает Жирмундский.

— О нашем милом покойнике. Это Гадоха Сергей Тимофеевич, бывший сержант той же роты, в которой служил и Ягодкин.

Трубка долго молчит, прежде чем взорваться вопросом.

— Откуда сие известно?

— Я лично знал Ягодкина. Мы однолетки с Мишей, оба сироты, из одного детдома, оба «фабзайцы», даже жили в одном общежитии. А в сорок первом году оба семнадцатилетними парнишками еще до призыва пошли в ближайший московский военкомат и попросились на фронт. Просьбу нашу уважили и отправили в одну часть, в которую потом перевели и Гадоху. Откуда, не помню. Кажется, из штрафной роты. Вот так и бывает, друг мой Саша, жил и работал я в одном городе, можно сказать, бок о бок с подлейшим предателем и убийцей.

И ни разу не встретился, хотя, быть может, и не узнал бы его: он усы и бороду отпустил.

— А ты не мог ошибиться? Ведь борода и усы резко меняют облик.

— Только фотокарточка на паспорте могла вызвать сомнения, а на военном билете он бритый и молодой. Ошибка исключена. Есть и еще одна примета: на левой руке у Гадохи татуировка: большой синий якорь у кисти и женское имя — Нина.

— Что за Нина?

Вопрос явно из мгновенно пришедших в голову.

— Понятия не имею. Тогда, в войну, не поинтересовался, а теперь поздно.

— Но ты же не видел труп.

— Его осматривал Маликов из уголовного розыска. Он же снял и отпечатки пальцев. Вчера вечером я созвонился с ним с аэродрома и заехал к нему на Петровку. Словом, друг мой Саша, ошибка здесь, повторяю, исключена...

...Маликов принял меня внимательно, но без особого интереса: дело, мол, не мое, а ваше. На пожарище он поехал, потому что кто-то из соседнего дома в МУР позвонил, когда пожарные в полусгоревшей сторожке труп нашли. Он, Маликов, труп осмотрел, даже отпечатки пальцев взял и все гадал: убийство или самоубийство. А вероятнее всего, несчастный случай. «Втихаря он жил, — сказал участковый, — ни с кем компанию не водил, а пил один, у Катьки-добренькой самогон бидонами покупал — она уже два раза по таким делам привлекалась, а с поличным поймать пока не могли: где-то под Москвой варила и полные бидоны по заказчикам развозила». Не будет же Катька дом поджигать... И погиб-то старик по своей вине мертвецки пьяный: у него на вскрытии литр самогона в желудке нашли. Наверно, тлеющий окурок или недогоревшую спичку в стенку швырнул и не заметил, как оторвавшиеся обои загорелись. Где уж тут заметить, если в беспамятстве был. А огонь по ватной дверной обивке полез, трухлявая дверь запылала — и пошло. Когда Маликов приехал, пожар уже потушили, только две обгоревшие стенки от сторожки остались да обожженное человеческое тело. А тут пожарные инспектору медную шкатулку подают: в стенном тайнике нашли под обоями. Что было в шкатулке, полковник Соболев знает, и начальник отдела ему

лично объяснил, почему в уголовном розыске решили переслать ее органам госбезопасности.

— Когда вы осматривали труп, — спросил я инспектора, — вы не заметили татуировки на левой руке выше кисти?

— Большущий якорь и «Нина» почти до локтя.

— Спасибо за информацию, — сказал я, — и за то, что переслали шкатулку нам. А у меня к вам еще просьба. Не могли бы вы заглянуть в архивы довоенных лет и посмотреть, не проходил ли у вас по какому-нибудь уголовному делу некий Гадоха Сергей Тимофеевич. Если проходил и у вас имеются его отпечатки пальцев, то вы бы могли сравнить их с теми, которые сняли с трупа. Вы сделаете это сами или мне следует обратиться к начальнику отдела?

Последнюю реплику я добавил только из вежливости, потому что был уверен в ответе.

— Зачем? — улыбнулся он, мгновенно сообразив, что я знаю о сгоревшем Ягодкине гораздо больше его. — Я с удовольствием сделаю это и сам и, если отпечатки сойдутся, немедленно же поставлю вас в известность. Может быть, в этом случае придется подключиться и нам: есть еще не закрытые дела.

— Лично я думаю, — сказал я, — что прежнее ремесло он оставил и прежние связи не возобновил, хотя наличие крупной суммы долларов в шкатулке, может быть, и не исключает валютных операций. Словом, там видно будет. Возможен и такой вариант: мы закрываем дело, а вы открываете его снова. Ведь нам и вам интересен не сам погибший, а его сообщники и преемники...

Разговор этот был позавчера, а сейчас, плохо доспав ночь, я сижу у себя в управлении и вызываю Жирмундского.

— Я уже на месте, Саша. Заходи.

Когда разговор у нас неофициальный, мы всегда с ним на «ты» и зову я его Сашей. Он сын моего боевого товарища, с которым мы вместе дошли до Берлина и который очень много для меня сделал в труднейшей обстановке, осложнившей мою военную жизнь в сорок четвертом году. Мы были рядышком и после войны в нашей военной комендатуре в немецком городе Хаммельне, и в дни мира, когда подрастал Саша, после пришедший по стопам покойного отца в органы безопасно-

сти. Здесь он обнаружил незаурядный талант чекиста, а приобретенный опыт работы позволил ему в конце концов почти догнать меня: теперь он майор и мой ближайший помощник. В этой роли он был просто не-оценим, особенно в тех случаях, когда в круг нашей расследовательской деятельности попадали молодые люди, которых он, естественно, знал лучше, легче понимал, точнее улавливал их настроения и мысли. Мы даже подружились с ним, как говорится, «на равных», несмотря на разницу в возрасте, — уж очень многое нас сближало. И взаимная симпатия, и его тяга холостяка к семейному, и общность интересов, и любовь к музыке — он собирал современные джазовые записи, я — классику в концертном исполнении. Да и встречались мы не только по службе. По вечерам он часто забежал ко мне поиграть в шахматы или разобрать только что опубликованную партию Карпова или Таля, а то и просто поужинать у нас.

Сейчас мы одни, и Саша, даже не поздоровавшись, словно мы только что виделись, молча садится против меня и выкладывает на стол потускневшую медную шкатулку, пересланную нам из уголовного розыска. Она уже прошла через экспертизу, и все в ней разложено, как и было при получении: затрепанный томик Агаты Кристи в лондонском издании Макмиллана, пухлая пачка новеньких десятидолларовых купюр и военный билет с паспортом на имя Ягодкина, все данные которых я уже помню наизусть и точно знаю, кого они прикрывали.

— Ничего интересного, кроме шифра, — говорит Жирмундский, кивнув на шкатулку.

— А чем интересен шифр?

— Можно хоть предположить страну, для которой он предназначен.

— На английском языке можно шифровать для любой страны.

— Лжеягодкин пришел к нам из оккупированной Германии. Его могли завербовать либо Гелен, либо американцы.

— Не торопись. Его наверняка завербовали еще гитлеровцы.

— А перевербовали преемники. И, пожалуй, если Гелен, то язык был бы немецким.

Зря Сашка упирает на шифр. Он бесполезен, когда

нечего расшифровывать. Ну, узнал я Гадоху, а дальше? Что он делал у нас в стране после войны?

— Работал киоскером, получал за что-то новехонькую валюту, — задумчиво говорит Жирмундский. — Получал или получил? Может, это были первые полученные им доллары. А для чего? Для себя лично или для расплаты с агентами? Профессия киоскера таит неограниченные возможности якобы случайных, но всегда обусловленных связей.

— Я жду звонка из угрозыска, — говорю я.

— А что он нам даст?

— Я просил Маликова выяснить, не проходил ли у них Гадоха по каким-нибудь уголовным делам в довоенные годы. Тогда сохранились и отпечатки пальцев, и можно сравнить их со снятыми у Лжеягодкина. А установив тождественность его и Гадохи, потрясти старые связи. Вдруг жив кто-нибудь из прежних дружков, отбывающих новые сроки или «завязавших». Может, и подскажут они, с кем встречался Гадоха после войны, что замышлял. В разговоре с Маликовым я усомнился в том, что бывший налетчик и «вор в законе» уже в новой роли вспомнит о своих старых знакомствах. Ни одна иностранная разведка не позволит своему агенту рисковать уголовным промыслом. Но, может быть, я и ошибся, и связи он все-таки сохранил. Подождем звонка Маликова.

Маликов позвонил к концу дня.

— Вы угадали, товарищ полковник, отпечатки нашлись и совпали. Настоящее имя и фамилия сгоревшего в дворницкой действительно Сергей Гадоха. Он проходил у нас по делу о нападении на кассиров сберкасс в Хамовниках в сороковом году и через два года из тюрьмы был отправлен на фронт. Нашелся и один из его сообщников, некий Круглов по кличке Длинный. Он тоже воевал, но вернулся уже со снятой судимостью и с боевыми наградами. С Гадохой после войны он не встречался и о судьбе его ничего не знает...

Найденный кончик ниточки обрывается. Я иду к генералу и докладываю ему все, что мне известно по делу о присланной из угрозыска медной шкатулке с английским шифром и американскими долларами. Сходимся на временной отсрочке расследования. Гадоха умер, не оставив никаких следов, к кому-то ведущих, а

следить за новым киоскером бессмысленно: о Ягодкине он даже не слышал, а своих покупателей не запоминает.

— А в каких отношениях ты был с Гадохой на фронте? — спросил Жирмундский.

Пришлось рассказать.

2

Помню теплую сентябрьскую осень в Москве сорок первого. Желтеют листья на деревьях, витрины магазинов завалены мешками с песком, окна домов перечерчены белыми бумажными крестами, якобы защищающими стекла от воздушной волны, если упадет бомба по соседству; комендантские патрули на улицах, на бульварах — приземленные сигары аэростатов — ночных стражей города.

Мы с Мишкой Ягодкиным ехали от окраины, к центру в полупустом вагоне метро — занятия в школе еще не начались из-за нехватки ушедших в ополчение преподавателей, а на заводе нас еще не оформили, так что свободного времени было много. Рядом ребята, на вид — наши однолетки, но уже одетые по-военному в гимнастерки и ватники, пели нестройным хором: «...уходили комсомольцы на гражданскую войну». Женщина рядом плакала, а наши с Мишкой сердца сгорали от зависти.

Где-то на полпути, кажется на Комсомольской, поезд был задержан — по радио уже ревели сирены воздушной тревоги. Из метро не выпускали, и мы минут сорок толкались среди пассажиров. Молчание окружало нас, тревожное, суровое молчание.

— Дальше не поедем, — сказал Мишка.

— А куда поедем?

— Назад.

— Почему? — удивился я.

Мишка не сразу ответил, он что-то думал, что-то решал.

— Хватит! — сказал он. — Сачковать надоело. Такие же, как мы, парни в армию идут, а мы? Прямо из метро в военкомат! Вот так.

— Но мы же допризывники. Таких не берут.

— Возьмут. Попросим, и возьмут.

И нас действительно взяли. Спросили о родных.

Родных не было: оба детдомовские. Спросили о занятиях. Кончились занятия, объяснили мы. Оглядели нас, прикинули — видят: подходящие парни. Ну и направили нас на медицинскую комиссию.

— А где учить будут? — спросил Мишка у военкома.

— Найдем место, — сказал военком. — «Тяжело в учении, легко в бою», — говорил Суворов. У вас, ребята, к сожалению, будет наоборот. Подучим вас наспех и налегке, а ратному делу по-настоящему обучаться в бою будете.

Вот так и очутились мы с Мишкой Ягодкиным в одной роте пехотного полка энской, как говорится, дивизии. Вместе учились обороняться и наступать, вместе с боями и до Вислы дошли. Об этом долгом и тяжком пути я Жирмундскому не рассказывал. О войне он узнал много и без меня, да и не моя воинская судьба интересовала его сейчас, а лишь тот поворот ее, причиной которого был ефрейтор Гадоха Сергей Тимофеевич.

Появился он у нас уже в сорок третьем или, кажется, в начале сорок четвертого года, переведенный из штрафной роты бывший уголовник, но отличившийся в боях и даже получивший звание ефрейтора. И у нас он выделялся отменной находчивостью и отвагой, ходил в разведку, возвращался с удачей, и его за эту удачу командование отличало. Был он сметливым и расторопным, умел дружить и очень нравился полковым красавицам в военных гимнастерках и санитарных халатах. Да и со мной, хотя я и был уже старлеем, держался соответственно уставу, но не без желания понравиться и заслужить похвалу, а выговоры и замечания выслушивал почтительно и согласно.

Именно потому командир разведвзвода Толя Корнев, наш друг и ровесник, с которым мы познакомились в том же московском военкомате, и взял с собой в разведку Гадоху и Ягодкина, первого — по способностям, второго — по рвению: Мишка был не очень умелый солдат, но старательный и упрямый. Да и отвагой его бог не обидел.

Случилось это в местечке Пасковцы на правом берегу Вислы. Река уже была близко, но крупные фашистские соединения, сосредоточенные на побережье, все еще мешали нам ее форсировать. Потому и выходил их маленький отряд на береговые тропы, чтобы разведать у польских рыбаков, где фронт более растя-

нут и, следовательно, облегчит нам возможность прохода.

Здесь их и ждал провал, как выяснилось впоследствии, заранее запланированный. В старом ольшанике на заболоченной тропе они обнаружили крестьянскую хату, запущенную и, казалось, необитаемую. Никого кругом не было, хотя прибрежный лес мог скрывать и хорошо замаскированные передовые немецкие посты. Разведать хижину Гадоха вызвался первым.

— Порядок, товарищ старший лейтенант! — крикнул он. — Идите за мной. — И вошел в хату.

Они побежали, рванули дверь и удивиться даже не успели, как их схватили и обезоружили. Большая горница была полным-полна фашистских солдат. Сумел ли Гадоха заранее как-нибудь предупредить их или сделал свое черное дело, заранее не сговариваясь, никто не знал, конечно, но предательство было очевидным и умышленным.

— Зольдатен? — спросил Гадоху высокий подтянутый офицер.

— Старший лейтенант Корнев и рядовой Ягодкин, — в струну вытянулся Гадоха. — Больше русских здесь нет. Нас только трое в разведке.

— Сука! Я всегда знал, что ты когда-нибудь продашь, вор в законе, — сказал Ягодкин.

Их тут же, не допрашивая, избили и связанных увезли в штаб. Там уже допросили. Какого полка? Какой дивизии? Где расположена? Сколько пушек? Они молчали. Снова избили. Допрашивали и били. Допрашивали и били. Корнев захлебывался кровью, но молчал. Молчал и Мишка. Почему-то их не расстреляли тут же, а почти в бессознательном состоянии переправили через Вислу в штаб дивизии. Может быть, рассчитывали, что они все-таки заговорят, когда очнутся.

Они и заговорили. Только между собой.

— Опять будут бить, — сказал Корнев.

— Будут, — прошамкал Мишка. У него уже не было зубов.

— Сдохнем, наверно.

— Если пристрелят, — согласился Мишка. — А может, и выживем. Лишь бы кости не перебили.

Выжили. А затем крестный путь военнопленного, длинные дороги, вагоны даже без подстилки для скота, переезды и переправки, вагон отцепляли и

прицепляли к другим составам, их — более или менее здоровых — почти не кормили и не поили, а умирающих и больных просто пристреливали и выбрасывали из вагонов под откосы железнодорожной насыпи. А в конце пути — лагерь на лесистых склонах Словакии. Лагерь номерной, без названия и даже без печей для сжигания трупов. Время от времени окончательно выдохшихся людей партиями отправляли в другие лагеря с более совершенным аппаратом уничтожения. А те, кто еще был в состоянии работать, шагали в каменоломню, где дробили камень, складывая его в штабеля, которые потом перегружали в железнодорожные составы. Тех, кто падал от усталости и не мог подняться, тут же приканчивали выстрелом в затылок, а трупы бросали в ров. Когда он наполнялся, его засыпали камнями, рядом копали новый и так далее...

Комендантом лагеря был эсэсовец Пффердман, садист и убийца, такой же, как и его «коллеги» в Освенциме или Майданеке, Треблинке и Дахау. Но самым страшным был даже не он, а капо барака, старый знакомый — Гадоха. Как он попал сюда, ни Корнев, ни Мишка не знали, возможно, чисто случайно, да и встретил он их с нескрываемым удивлением, впрочем тут же обернувшимся почти ликующим торжеством.

— Старший лейтенант Корнев! Какая приятная встреча! Не ожидал, но доволен. Житуха райская у нас.

И сшиб его с ног одним ударом под ложечку.

— Вот такие пироги, старший лейтенант, — ухмыльнулся Гадоха и обернулся к Ягодкину. — А тебе, хмырь болотный, я оставлю памятку на всю жизнь. Если выживешь, конечно.

И, отстегнув от пояса длинную резиновую, почти не гнущуюся дубинку, он ткнул ее в левый глаз Ягодкина. Тот даже не вскрикнул, лишь закрыл выбитый глаз рукой.

— Твоя власть, Гадоха, — сказал он. — Только ведь за все рассчитаться придется.

— Я и рассчитаюсь, — не промедлил с ответом Гадоха, — я еще много раз о себе напому. Ну а теперь марш в барак! Второй ряд от двери, койки третья и четвертая.

Он каждый раз напоминал о себе. Присядешь на минуту у глыбы песчаника — удар дубинкой: встать! Оступишься — подсечка. Пройдешь мимо и не покло-

нишься — карцер. А карцер — это каменный мешок, из которого сам и не вылезешь: жди, когда тебя вытащат по приказанию Гадохи. Но в карцере он не держал более суток: Пфердману требовалась здоровая рабочая сила.

А иногда Гадоха милостиво отзывал Корневу из каменоломни: ему хотелось поговорить.

— Рассчитываемся, старший лейтенант? — похихатывал он.

— За нас рассчитаются, Гадоха.

— Кто?

— Твои бывшие однополчане, Гадоха.

В лагере уже знали о стремительном наступлении советских армий по всему фронту, и Гадоха догадывался, что и пленные о том знали. Поэтому и не последовало тогда удара дубинкой. Он только задумчиво нахмурился.

— Не дойдут сюда ваши, — проговорил он, не отрывая глаз от своих порыжевших сапог.

Теперь уже Корнев усмехнулся.

— Непременно дойдут. Вот тогда и рассчитаемся, Сергей свет Тимофеевич.

В ответ не последовало ни пинка, ни удара. Молча встал Гадоха и, не оборачиваясь, пошел по каменному карнизу каменоломни. Он чуял опасность: советские войска тогда освобождали Польшу. С этой минуты он еще более ожесточился, страх уже прорастал в нем. По ночам стал напиваться замертво в лагерном кабаке для охранников, а возвращаясь, избивал всех спящих на нижних койках, мимо которых он проходил в свою отгороженную от общих «спальню». Больше всего доставалось Мише Ягодкину. Корневу он почему-то не трогал.

И конец наступил, пожалуй, даже раньше, чем он рассчитывал. Заговор задумал Миша Ягодкин, сговорившись с соседями по койкам. Однажды поздним вечером, когда Гадоха еще не вернулся с очередной пьянки, он сказал Корневу:

— Сегодня ночью накроем Гадоху.

— Как это? — не понял тот.

— Ночью, когда пьяный войдет, мы на него и прыгнем. Всей восьмеркой. Командует Арсеньев. Он старше нас и по годам и по званию. Свяжем, кляп в рот, а потом и повесим здесь же, на потолочной балке.

— Так ведь расстреляют наверняка.

— Всех не расстреляют. Ну а мне все равно. Я и так уже кровью харкаю.

— Допустим, нас восьмерых. А если и других с нами? Им тоже все равно?

— А ты у других спрашивал? Я интересовался. Возражений нет. За этим гадом давно кровавый след тянется. А говорят еще, что он весь барак в ближайшие дни на уничтожение отправит. Только самых сильных оставит. А есть у нас такие?

Корнев внимательно оглядел барак, насколько позволял свет двух тусклых лампочек, подвешенных на железных балках под крышей. Никто не спал. Все ждали.

Гадоха пришел около часа ночи — так показалось, потому что в двенадцать гасили фонари снаружи за окнами. Он не успел даже крикнуть, как на него прыгнули со всех восьми коек. Тут же связали, сунули грязную тряпку в рот и поволокли к первой же балке, на которую кто-то забросил веревочную петлю. Все делали молча, без суеты, но поспешно. А через две-три минуты связанный Гадоха уже болтался в петле.

Он провисел всего несколько секунд и не успел задохнуться: в первую из этих секунд в бараке появился помощник Пфердмана, власовец Амосов. Сопровождали его — должно быть, для ночной проверки — двое охранников.

— Что здесь делается? — закричал он. — Снять немедленно! — И сказал что-то по-немецки одному из охранников.

В ту же секунду автоматная очередь срезала веревку под балкой. Гадоха грузно шлепнулся на бетонный пол и застыл.

— Развязать! — приказал Амосов.

Нашлись такие, что повиновались и развязали. Гадоха был еще жив. Он дышал прерывисто, странно булькая. Но не двигался.

— Транспортирен зи герр Гадоха нах доктор Крангель, — сказал Амосов охранникам. Сказал, с трудом подбирая слова: немецкий он знал плохо. А когда унесли Гадоху, обернулся к пленным: — Стоять! — скомандовал он. — Построиться в две шеренги и ждать моего возвращения.

И вышел.

— Будут расстреливать. Вероятно, каждого пятого, — сказал Арсеньев, бывший майор Советской Армии. — Вот спички. Я отсчитываю двадцать восемь...

— Почему двадцать восемь? Нас тридцать, — перебил кто-то.

— Корнев и Ягодкин исключаются. Гадоха их предал. Из-за него они и попали в плен. Так не погибать же им за Иуду.

Никто не возражал, кроме них двоих. Но Арсеньев тотчас же оборвал протест.

— Слушать мою команду! Мы хотя и пленная, но часть Советской Армии, а я старший по званию. Так вот: я отбираю из двадцати восьми спичек шесть и отламываю половину у каждой. Это будут пятое, десятое, пятнадцатое, двадцатое, двадцать пятое и тридцатое место в очереди. Корнев и Ягодкин будут вторым и третьим. Начинаем!

Все разобрали спички. Уже не помню, кому достались поломанные, но кому-то достались. Арсеньев стал первым.

— Может, с первого и начнут, — шепнул он.

— Тогда весь порядок изменится, — сказал Корнев.

— Значит, не судьба.

Расстреляли каждого пятого.

3

Гадоха не умер. От кого-то из заключенных Корнев узнал, что он лежал в немецком госпитале где-то под Братиславой с повреждением шейных позвонков и горловых связок.

— Говорить уже может, — предположил Арсеньев, — и в первую очередь выдаст вас. Больше он никого не запомнил: в стельку был пьян. А вы у него как занозы в памяти.

— Может, уже выдал, — вздохнул Ягодкин.

Разговор был после лагерного ужина.

— Бежать вам надо, — сказал Арсеньев.

— Отсюда не убежишь. Проволока под током, пулеметы на вышках.

— А из каменоломни?

— Там же охранники с автоматами.

— Есть шанс, — улыбнулся Арсеньев. — Единственный. Если до завтра вас не возьмут, я утреч-

ком покажу вам кое-что в каменоломне. Надо только найти возможность остаться там на ночь. А такой способ есть.

Под утро, слезая с койки, Арсеньев сказал:

— Пристраивайтесь на работе со мной рядышком. Новый капо мест не знает, мешать не будет. Он даже лиц наших не помнит.

Они так и сделали. Арсеньев подвел их к выступу скалы, повисшему над каменной тропкой на высоте человеческого роста. Даже пройти под ним было страшно: вот-вот обрушится.

— Мы подрубили его снизу и сверху, думали — упадет. Тогда и разбивать его будет легче. Ан нет: он все висит. Теперь мы с Афоней и Хлыновым полезем наверх и добьем его кувалдой и ломом. Он и рухнет.

— А нам что делать? — не понял Мишка.

— Стать под ним и прижаться к стене. Конечно, когда капо отойдет подальше. А охранники на карнизе не увидят.

Они еще раз оглядели нависшую глыбу.

— Нас же в лепешку раздавит. Костей не соберем.

— Может быть, и раздавит, — согласился Арсеньев. — Но по элементарным техническим расчетам глыба упадет не плотно к стене, а с просветом не менее полуметра. Это я вам как бывший инженер говорю. А просвет, где вы стоите, завалит осыпь. Конечно, риск есть, но в лагере вы и двух дней не выживете. Ну а камешки, которыми вас засыплет, не крупные, обычная осыпь — выдержите. И дышать сможете — осыпь не плотно ляжет. А им доложим, что вас скалой раздавило — все и сойдет: здесь не спасают.

Капо шел мимо. Они заработали молча, застучав ломом по соседней стене. Капо равнодушно прошел, не оглядываясь.

— Важно продержаться до ночи, — продолжал Арсеньев, — а ночью, когда стемнеет, вы пробьетесь сквозь осыпь, завалите дырку — и ау!

— А куда — ау? — спросил Ягодкин.

— В горы. Словацкие Татры, слышали? Здесь, говорят, партизаны орудуют.

— Может, и ты с нами, майор? — сказал Корнев.

— Скала троих не прикроет. А я и в лагере продержусь — силен еще, не выдохся. Может быть, и наших дождусь.

Капо вот-вот должен был повернуть обратно.

— Начинаем, ребята, — шепнул Арсеньев.

Они втроем полезли на верх уступа, а Корнев и Михаил присели под ним, плотно прижавшись к стенке. Наверху застучали кувалдой и ломом. Трудно сказать, сколько минут прошло, как вдруг треск и удар каменной массы о камень оглушили Корнева. Сразу навалилась и осыпь. Он прикрыл голову руками, но острые камни били по ним, сдирая кожу. Досталось и плечам и коленям, но между ними и рухнувшей каменной глыбой действительно оставалось еще добрых полметра. Бывший инженер не ошибся.

— Жив, Мишка? — спросил Корнев почему-то шепотом, хотя даже крик сквозь настил каменной осыпи был бы не слышен.

— Ушибло здорово, — отозвался Мишка, — и лоб порезало.

— Сильно?

— Заживет. Крови, видать, немного. Только давит крепко. Тяжко будет стоять.

Действительно на плечи и голову сильно давил не очень толстый, но плотный слой щебенки, осыпавшейся сверху. Мелкие острые камешки сыпались на них при каждой попытке подвинуться или встать. Тогда они сели, благо щебенки под ними не было. Что происходило снаружи, они не слышали: никто не стучал по камню и не тревожил осыпи. Вероятно, те, кто работал поблизости, подойти не рискнули, а для капо, которому уже, наверное, доложили о случившемся, их гибель была бесспорной.

Вот так они и просидели до ночи, боясь пошевелиться и почти не разговаривая. Камень поглощал звук, но говорить они все-таки не смели — вдруг услышат. И ночь не увидели, а почувствовали — нагретый за день камень стал холодеть и даже сквозь слой щебенки явно запахло сыростью. Наконец Корнев решил: пора! И рванулся вбок, закрывая лицо руками. Осыпь подалась легко, и под градом мелких осколков дробленого камня он выбрался наружу. Ягодкин, не увидев, а услышав его маневр, рванулся в другую сторону и тоже выбрался.

Было совсем темно и тихо: на ночь в каменоломне не оставляли охраны. А лагерь вдаль доживал вечер. Горели прожекторы на вышках, шел по проволочной

ограде смертельный ток, несли вахту охранники. Никто и не думал, что отсюда можно бежать.

А они бежали. Я избавил Жирмундского от подробностей странствия Корнева и Ягодкина по чужим горам. Да и о чем рассказывать? О том, как плелись двое дистрофиков по горным тропам, продираясь сквозь кусты можжевельника, шли, по сути, в неизвестность, зная только, что первый же встречный или поможет, или выдаст. Через двое суток их нашел хозяин ближайшей охотничьей хижины бесчувственными от голода и усталости. Он сразу все понял, они были в изорванных полосатых лагерных рубашках. Он помог добраться до сеновала, накормил и, ни о чем не спрашивая, положил спать, прикрыв хорошенько сеном: по ночам здесь было холодно, как зимой. Наутро он привел еще двоих в крестьянских теплых куртках с немецкими «шмайсерами» за плечами. Разговаривали с трудом, но кое-что поняли: при всей несхожести славянских языков в них всегда есть много похожих слов, иначе звучащих, а все же знакомых по смыслу. Тут же спасенных переодели и переобули и повели еще выше в расположение не очень многочисленного и разнородно вооруженного партизанского отряда.

Что можно рассказать о жизни в отряде? Она была недолгой, но дружной, научились понимать друг друга, вместе ходили в разведку, вместе нападали на малочисленные немецкие транспорты и отстреливались, уходя от карателей, иногда осмелившихся забираться и в эти заоблачные выси. У гитлеровских оккупантов здесь не было крупных военных соединений, а местные квислинговцы сами боялись партизан, как чумы.

И все же наконец их накрыли.

Резервная немецкая мотопехотная дивизия отходила на север из Братиславы на укрепление отступающих от Дуная гитлеровских армий. Ее фланговые соединения и напоролись на лесистых склонах на маленький словацкий партизанский отряд, не успевший отойти в горы. Бой был неравный. Партизаны потеряли больше половины бойцов, остальным удалось прорваться на скалистые горные тропы, труднодоступные для мотопехоты. Корнев с Ягодкиным прикрывали отступление, и почти в безнадежном положении им все же удалось обмануть противника, укрывшись в одной из скальных трещин. Таких трещин-пещер в здешних Татрах довольно мно-

го, и найти их было нелегко: требовалось время, а времени у гитлеровцев как раз и не было. Ограничившись круговым пулеметным обстрелом, они прекратили преследование.

И тут свершилось самое страшное, что Корнев мог ожидать. Мишу Ягодкина ранило в живот. Пуля застряла где-то в тазобедренной части, и внутреннее кровоизлияние буквально убивало его у Корнева на глазах.

— Прощай, Толя, — прохрипел Миша, когда Корнев нагнулся, чтобы положить его поудобнее. — Не трогай. Кончается Мишка Ягодкин.

— погоди, Миша, — бессмысленно лепетал Корнев, с трудом сдерживаясь, чтобы не завывать от отчаяния. — Вот дотащу тебя до деревни — она совсем рядом. Там и врача найдем, и тебя выходим.

— Не успеешь, — сказал он, переходя на шепот, — ты даже не знаешь, где эта деревня... Посиди рядышком, пока я доживу положенное мне... И не хорони меня... Завали камнями потяжелее, чтобы зверье не добралось: земля здесь каменистая, глубоко не вскопаешь...

Так и остался Корнев один, двадцатилетний парень, почувствовавший себя в одно мгновение постаревшим на четверть века. Два дня пробыл в пещере, пока не кончились партизанские сухари, захваченные в поход: завалил тело покойного друга камнями. А дальше был уже путь к своим, к наступавшим с юго-востока советским армиям. В словацких деревнях, где он проходил, их тоже ждали, гитлеровских карателей и полицаев как метлой вымело, а его, да еще в партизанской овечьей безрукавке, всюду встречали как родного: оставайся, мол, и живи, вместе дождемся. Но он шел и шел, пока не встретил наконец в одном из поселков советскую пехоту на марше.

Корнев был счастлив, его приняли тепло и участливо, но он уже был готов к ожидавшим его неприятностям. И они не замедлили последовать: им заинтересовался дивизионный смерш в лице майора Осипова. Он не осуждал его: кем для него мог быть человек, говорящий по-русски, но оказавшийся на вражеской территории в чужой крестьянской одежде, да еще с немецким «шмайсером»? Соотечественником? Возможно. Но и среди соотечественников были предатели и немецко-фашистские агенты. Да и подтверждающих его рассказ

документов у Корнева не было: настоящие остались в воинской части, из которой он уходил с Ягодкиным и Гадохой в разведку, а ни в концлагере, ни в партизанском отряде документов не выдавали. Правда, приютившие его крестьяне засвидетельствовали его участие в партизанском отряде, а выжженное клеймо на руке подтверждало и лагерь. Но Осипова это не удовлетворяло, он настаивал на направлении в тыл для специальной проверки. И тут Корневу опять повезло. Командиром полка, в расположении которого он очутился, был... я. Да, да, я, тогда уже майор, очень обрадовавшийся «воскрешению» старого друга. Я тотчас же подтвердил Осипову, что Корнев действительно Корнев, бывший старший лейтенант, и, договорившись с дивизионным начальством, под свою ответственность оставил его в полку рядовым.

Начав войну рядовым, он и продолжал ее рядовым, только опыта, находчивости и умения ориентироваться в любых обстоятельствах у него было много больше, чем раньше. Для солдат он был своим парнем, ему верили и не чурались как разжалованного, командиры хвалили, а я сам частенько в затишье навещал старого друга, подтверждая, что скоро придут из нашей прежней роты запрошенные мною документы и все восстановится — и его имя, и солдатская честь. И этак через месяц уже на труднейшем пути к Берлину документы наконец пришли.

— Старший лейтенант Корнев, — отчеканил вызвавший его Осипов, — возвращаю вам ордена, партийный и военный билеты. Ваше счастье, что в ротной канцелярии у вас они уцелели.

— Спасибо, товарищ майор, — радостно вздохнул Толя. — Значит, все-таки поверили и в мое пребывание в концлагере, и у словацких партизан.

— Лагерь, упомянутый вами, уже освобожден, — невозмутимо ответил Осипов, его ничуть не задел скрытый упрек. — К сожалению, фашистские хозяева лагеря, удрав на запад, захватили с собой и всю его документацию. Но кое-кто из бывших его заключенных вспомнил вас и ваш сенсационный побег.

Легко представить, как приятно мне тогда было сказать Толе:

— Принимай роту, командуй...

А спустя месяц или больше он — уже в звании ка-

питана — командовал батальоном на Зееловских высотах, а в Берлине майором закончил войну. Я не рассказывал сейчас об этом Саше — он слышал все и от меня, и от самого Корнева, который до самой своей смерти шесть лет назад — инфаркт, подорвал все же сердце в лагере, — дружил и со мной, и со старшим Жирмундским. И не только слышал, но и читал: после войны Толя Корнев закончил литинститут, много писал, и была у него повесть о фантастическом побеге двух военнопленных из лагеря смерти в Словакии. Вон она — стоит на полке в моем кабинете, только фамилии героев в ней изменены...

4

Итак, дело Лжеягодкина было закрыто. Ни мы, ни уголовный розыск не могли раскрыть его связей. Тайна тысячи долларов и английского шифра в медной шкапулке так и осталась неразгаданной.

Я был убежден, что, проникнув в Советский Союз с документами на имя Михаила Федоровича Ягодкина, Сергей Гадоха не вернулся к своему уголовному прошлому. Расследование уголовного розыска подтвердило, что ни одно из крупных преступлений за послевоенные годы — ни вооруженные ограбления сберегательных касс, ни угон и перепродажа автомашин, ни хищения — не было связано с именами Гадохи или Ягодкина. Да и документы на имя Ягодкина могли изготовить для него лишь те, кому досталась вывезенная из лагеря документация. Для чего — ясно: его могли обучить в одной из бывших немецко-фашистских разведывательных школ. Почему новые хозяева выбрали для этого Гадоху, тоже ясно. Во-первых, он русский, во-вторых, готовый на все уголовник, предатель в дни войны, полицей и капо в оккупации.

В деле Гадохи для меня все было ясно, кроме одного: чем он занимался в Москве в своем газетном киоске, кроме продажи периодики, значков и открыток? Но и на этот вопрос вскоре был добыт ответ. Мы получили любопытное, загадочное и неожиданное письмо. Принес его сам автор, адресовалось оно «следователю по делам иностранных разведок». А неожиданным и загадочным было даже не содержание письма, а имя, отчество и фамилия его автора: Ягодкин Михаил Федорович.

Новый Ягодкин. И опять Михаил Федорович. И снова совпадение — не мой.

Я читаю и перечитываю письмо в присутствии лукаво улыбающегося Жирмундского. Он уже прочел его и уже наверняка сделал свои выводы из прочитанного.

А я снова читаю:

«Уважаемые товарищи! Пишет вам М. Ф. Ягодкин, зубной врач-протезист, работающий в стоматологической поликлинике Киевского района. Я участник Великой Отечественной войны, имею боевые награды, в плену не был и на оккупированной врагом территории не проживал. Родственники за границей у меня есть, но связи с ними не поддерживаю, хотя и получаю иногда от них переводы. За границу после войны ни разу не выезжал, даже в социалистические страны по профсоюзным туристским путевкам. В Москве до прошлого года я жил на Шереметьевской в Марьиной роще, а потом переехал в отдельную квартиру в кооперативном доме на улице Дунаевского. Сообщаю вам об этом так подробно, потому что это имеет непосредственное отношение к вчерашнему происшествию в поликлинике. На прием ко мне явился без записи сравнительно молодой человек в дорогом импортном костюме и рубашке в красную клеточку. Оказалось, что иностранец. По-русски он говорил хорошо, но очень уж тщательно выговаривал все буквы, как это делают иностранцы, так и не сумевшие освоить нашу русскую, а в особенности московскую разговорную речь. Я сказал ему: «Ваша фамилия? По-моему, вашей лечебной карточки у меня нет». А он в ответ: «Это неважно. Я к вам от дяди Феди. Он ждет посылку». — «Какого еще дяди Феди? — недоумеваю я. — Нет у меня такого». А он спрашивает: «Ваша фамилия Ягодкин?» — «Ягодкин», — подтверждаю я. — «Михаил Федорович?» — «Точно». — «Вы переехали сюда из Марьиной рощи?» — «И это верно». — «Так почему же вы не отвечаете как положено?» Тут уже я рассердился и говорю: «Вы меня с кем-то путаете. Приходите без записи, а у меня прием». Он помолчал немного, должно быть сознавая свою ошибку, извинился и вышел. А вечером, размышляя об этом непонятном визите, я вспомнил две фразы посетителя: первую — «Я к вам от дяди Феди. Он ждет посылку» и вторую — «Так почему же вы не отвечаете как поло-

жено?». А вдруг это пароль? Значит, был другой Ягодкин, который знал дядю Федю и мог ответить как положено. Происшествие это меня очень встревожило, и я решил, что нужно обо всем рассказать вам. А вы уж разберетесь, что надо делать».

К письму приложена визитная карточка автора с адресами и телефонами его поликлиники и квартиры.

Я долго молчу, пока не вмешивается Жирмундский:

— Ну что скажешь, дядя Коля?

— Раздумываю.

— О чем? Пожалуй, все ясно... Иностранец шел к сгоревшему Ягодкину, но дворницкая и соседний дом уже снесены, соседи разъехались — спросить не у кого. Ну и узнал адрес Ягодкина в ближайшем окошечке Мосгорсправки.

— Мосгорсправка дает адрес дома, а не места работы.

— А может быть, он заходил и домой, узнал у соседей, где работает Ягодкин?

— Почему у соседей?

— Может быть, дома никого не застал.

— А почему он не пошел к Ягодкину в киоск? Для связного это было бы разумнее.

— Возможно, ему дали явку в дворницкую.

— Опять «может быть» и «возможно». Вот ты и проясни. Побывай у Ягодкина или позвони ему, пригласи к себе. Для него это даже лучше: сплетен не будет. Да и я смогу зайти на разговор.

— Значит, мне допрашивать? — удивился Жирмундский.

— Не допрашивать, а расспросить. И не только о происшествии, а и о жизни вообще. Женат или холост, как живет, чем интересуется, с кем дружен. Так сказать, прощупать личность, характер, реакцию на вопросы, склад мышления. Если нужно будет, я вмешаюсь.

Жирмундский удивлен еще более, недоумевающий взгляд, полное непонимание моей пристрастности.

— Неужели ты его в чем-то подозреваешь? — почти растерянно спрашивает он.

— Нет, конечно, — разъясняю я. — Просто хочется знать побольше об авторе письма.

Больше всего терзало меня сомнение или совпадение, если хотите, — еще один двойник Ягодкина! Случайно? Вероятнее всего, именно так. Наверно, Соболе-

вых в Москве десятки, и наверняка есть среди них и Николай Петрович. Так стоит ли удивляться, что к нам в поле зрения попал еще один Ягодкин?..

На другой день Жирмундский уведомил меня по телефону, что автор письма уже получил пропуск и направляется к нему в кабинет.

Подождав чуток, захожу туда и я. Вхожу без стука, и Ягодкин тотчас же оборачивается. Ничего знакомого в нем — никогда его не видел. Высок, худ, длинные волосы с проседью, подстриженные усы и черноморский загар: видно, недавно приехал с юга.

Я в штатском, звания моего он не знает, и потому я вежливо, но деловито обращаюсь к Жирмундскому:

— Разрешите поприсутствовать, товарищ майор.

И в ответ на согласный Сашин кивок сажусь позади Ягодкина.

— Вы можете поподробнее описать этого иностранца? — спрашивает Жирмундский.

Ягодкин отвечает не сразу, подумав, словно вспоминая, и в голосе его не слышно ни настороженности, ни волнения.

— Отчего же, конечно, могу. Помню довольно ясно — хорошо рассмотрел. О том, как был он одет, я уже вам писал, а вообще: ростом пониже меня, не атлет, даже со склонностью к полноте, блондин, стрижен коротко, вроде меня, глаза чуть прищуренные с пронзительным, изучающим вас взглядом, ни усов, ни бороды, даже модных теперь бачек нет, а нос прямой, чуть-чуть с горбинкой.

— Ну что ж, — замечает Жирмундский. — Описание довольно подробное. Можно с вашей помощью сделать фоторобот.

— Пожалуйста, — соглашается Ягодкин.

— А вы не можете указать тех, кто еще видел его в поликлинике?

— Мои пациенты, ожидавшие приема. Фамилии и адреса можете записать по лечебным карточкам. Я скажу, чтобы вам дали их в регистратуре.

Жирмундский вежлив и дружелюбен. Расспрашивает, по-деловому интересуется.

— А как он узнал, где вы работаете?

— Понятия не имею. Он знал даже, что я переехал сюда из Марьиной рощи.

— Может быть, он заходил к вам домой?

— Не знаю. Дома никого не было. Я сейчас не женат.

— Холост?

— Нет, разведен. Пока живу один.

— Может быть, он заходил к вашим соседям?

— Где? В Марьиной роще? Так дом снесен, и все разъехались кто куда. А с новыми соседями я почти незнаком. Где работаю, знают только в правлении ЖЭКа. А там никто обо мне не спрашивал.

— Тогда расскажите просто о себе, — улыбается Жирмундский. — Вы были женаты, развелись. А где сейчас ваша жена, под какой фамилией живет и где работает?

— А какое отношение это имеет к происшествию в поликлинике?

— Возможно, прямое. Он мог получить адрес поликлиники и у вашей бывшей жены.

— Я не поддерживаю отношений с моей бывшей женой. — Ягодкин сух и холоден. — Линькова Елена Ивановна. Живет в Москве. Получила однокомнатную квартиру. Где именно, не знаю.

Я считаю, что пора мне вмешаться.

— В письме к нам вы называете себя участником Великой Отечественной войны. Где вы воевали, на каком фронте, в какой части и в каком звании?

— А почему я должен отвечать на этот вопрос? — совсем раздраженно откликается Ягодкин. — И почему вам? Вы это можете выяснить сами, если хотите.

— Хотим, — говорю я. — Но сначала спросим у вас. Ваше письмо интересно, и уже потому многое в нем требует проверки. Поймите: не зная, как и, главное, почему этот иностранец нашел именно вас, мы вообще ничего не сможем объяснить. Ни себе, ни вам.

Я понимаю раздражение Ягодкина. Так и должен вести себя любой сохраняющий свое достоинство человек, непричастный к описанной в письме ситуации. Не он создал ее в поликлинике, не он виноват в ней, так почему же интересуются его прошлым, явно не имеющим к ней отношения? Но мой тон и настойчивость все же побуждают его отвечать.

— На Юго-Западном фронте с начала войны. Призван в Минске, — он называет военкомат, часть, куда был направлен, имена командиров полка и роты. — Начал войну рядовым, кончил служить старшим лейте-

нантом. Имею два ордена. Снят с учета в сорок третьем году по свидетельству медицинской комиссии о негодности к военной службе. После ранения два года не мог ходить: так было повреждено колено. Передвигался на костылях, потом с палочкой, да и теперь хромаю. А как воевал, спросите у моего ротного. Сейчас он под Москвой, директор дома отдыха в Старой Рузе.

— А после войны где работали? — спрашивает Жирмундский.

— Сначала учился.

— В Минске?

— В Минске уже никого у меня не было. Отец и мать погибли в эвакуации. Товарищи помогли устроиться в Москве, поступил в Московский стоматологический. По стопам отца — он тоже был протезистом. На этом, я думаю, моя биография исчерпана, — иронически заключает Ягодкин. — Думал помочь опознать врага, а вышло, что сам на допрос попал.

— Неужели вы не понимаете разницы между допросом и товарищеской беседой? — говорю я. — Вы действительно помогли нам, и не только тем, что написали о происшествии в поликлинике. До этого разговора вы были в наших глазах лишь автором заинтересовавшего нас письма, теперь же мы узнали человека, которому не стыдно рассказать о прожитых годах. Вот так, товарищ Ягодкин. Ну а сейчас мы займемся фотороботом. У вас есть еще время? В лаборатории мы отнимем у вас не более получаса.

А затем мы сообща создавали портрет искомого иностранца. На экране в темном залеплыли перед нами высокие лбы, прически с короткой стрижкой, щеки с различной степенью пухлости, носы с горбинкой. Ягодкин отбирал, отвергая и подтверждая.

Наконец портрет составлен.

— Похож? — спрашиваем мы у Ягодкина.

— Никогда не думал, что могу описать его так наглядно.

На этом и заканчивается наша встреча.

5

Поручив Жирмундскому проверить в архивах военную биографию Ягодкина, я решил сам съездить к его ротному командиру, ныне директору подмосковного до-

ма отдыха. Обмелевшая Москва-река, лиственнно-хвойный лес по краям шоссе и в зеленой лесной глубине его белый каменный корпус современной постройки: профсоюзный дом отдыха «Лебедь». Директор Жмыхов Андрей Фомич.

В кабинете директора чисто, как в больничной палате. Письменный стол с креслом, два стула, диванчик; на стенах ни плакатов, ни лозунгов.

Директор встает за столом, пожимает руку, спрашивает:

— Только что приехали?

— Только что, — отвечаю я и показываю ему служебное удостоверение.

— Ого, — говорит он с уважением. — Простите, товарищ полковник. Что же вас интересует в моей служебной деятельности?

— Не в вашей служебной деятельности, Андрей Фомич, а в вашем военном прошлом. Не помните ли вы своего однополчанина, старшего лейтенанта вашей роты, Ягодкина Михаила Федоровича?

Жмыхов наклоняется ко мне, в глазах удивление.

— Конечно, помню. Я встречался с ним и после войны. Он даже отдыхал у нас, товарищ полковник. А что случилось?

— Меня зовут Николай Петрович. Ягодкин проходит у нас как свидетель по одному делу. И меня интересуют не его послевоенные, а именно военные годы. Как воевал, не был ли в окружении, ездил в командировки в другие части?

— Отлично воевал, два раза представляли его к награде. В окружении не был, как и вся наша часть. В командировки не ездил. Ничего подозрительного.

— Я и не ищу подозрительного, Андрей Фомич. Просто интересуюсь человеком как личностью.

— Но интересуетесь-то вы не мной, а моим подчиненным. А я знаю, где вы работаете. Все понятно: смерш?

— Сейчас другая терминология, Андрей Фомич.

Расспрашивать дальше было бессмысленно. Все совпадало с рассказом Ягодкина. Другая биография, другой Ягодкин. У него никто не крал биографии, как украли ее у моего. И люди, что это сделали, даже не подозревали, что в нескольких кварталах от местожительства, отведенного Лжеягодкину, преспокойно жил

еще один Ягодкин с теми же паспортными данными. Отсюда и ошибка связного, не нашедшего на месте человека, с которым он шел на связь. Надо искать связного.

Нашли его быстро. Опознали его в таможне Шереметьевского аэропорта. Им оказался некий Франц Дроссельмайер, представитель одной швейцарской часовой фирмы. Был в СССР недолго, ознакомился с нашим часовым производством и выяснял возможности коммерческих связей. Но опознали его по фотороботу все-таки слишком поздно: накануне он уже улетел на родину. В Москве был, оказывается, впервые. Ничем, кроме производства часовых механизмов, не интересовался, в театрах не бывал и встречался только с корреспондентом одной швейцарской газеты. Ничего особо интересного я не узнал, кроме одного поразившего меня обстоятельства. Дроссельмайер не говорил по-русски, он всюду объяснялся через переводчика. Мы нашли и этого переводчика, все подтвердившего: по-русски Дроссельмайер мог произнести только два слова: «спасибо» и «хорошо».

Так он или не он заходил к Ягодкину?

Я решаю выяснить это сам. Надо ехать к Ягодкину. Заехать ненароком, без приглашения, как бы проезжая мимо: больно уж он обидчив. Возвращался, мол, домой и решил заглянуть и поблагодарить его за помощь, да и показать не составленный нами совместно фоторобот, а подлинную фотокарточку Дроссельмайера. Но тянуло меня к однофамильцу Миши и другое. Что-то мне не понравилось в его письме и в личной беседе.

Не могу объяснить что... Вероятно, разговор с ним на разные темы, о житейском обиходе и домашнем уюте — ведь мы с ним, можно сказать, сейчас холостяки поневоле, — поможет мне заглянуть в душу и понять недопонятое.

На небольшом асфальтовом плацу возле его подъезда, где я оставляю машину, стоит еще одна «Волга» — голубая и совсем новая или ухоженная настолько, что ее можно принять за новую. Спрашиваю у старичка в подъезде: чья? «Ягодкина, — говорит. — Кому же еще такие машины покупать — деньжищ тьма. А вы к кому?» — «Да к нему же», — говорю. «Зубки, значит, сменить хотите, — ухмыляется старичок, видно, до спле-

тен охочий. — Третий этаж. Квартира с медной дощечкой».

Подымаюсь без лифта — невысоко. Звоню. Колокольчик за дверью откликается музыкально и весело.

Дверь открывает сам Ягодкин. Он в пижаме и теплых туфлях. Глаза блестят — или поспорил жарко, или выпил. Последнее подтверждает легкий винно-водочный ветерок, дохнувший из комнаты.

Блеск в глазах сменяется недоумением, даже растерянностью, впрочем, тотчас же скрытой.

— Господи боже мой, — уже умиляется он. — Сам полковник Соболев удостаивает меня вниманием. Проходите, полковник, у меня несколько не прибрано: только что поужинал в теплой компании. Да вы не беспокойтесь, мы одни. А пиджак снимите: у меня жарко.

Делаю первый вывод: уже постарался узнать мою фамилию, должность и звание. Зачем? Естественное любопытство при воспоминании о человеке в штатском, так строго говорившем с ним в кабинете майора? Может быть. Но от кого он мог это узнать?

Остатки ужина убраны. На столе никакой еды. Только шампанское, коньяк, лимонные дольки в сахаре да еще джин и пепси-кола вместо тоника. Гостей, видимо, было много, судя по количеству бутылок и рюмок. Широко живет протезист с новенькой «Волгой» и таким интерьером: старинная мебель, дубовые стулья с медной лампой, заказные стенды с книгами и вольтеровское кресло у телевизора.

— Может быть, коньячку выпьем? — предлагает Ягодкин, убирая посуду. — Я сейчас рюмки переменю.

— Не беспокойтесь, Михаил Федорович, — останавливаю я его. — У меня не тот возраст, и сердце надо беречь. А о звании моем забудьте: вы не у меня на службе. И, как и у вас, у меня есть тоже имя и отчество. Николай Петрович, к вашим услугам.

— Тогда чем обязан? — спрашивает он. В голосе уже сухость, которую следует размочить. Учту.

— Хочу поблагодарить вас, Михаил Федорович, — говорю я. — За ваше письмо и бдительность. Кажется, вашего посетителя мы нашли. Вот он, поглядите. — И я кладу на стол фотокарточку Дроссельмайера.

— Он! — обрадованно узнает Ягодкин.

— Вы уверены? — вновь спрашиваю я, положив фотографию обратно в бумажник.

— Несомненно, — уточняет Ягодкин. — Именно он.

— И говорил с вами по-русски... — без акцента?

— Без малейшего.

— Больше он вас беспокоить не будет. Кстати, от кого вы узнали о моей должности и фамилии?

Ягодкин не смущается.

— У одного из ваших работников. Проходил по коридору, искал кабинет майора и обратил на себя внимание кого-то из проходящих мимо. «Вы к полковнику Соболеву?» — спросил тот. Я взглянул на повестку и сказал, что к майору Жирмундскому. Ну а когда вы зашли в кабинет и заговорили при майоре таким начальническим тоном, я уже понял, с кем имею дело.

Признаю, что Ягодкину нельзя отказать в сметливости, а мне в недостаточной осторожности. Подвели меня не вопросы, а тон, каким они были заданы. Не рассчитал чутья и догадливости собеседника.

И все-таки он меня вроде бы побаивается, чувствую. Почему?

— А ведь уютно у вас, — говорю я будто бы невзначай. — Уходить не хочется. Плесните-ка мне коньячку чутко, как говорится, посошок на дорогу. А я пока на ваши книги взгляну.

Подхожу к стендам. Подписные издания, классики, переплетенные тома дореволюционных журналов, вроде «Исторического вестника», полный Дюма в издании Сойкина и другие, явно букинистические приобретения. А Ягодкин тем временем уже поставил на стол два чешских широких бокала.

— Присаживайтесь, — приглашает он. — Армянский коньяк десятилетней выдержки. Лучше «Мартеля». Редкость по нынешним временам.

— И на книжных полках у вас немало редкостей, — замечаю я не без зависти, но и не без умысла: пусть знает, что я тоже библиофил, скорее разговоримся.

Проходя к столу мимо открытой двери в соседнюю комнату, мельком вижу журнальный столик с кляссером большого формата.

— Хорошую библиотеку собрали, — говорю я. — И давно это у вас?

— Подбираю мало-помалу. Всю жизнь, в общем, с тех пор, как начал работать. Спросите, на какие денеж-

ки? Догадываетесь небось, сколько все эти редкости стоят? Охотно отвечу. Выгодная у меня специальность, Николай Петрович. Много заработать можно и без хищения государственных средств.

Во-от что его волнует!.. Ну, милый Михаил Федорович, это уж не моя компетенция. Тут вами другое ведомство заинтересуется, если надо будет...

— А как насчет государственного времени?

— Время проверить трудно. Оно растяжимо. И служебное время можно объединить со своим. Никакой фининспектор не учтет частных заказов.

— А я не фининспектор. Мне интересны ваши книги, а не их стоимость. Кстати, вы и марки собираете? Я мельком заметил ваш кляссер в соседней комнате.

— Старое хобби, — улыбается Ягодкин, — еще мальчишеское увлечение, потом надолго забросил, а за последние годы вдруг начался рецидив. Собрал довольно крупную коллекцию марок. Тематика — полярная почта. Все связанное с Арктикой и Антарктидой, все экспедиции и открытия.

— Гашеные или негашеные? — спрашиваю я, не проявляя большого интереса к ответу: в филателии я нешибко разбираюсь.

— И те и другие. Мои коллеги-филателисты часто предпочитают только гашеные, но я не фанатик. У меня, как у Ноя, каждой твари по паре. Хотите взглянуть?

— Нет, спасибо. Я не филателист.

Коньяк выпит, засиживаться неудобно. Узнал я немного, но какие-то черты личности проявились: приобретатель. Современная разновидность мещанства... Извиняюсь, что отнял время у любезного хозяина, встаю и еще раз благодарю его за проявленную бдительность.

— Может быть, еще встретимся, — говорю я.

— Упаси бог! — с картинным испугом откликается он. — Беда, когда вы балуете вниманием нас, грешных. Вот тогда и чувствуешь, что выглядишь грешником. Скажете: негостеприимно? Согласен. Но с госбезопасностью лучше не сталкиваться. Я за нейтралитет.

Вечером я у Саши Жирмундского. Теперь он хозяин. Уже не шахматы, а телевизор. Футбольный матч между киевским и московским «Динамо». Болею, конечно, за москвичей.

О Ягодкине молчу, сказать-то ведь, в сущности, не-

чего. Но Жирмундского не обманешь. В перерыве между таймами он спрашивает с ухмылкой:

— Ну, посмотрел все-таки, как он живет?

— Хороший ты чекист, Саша, — говорю я. — Догадливый.

— А я и не догадывался. Просто спросил у твоего водителя, куда ты ездил после работы.

— Богато живет, — говорю. — Голубая «Волга», антикварная мебель, бар с армянским коньяком десятилетней давности и прочими десертными винами, а библиотека — позавидуешь! Даже «Молодость Генриха Четвертого» Понсон дю Террайля на полках стоит. Все три тома.

— Да-а, — тянет Саша. — Я в Доме книги на Калининском один видел. Семьдесят пять рублей цена! Вот тебе и зубной технарь.

— Только интересного для нас, Сашенька, в нем ничего нет. А приватная деятельность на ниве зубных коронок и пластмассовых челюстей — это для фининспектора забота. Да он и сам это знает и, видимо, не очень нас боится. Попивает коньячок редкой крепости в соответствующей компании и смакует свой классер с коллекцией марок.

6

После моего доклада генералу дело о сигнале Ягодкина откладывается в резерв, вплоть до возможного вторичного приезда Дроссельмайера в Москву. Пока сведений о его деятельности на поприще иностранных разведок к нам не поступало. Просто трудился в своей часовой фирме, той самой, от которой приезжал в Москву ее представителем. Зарубежные разведчики, правда, часто пользуются крышей какой-либо из торговых или промышленных фирм, но в данном случае могло быть иначе. Или он был строжайше засекречен даже от хозяев фирмы, или вообще не был разведчиком.

А если так, то возникает некая сумма противоречий. Кто лжет, Дроссельмайер или Ягодкин? Или Дроссельмайер действительно хороший разведчик, или Ягодкин выдумал всю эту историю с гостем из-за границы? Но как же он сумел составить тогда почти точную фотокопию гостя? Может быть, он где-то видел его и за-

помнил? И тут уже вполне закономерен вопрос: для чего понадобилась ему эта игра в бдительность? Или эта игра только следствие психической ненормальности? Шутка скрытого шизофреника, вообразившего себя Джеймсом Бондом из Марьиной рощи. А вдруг здесь что-то другое, куда более серьезное и опасное?

— Может быть, Ягодкина все-таки еще раз «прощупать»? — докладываю я генералу о своих размышлениях.

— А зачем? — недоумевает он. — Дело приостановлено. Швейцарский немец удрал. Агент его, хотя вы и не доказали, что он именно его агент, благополучно «сыграл в ящик» и разоблачен посмертно, а настоящий Ягодкин отнюдь не его замена. Так можно любого прохожего заклеить. Как при Анне Иоанновне: кричи «Слово и дело» и хватай за шиворот. Ведь ты у него был и ничего интересного не нашел.

— Можно и с его друзьями потолковать.

— Ведь у тебя не только обвинений, а и подозрений нет. Нет даже основания для таких подозрений. Вот так, братец, жми, да не пережимай.

Получив «указание» начальства, призадумываюсь. Все-таки что-то меня беспокоит в Ягодкине, что-то недосказанное.

— Ведь перешла же к кому-то агентура Гадохи, — размышляет Жирмундский.

— Нет, конечно. Но все же кому-то предназначались новенькие доллары из шкатулки Гадохи.

— Судя по сумме, обнаруженной в этой шкатулке, покойный был довольно прижимист. Может быть, шкатулка подкармливала его самого? Но в советские рубли доллары в кармане не превращаются. Их кто-то должен был продавать или обменивать.

— Придется проверить, нет ли «валютчиков» в окружении Ягодкина.

С проверкой, однако, решили не торопиться: времени у нас много, а подозрений — кот наплакал.

— Побываем сначала у его бывшей жены, — предлагаю я. — Попробуем и поликлинику.

— С поликлиникой подождем, — не соглашается Жирмундский. — Что могут подсказать там, кроме сплетен о его частной практике? А для дирекции он чист и прозрачен, как промытое стеклышко, — лучший протезист, мастер своего дела. Да так оно и есть: жу-

лика бы здесь не держали. Лучше начнем с его бывшей жены. Ее отношения с ним, судя по его реплике, вероятно, на грани «холодной войны».

— Наговоры брошенной и обиженной?

— Не исключено. А вдруг не наговоры? Вдруг обиженной, но объективной? Адрес ее известен: живет в новом доме у станции метро «Варшавская». Телефона у нее нет. Ну и рискнем без звонка.

— А если она сообщит Ягодкину о нашем визите?

— Вряд ли. Да если и так, что с того? Он понял, что интересен нам.

— Скорее, ОБХСС... — смеется Жирмундский.

Линькова Елена Ивановна действительно дома. И одна. Тугой узел волос на затылке и морщинки у глаз ее старят. Следы былой миловидности еще заметны, но лишь следы. И одета скромно. В строгом костюме, и никаких украшений — ни колец, ни серег. Явно не вписывалась она в изысканный интерьер Ягодкина.

Мы представляемся и получаем приглашение зайти в комнату, по-видимому служащую и гостиной и спальней. Завтракает и ужинает хозяйка на кухне, откуда и приносит на стол уже заваренный крепкий чай, должно быть только что приготовленный.

— Мы к вам, очевидно, не вовремя, — говорю я. — Вы собирались чай пить, а мы нагрянули.

— Будем пить вместе. Чай-то я умею приготовить, с молоком, по-английски, — отвечает она и ставит на стол молочник и весьма аппетитные булочки. — То не многое, что умею...

— Вы были в Англии? — мгновенно реагирует Жирмундский и, по-моему, слишком заинтересованно.

Но она откликается просто и доверчиво:

— Да, в Лондоне. Месяца три назад. На симпозиуме по вопросам судебной медицины. Я ведь в специальном институте работаю, имею некоторую причастность к человековедению. А что вас привело ко мне?

— Ваш бывший муж, — говорю я.

Лицо ее каменеет.

— Нас с ним уже ничто не связывает, и, вероятно, я не смогу быть вам полезной.

— Именно вы и можете, — вмешивается Жирмундский. — Вы же его знаете лучше, чем мы.

Она все еще очень сдержанна. Видимо, ей совсем не нравится тема уже начатого разговора. Но тон Жир-

мундского настойчив, я бы сказал, даже повелительно настойчив.

— Я действительно его знаю, — неприязненно говорит она, — но...

— А зачем «но»? — смеется Жирмундский. — Мы тоже убеждены, что вы знаете.

Улыбается и она.

— Чем же он мог заинтересовать ваше высокое ведомство?

Я отвечаю примерно так же, как и в беседе со Жмыховым.

— Он проходит у нас свидетелем по одному важному делу. Какого именно, говорить не будем. Где он работает, мы знаем, и характер работы нам известен. Нас интересует другое. Его личная жизнь, быт, привычки, склонности, увлечения, знакомства. Вы уже сказали, что имеете некую причастность к человековедению. Такую причастность имеем и мы. Вот вы и расскажите нам о нем все, что знаете.

— А что ж это вы ко мне, а не я к вам? Гора к Магомету?

— Были рядом, вот и рискнули, — улыбается Саша. — А Магомета к горе — так дело-то неспешное, зачем пророка беспокоить.

— Я и пророк, — смеется она и снимает улыбку вдруг, сразу: — Задавайте вопросы. Так будет легче.

— Давно ли вы разошлись?

— Год назад. Сегодня ровно год. Самый счастливый из последних трех лет моей жизни.

— Почему?

— Год без Ягодкина.

— А долго ли вы прожили вместе?

— Почти два года, а вернее, всего только год, когда я жила как в тумане, сознавая всю трагическую для меня нелепость этого брака, все изо дня в день растущее отвращение к этому человеку. Ну а второй год был попросту годом сосуществования на одной территории с правом невмешательства в личные дела каждого. Мы только старались поменьше встречаться, а встречаясь, молча терпели друг друга, откладывая формальный развод до разъезда. Вас, наверное, интересует, как и почему возник этот союз совсем несхожих натур, да, если хотите полярных, антагонистических ду-

ховно. Только боюсь, что мое свидетельство будет не объективным, не в пользу Ягодкина.

Мы с Жирмундским молчим, не скрывая своего интереса к рассказу. Тогда она, глотнув уже остывшего чая, продолжает:

— Вышла я замуж тридцати семи лет — возраст, как говорится, не свадебный. Случилось это пять лет спустя после смерти моего первого мужа. Он тоже был врачом, как и я, и погиб, можно сказать, на боевом посту во время холерной эпидемии в Северной Африке. И показалось мне это пятилетнее одиночество холодным и неудобным. Бывает, знаете, так у не совсем еще старых баб. Вот тут я и познакомилась с Ягодкиным — в Ялте, в гостинице, где он, как и я, жил без санаторной путевки. Оба соседи по коридору, оба одиноки и свободны — он тоже похоронил свою первую жену и еще не обзавелся новой. Неглупый, интеллигентный, не лишенный мужского обаяния, но в свои пятьдесят два года казался моложе лет на десять и, надо отдать ему справедливость, умел развлечь скучающую курортницу. Тут и началась у нас этакая ресторанно-музыкальная круговерть с транзисторами и магнитофонами, с винными подвальчиками и барами, с пляжами и пикниками, с гонками на яхтах и мотолодках. Я никогда не жила такой жизнью и, как легкомысленная девчонка, поддавалась ее сомнительным соблазнам. Я сознавала их временность, знала, что вернусь в Москву к обычной для меня обстановке — долгим часам работы в институте, нечастым вечерним встречам с друзьями-сослуживцами и одиночеству дома за книжкой или за подготовкой диссертации, которую так и не смогла тогда защитить. Но когда пришло время уезжать, Ягодкин вдруг предложил мне стать его женой. Я сама не понимаю, почему согласилась так сразу и так легко — должно быть, все-таки боялась ждавшего меня одиночества. Полюбить друг друга мы еще не успели, ну просто потянуло двух одиноких к какой-то человеческой близости, и не следовало бы, конечно, торопиться с женитьбой, но уж очень хотелось мне домашнего уюта и мужской заботливости.

Она задумывается, и губы ее кривятся не радостью, а горечью недобрых воспоминаний.

— Так и была я наказана за то, что непростительно даже девчонке: месяц курортной канители — и нате,

пожалуйста, законный брак. Михаил Федорович Ягодкин и Елена Ивановна Линькова — хорошо, что фамилию свою сохранила, не пришлось после развода паспорт менять — обитают в двухкомнатной квартире в маленькой каменном особнячке в Марьиной роще. Соседей своих он мгновенно переселил в мою прежнюю комнату, а я очутилась под крылышком мужа, который постепенно стал раскрываться. И открылось моим глазам нутро человека-приобретателя, мещанское до самых бездонных глубин нутро. Два холодильника у нас доверху были забиты продовольственным дефицитом. Мало, скажете? Так прибавьте еще и библиотеку с уникальными книгами, которые никогда и не раскрывали, только ласково поглаживали их древние корешки. Мебель в квартире за два года три раза менялась. То югославский или финский модерн, то старинная антикварная краснодеревщина, а на стенах — либо старая грузинская чеканка, либо иконы подревнее, купленные у какого-нибудь церковного старосты. Сначала мне казалось, что он просто болен «вещизмом», думала его, как говорится, перевоспитать, ну, вылечить, что ли. Но через полгода уже поняла: не я его вылечила, а он меня опоганил. Мне все чаще и чаще виделось, что именно с таких, как он, Маяковский «Клопа» писал, и Ягодкин, как и Присыпкин, тяготился уничижительностью своей фамилии. Уж как ему хотелось быть не Ягодкиным, а скажем, Малиновским или Вишневым. Так не могу, говорит, дело не позволяет. И все развлечения, кроме телевизора, отменил сразу, всех моих друзей разогнал, а своих принимал только днем, когда меня дома не было.

Мы настораживаемся. Уже появились друзья. Когда, кто, откуда?

— После замужества, когда мы еще раз на курорте побывали и уже заперлись у себя в Марьиной роще, как в скиту, появились двое. Первый пришел, когда мужа не было, днем, а я дома оставалась, приболела немножко. Вошел затрепанный какой-то, в сальном пиджаке и нестираной рубаше без галстука. Опухший, отекающий, небритый. «Муж, — спрашивает, — дома?» Я говорю: «Скоро придет». — «Ну а я подожду, дорогуша, сколько хошь подожду, потому что, кроме него, мне идти некуда. Однополчанин он мой, дружок-фронтовичок. А ты, — говорит, — водочки мне сообрази, закуски не

надо. А без водочки не могу, с утра во рту капли не было». Посетитель меня не удивил, мало ли какие однополчане у него были, но повел себя муж при виде его странновато. Сначала даже не узнал как будто. А бродяга ему: хи-хи да ха-ха, вспомни, милоч, дружка старого. И тогда муж сыграл спектакль — и улыбку, и объятия, и прочие излияния дружелюбия. «А ты, Леночка, — говорит, — оставь нас вдвоем, мы тут посидим, прошлое вспомним». Долго они сидели, а потом дружок-фронтовичок исчез, со мной не попрощавшись, я на кухне была. «Что это за личность?» — спрашиваю у мужа. «Так, — говорит, — человечек из прошлого. Даже фамилию забыл, только кличку и помню: Хлюст.

Из штрафной роты он к нам попал, вместе из-под Минска драпали, ну а теперь вроде в беде: жалко. С блатными опять связался, милиция по пятам идет. Вот я и решил поспособствовать. Денег дал на дорогу, записку написал знакомому директору завода из Тюмени: пусть поможет бывшему фронтовику устроиться по-человечески. А там, глядишь, и судимость снимут за давностью». Вот и вся история с дружком. Ну а потом, этак через год с лишним, когда мы фактически уже разошлись и вот-вот должны были разъехаться, к Ягодкину пожаловал гость. Уже не фронтовичок в грязной рубашке, а джентльмен в клетчатом пиджаке, блондин лет тридцати пяти, с длинной по-модному шевелюрой. Познакомил нас Ягодкин, представил мне его как профессора стоматологии из Риги. Помнится, Лимманисом его назвал. Я так подробно об этом рассказываю лишь потому, что Ягодкина после его визита словно подменили. Появились какие-то пьяные девки, не то манекенщицы, не то продавщицы из каких-нибудь торгов — одна даже, помнится мне, торговала у нас в молочном киоске напротив. Да и привечал-то он их не для себя, а для новых дружков своих, из которых одни возникали и пропадали, другие задерживались дольше, бражничая по вторникам и четвергам, в его выходные дни в поликлинике. Были среди них и люди интеллигентные на вид, и просто подонки, которые у винных прилавков на троих соображают. А неизменно присутствовали в компании двое, их-то я и запомнила. Один из них, грузин московского разлива — без малейшего акцента говорил, — по имени Жора, а фамилию не знаю. Был он молод, этак лет тридцать, в сыновья Ягодкину годил-

ся, а хозяйничал за столом как первый министр в его правительстве. Второй тоже ходил под Ягодкиным, но больше помалкивал да поглядывал, кто это мимо открытой двери на кухню идет. Звали его — тоже без фамилии — Филей. Впрочем, Ягодкин как-то проболтался о нем, сказав кому-то по телефону: свяжись, мол, с нашим механиком Филькой Родионовым, он тебе машину в любой цвет перекрасит. Я сказала как-то Ягодкину, вскользь сказала, между прочим: зачем, мол, тебе этот поддон? А Ягодкин засмеялся и говорит: «Это для тебя он поддон, моя бывшая женушка, а на станции техобслуживания он бог Саваоф, поневоле поклонись, если моя «Волга» уже на ладан дышит». Кстати, тут он солгал: «Волга» у него была нестарая, в прекрасном состоянии. Может, в том была как раз Филькина заслуга. Не вмешивалась я и в его страсть к маркам: все его задулисные знакомства как раз и связаны с марками. Он часами торчал в обществе филателистов на улице Горького или в марочном магазине на Ленинском проспекте, с кем-то перезванивался и все о марках. Скрывал он от меня и свою любовницу. Ну а вы сами понимаете, как я к этому относилась: пусть хоть десяток заводит, мне-то ведь все равно. Вот так и прошла моя жизнь с Ягодкиным. Больше и рассказывать нечего.

Возвращаемся домой. Жирмундский за рулем что-то посвистывает, улыбается. А я молчу. Столько узнал, что не разложишь в мыслях, как пасьянс на столе. А вдруг сойдется?

— А ведь я знаю, о чем думаешь, товарищ полковник, — замечает многозначительно Жирмундский.

— О том же, что и ты.

— Я свое уже додумал. Я моложе, и у меня быстрее реакция. А ты сейчас комплектуешь вопросы, вытекающие из рассказа Линьковой.

— Кстати, зла она на Ягодкина, по-бабьи зла, хотя и притворяется равнодушной.

— Ее понять нетрудно: наш Ягодкин — личность явно несветлая. Но рассказ-то ее, если из него личные обиды вычесть, любопытен. И без вопросов не обойдешься. Почему солгал Ягодкин? Сказал, что не знает адреса своей бывшей жены. Бойтся он ее, что ли? Кто был этот латыш, и почему он исчез, оставив Ягодкина с непростым решением «начать жизнь по-новому»?

Он ненавидел свою фамилию, но изменить ее не решился: дело якобы мешало. О каком деле говорил он? О своей специальности? Но не все ли равно, какую фамилию носит дантист, даже весьма в Москве популярный? Кто был дружок-фронтовичок, угнанный им за тысячи верст от Москвы? И где сейчас этот дружок-фронтовичок? С кем был связан Ягодкин в своем марочном промысле? И какую роль в его окружении играли пресловутые Жора и Филя?

— А ведь из этих вопросов может сложиться версия, — заключает Жирмундский. — Только для кого? Для нас или для уголовного розыска?

7

И версия действительно складывается, правда, на одних предположениях основанная, ни одним фактом не подтвержденная.

Все же на ее основании я подаю рапорт генералу о продолжении расследования личности Ягодкина.

И вот я на очередном приеме у начальства, готовый к защите своей версии (или, вернее говоря, права на эту версию).

— Упряй, — улыбается генерал, он сегодня в отличном настроении, и это повышает тонус моей уверенности в победе. — Раскручивай свою гипотезу. Начиная с азов.

И я еще раз излагаю весь ход собственных мыслей, так красноречиво сформулированных Жирмундским в своем вопроснике.

— Версия складывается не из вопросов, а из фактов, или, точнее, из доказательств, найденных в процессе расследования.

— Разумное предположение тоже может быть источником версии, а я как раз и прошу расследования в поисках ее доказательств.

— Ладно, выкладывай свое разумное предположение, — соглашается генерал. — С чего начнешь?

— С военных лет. Допустим, что уже в те годы в распоряжении гитлеровской разведки оказывается необходимая документация на двух советских людей с некоторой возрастной разницей, но с одинаковым именем, отчеством и фамилией. Какая идея может возникнуть у хозяев этой разведки или у их преемников сразу же

после войны? Ведь ставка на «двойников» не есть нечто новое в разведывательной практике.

— Допустим, — опять соглашается генерал.

— Тогда допустим и другое. Поскольку один из «двойников» считается уже несуществующим, то его анкетные и биографические данные, составленные с помощью предателя, этому же предателю и присваиваются. С поддельными документами и надежной биографией он возвращается из плена, проходит проверку, приезжает в Москву и легко находит себе жилье в Марьиной роще.

— Почему именно в Марьиной роще? Случайно? — задает вопрос генерал.

— Нет, не случайно. При ставке на «двойников» местожительство их в одном районе обязательно. Вы это поймете из дальнейшего изложения моей гипотезы. Так вот, этот «двойник», именуемый по паспорту Ягодкиным, а на самом деле Гадохой, поступает на работу киоскером, живет замкнуто, с преступным миром не связан, пьет в одиночку, не заводя дружков-алкашей, и в конце концов погибает пьяный. Случайно, как предположили в угрозыске? Может быть, и случайно... Работал плохо или вообще не работал, пил без просыпа. За какие-то дела он получал или получил свою пачку долларов — лично я думаю, что она была единственной. А вручили ему ее на подготовку агентуры для «двойника». Не обязательно той, что необходима для разведывательной деятельности, а той, что может быть полезной, скажем, крупному мошеннику-дельцу или аферисту-хищнику. Вероятно, и здесь Гадоха не преуспел: помешал страх перед разоблачением. Ягодкину, возможно, и передали кое-кого из купленной Гадохой шпаны, но едва ли это была хорошо организованная и законспирированная агентура разведчика. Просто порученцы для разных дел.

— А зачем они Ягодкину?

— Пока еще не могу ответить, товарищ генерал. Темно еще все здесь очень, не скоро высветлится. Но вы помните одно местечко из рассказа Линьковой, где Ягодкин, тяготясь уничижительностью своей фамилии, говорит, что ему бы хотелось быть Вишневым или Малиновским. Хотелось бы, да дело не позволяет. А дело, оказывается, могло быть: ждать. Ждать под крышей Ягодкина, потому что, когда придет время, хозяева будут искать Ягодкина, а не Вишневого. И на-

шли его наконец. Линькова о латыше говорит, но латыш ли? Гадать не будем, но дело пошло.

А генерал, улыбаясь, слушает внимательно, не перебивает. Хотя мог бы давно это сделать, а не перебивает: ждет. И я знаю, чего ждет: у него два козыря. Во-первых, Ягодкин, мол, сам в управление пришел, и заявление его почти неопровергаемо: был ведь иностранец в поликлинике и мог ошибиться адресом, к другому Ягодкину шел и тоже, представьте себе, совпадение, из Марьиной рощи. А во-вторых, военная биография Ягодкина чистым-чиста: отступал, наступал, на оккупированной противником территории не был. Где ж завербовать его могли? Неувязочка у вас, полковник Соболев. Выстрелил, да промазал.

Ну, тут я уж делаю предупреждающий выпад, «парэ», как говорят на фехтовальной дорожке.

— То, что Ягодкин к нам пришел, было его первой ошибкой. Возможно, испугался он смерти киоскера, проверки испугался: вдруг да заинтересуемся мы соседом-однофамильцем? А тут — честный гражданин с чистой биографией — проверяйте, товарищи, я сам к вам пришел. Нет пока у меня никаких доказательств, только штришки из рассказа Линьковой, но не верю я ему, слишком уж все гладко у него. Какой-то перебор в правдоподобию, какой-то пережим. И военная биография его, по чести говоря, меня не убеждает. Отступали они из Минска с боями, врассыпную или десять дней по болотам, по ольшанику под бомбежкой шли, да немцы то и дело десанты выбрасывали. Ну обходили их помаленьку, отстреливаясь, отбиваясь, пушки в болоте вязли, из полка меньше двух рот на соединение с дивизией вышли. Больше трети личного состава потеряли, ну и Ягодкин уцелел. Ротный это подтверждает точно. А вот как шел он, когда друг друга в лесу то и дело теряли, когда и сообразить было некогда, кто рядом идет, а кто позади застрял, это еще вопрос. Мало ли что могло с солдатом случиться. Ну, попал в расположение вражеского десанта, прикончить не прикончили, а завербовать могли, если трус и подлец.

— Опять предположения, — вздыхает начальство.

Но вздыхает оно сочувственно, понимает, как трудно здесь выделить микроложь из в общем-то правдивой картины, понимает, что сомнения возможны, но для дела-то нашего важны не сомнения, а доказательства.

— А доказательства добудем, товарищ генерал. Есть такая вероятность. Жмет меня рассказ Линьковой о ягодкинском дружке-фронтовичке, который, как он сам сказал, вместе с ним из-под Минска драпал. Почему это Ягодкин его в сибирские дали загнал, ведь, если милиция по следам идет, его и в Тюмени накроют как миленького. Что-то не нравится мне эта придуманная Ягодкиным ссылка «в сибирскую глушь». Либо это неправда, либо глупость. Ну а в глупости его не обвинишь. Вот и надо сейчас этого дружка-фронтовичка найти. В этом, думаю, нам угрозыск поможет. Из штрафной роты — во время войны, блатной — после войны, мимо угрозыска наверняка не прошел. А когда найдем, удача здесь — всему чаю заварка.

— А если неудача?

— Допустим. Но предположение все-таки остается, пусть пока и недоказанное. С другой стороны подойдем.

— Гадания!

— Согласен. Но у него, несомненно, что-то связано с марками. Должно быть связано. Иначе трудно понять эту внезапную необъяснимую страсть. Учтите, что я только перечисляю векторы, по которым должно направляться расследование. Марки — один из таких векторов. Я думаю связаться с Обществом филателистов и, если позволите, послать туда нашего человека. Ведь есть же у нас кто-нибудь, собирающий марки или знакомый с техникой и тактикой собирательства.

Генерал впервые за время нашего разговора решительно и даже с удовольствием соглашается.

— Это ты хорошо придумал, Соболев. Найдем мы у нас такого человека. А с обществом сам сговорись. Коллекционеры там настоящие, с редчайшими собраниями марок, участники не только наших, но и зарубежных выставок. Там тебя и с нужными людьми сведут, и Ягодкина твоего оценят как собирателя: что у него от липы, что от сердца. И нашему пареньку там будет легко, кому нужно — откроемся, кто сможет — поможет. В общем, добро, Соболев. Действуй.

8

Возвращаюсь от генерала. А меня в кабинете уже Саша дожидается.

— А у меня новости.

Я настораживаюсь.

— Какие?

— Нашли дружка ягодкинского — Филю.

— Что за личность?

— Гигант мысли, — смеется Жирмундский. — Работает сей Филя по фамилии Родионов на станции технического обслуживания автомобилей. Царь-механик, как о нем говорят. Все умеет. А живет в Косине. У него там собственный дом с участком за забором. Высокоокий забор — доска к доске. Соседи говорят, от автомобилей там покоя нет.

— Молодец, — хвалю помощника. — Полковником будешь.

Смеется, нахал редкостный.

— А мне, дядя Коля, полковника мало. Я в генералы мечу.

Я решительно меняю тон.

— Прежде всего запомни: впредь никакой несогласованной личной инициативы. А теперь слушай. В Косино пошлешь наших людей, пусть разузнают побольше о Родионове. Во-вторых, найди любовницу Ягодкина: она нам понадобится. Жору пока не трогай — повременим. И наконец, подыщи у нас какого-нибудь парня, понимающего в филателии. Я сам поговорю с ним. При тебе поговорю, чтобы ты был в курсе. А сейчас ты мне больше не нужен. У меня свои дела на Огарева, шесть.

— Секрет?

— Почему секрет? Дело общее. Следы Хлюста найти нужно. Помнишь дружка-фронтовичка, которого Ягодкин почему-то в Тюмень загнал? Только думаю я, что не в Тюмень. Зачем? Разве не мог он спрятать его, скажем, у Фильки Родионова за высоким забором. Ведь милиция за Хлюстом по пятам шла, так именно Линькова и выразилась. А где же, по-твоему, безопаснее — у Фили или у какого-то директора в Тюмени?

Почему я решил искать эти следы не на Петровке, 38, а на Огарева, 6, тоже было продумано. Ведь если бы он в Москве орудовал, то давно бы связался с Ягодкиным. И неспроста он так нахально явился к тому за помощью, а потому, что в этой помощи Ягодкин не мог ему отказать. Что-то связывало их — тесное и недоброе. И не в Москве гастролировал Хлюст, а на перифе-

рии. Так и следы его надо было искать в других городах и весях, иначе говоря, в Минвнуделе, где следственными делами ведал мой товарищ, тоже полковник, Женька Вершинин, коллега по юридическому. И помочь ему мне было, как говорят, легче легкого.

Так и вышло. Встретились мы с Вершининым как давние друзья, и суть дела он понял сразу. «Есть, — говорит, — у меня необыкновенный памяти человек, Афанасий Иванович. Непременно вспомнит сразу же, только кличку скажи, и дело припомнит, и в архиве найдет».

Пригласили мы его. Я ему и объяснил, в чем дело.

— Хлюст? — говорит. — Был такой, лет двенадцать по суду получил, да война вызволила, срока не отбыл, сразу в штрафную роту попал, а потом в Ростове уже дезертировал. Ну, во время войны не до него было, выпал, как говорится, из поля зрения. А после войны опять попался на спекуляции трофейными автомашинами. Новый срок дали. Сбежал. И начал он угнанные машины из Москвы на юг перегонять. Сначала «Победы», потом «Волги». Долго мы за ним гонялись, перекупщики попадались, а он нет. Года два назад взяли. По анонимке взяли: кто-то донес. Анонимкой для ареста мы не воспользовались, конечно, ну а по следам указанным прошли. В Сызрань он машины перегонял, заводской номер сбивал, городской номер менял, кузов в другой цвет перекрашивал. А с новым номером бывшая серая, а теперь зеленая «Волга» в Тбилиси к некоему Кецховели шла, там и перепродавалась. И документы подделывали, а концов мы так бы и не нашли, если б до Кецховели не добрались.

— Я помню это дело, — говорит Вершинин, — там человек шесть орудовало, и среди них Ключев Никита Юрьевич. Он и есть Хлюст. По кличке я бы не вспомнил, но у Афанасия Ивановича память как магнитофонная запись. Теперь этот Ключев в колонии строгого режима сидит.

— Устрой мне с ним встречу, Вершинин, — говорю я после ухода майора. — В колонию я сам съезжу. И анонимное письмо это дай мне для поездки. Серьезное у меня дело, и враг наш страшнее твоего Хлюста будет.

Принимает меня сам начальник колонии. Объяснил, что Ключев нужен мне не по его делу, а по моей работе в Комитете государственной безопасности. Нужен как свидетель и очень важный свидетель.

В кабинет, который начальник колонии специально отвел мне, вводят Ключева. Лет ему немало, этак годов на пять больше, чем мне, но выглядит он отлично. Аккуратный весь, гладкий, будто и не в колонии. Только глаза колющие: смотрят недобро и недоверчиво.

— Похоже, не из уголовки вы, а повыше, — замечает он, потому что я молчу, пока ни о чем не спрашивая.

— Что значит повыше? — начинаю я разговор. — Такой же полковник, как и Вершинин. Только из другого ведомства.

— Ну, ваше ведомство мне ни к чему, касательства не имею. А полковника Вершинина всю жизнь помнить буду. Без него ни Кецховели бы не нашли, ни меня.

— Кецховели же нашли. До тебя взяли.

— Он не выдал. Другая сволочь стукнула.

Об анонимке я пока молчу. Напечатана она на пишущей машинке без подписи. Ну, машинку-то мы, конечно, найдем, только не она сейчас мне важна, а реакция Ключева. Ведь об анонимке этой он ничего не знает, ему ее не показывали, просто к делу подшили, и сейчас, в начале разговора, о ней упоминать рано. Ягодкина он так просто не выдаст, хотя и почти точно уверен, что отправил его Ягодкин не в Тюмень, а в эту колонию. Но к анонимке мы еще подойдем, время есть. Нужен предварительный разговор — для знакомства.

— А почему это я вам понадобился? — интересуется он.

— Ищем мы одного человека, а ты, друг любезный, его хорошо знаешь.

— Ошибочка, гражданин начальник. С чекистскими подследственными мы дел не имеем. Да и дела наши не угрожают государственной безопасности.

— Но иногда они на руку именно тем, кого мы ищем.

Хлюст молчит, что-то соображая. Может быть, и вспомнил он Ягодкина, а может, и нет. Только он говорит, на этот раз не кривляясь:

— И все-таки ошибочка вышла, гражданин начальник. Не по адресу вы ко мне приехали.

— А может, и по адресу, штрафник Ключев.

— Почему штрафник? — обижается он. — Честно работаю, у старшего спросите.

— Я не о здешней твоей работе говорю. Вспомни войну, сорок первый год, минские болота в ольшанике. Ты в рядовой штрафной роте был, Ключев. Вспомни, как ваш полк из-под Минска отходил, все смешалось. Не повзводно шли, а по двое, по трое. Так кто с тобой рядом шел?

— Многие шли. Разве всех вспомнишь?

— Но одного-то ты запомнил, Ключев, и кого запомнил, мы знаем.

Что-то вдруг потухло в глазах у Ключева. Запретная зона памяти. Отключил, и все тут.

— А если знаете, то чего же спрашиваете?

— С Ягодкиным ты шел, — говорю я. — Михайлой вы его звали. Я могу даже отчество подсказать: Федорович.

— Не помню такого. Плохо у меня с памятью, гражданин начальник.

— А ведь ты у него перед арестом дома был и с женой его разговаривал, водки просил.

— Ну, был я у Ягодкина перед арестом. Дал мне он денег на дорогу? Дал. А что плохого в том, что тебе бывший однополчанин помог? К моему делу отношения он не имеет.

— И это мы знаем, Ключев. Только не этим интересуемся. У тебя с ним свои счета были. Вот о них-то и расскажи.

Ключев отводит глаза. Губы сжаты. Сомкнутые беззубые десны придают лицу что-то собачье, как у бульдога, готового укусить. Нет, не продаст он дружка, пока не узнает, кто его, Ключева, выдал.

— А ведь ты прижать его мог. В кулаке, можно сказать, зажал. Самую сокровенную его тайну знаешь.

— Что знато, то позабыто. Амба.

— Новый срок получить хочешь?

— За что?

— За пособничество государственному преступнику. Это посерьезнее будет, чем угон и перепродажа автомашин.

Клюев смеется и, представьте себе, искренне смеется, не натужно — от души.

— Так вы и докажите, что он государственный преступник. Ну а я при чем? Вместе воевали, вместе от Минска по болотам топали. Только из Ростова я дезертировал, а он нет. Спросите у ротного — скажет, если жив еще ротный. А то, что два года назад к старому дружку-корешку зашел деньжат на дорогу попросить, на это в Уголовном кодексе даже параграфа нет. Попросил помочь, он и помог.

Я понимаю, что рискую. Тайны Ягодкина Клюев может и не выдать, если Ягодкин сам в ней не признается. А вот донести Ягодкину о моем допросе он может — через какого-нибудь «дружка-корешка». Мало ли людей из колонии на свободу выходит... Но я почти уверен, что до этого не дойдет. Даже не почти, а просто уверен, и никаких сомнений у меня нет.

— Значит, говоришь, помог?

— Конечно, помог. И денег дал, и записку в Тюмень к директору автобазы.

— А на допросе об этом скрыл.

— Так меня спросили, куда и зачем я еду. Я сказал. В Тюмень потому, что далеко, а шоферня везде нужна. А записку Михайлы я еще в вагоне выбросил, когда меня взяли. Ну, зачем хорошего человека топить, который касательства к делу нашему не имеет? Да и не вспоминается что-то вся эта муть болотная.

— А кто, кроме Кецховели, про Сызрань знал, про Шмитько и Тишкова?

— Ни одна живая душа. Да и Кецховели только Шмитько знал, а Тишкова один я и мог выдать. Но не выдал. Думаю, что сам он засыпался. Местная уголовка замела.

— Так вот слушай, что я скажу тебе, Клюев. В тот самый день, когда ты собрался в Тюмень ехать, в следственный отдел Министерства внутренних дел принесли анонимное письмо...

Лицо Клюева багровеет. Кулаки на столе не сжаты — стиснуты: даже костяшки побелели, чуть ли не прозрачными стали. На темном от загара лбу мелкие бисеринки пота.

— С тобой письмо, гражданин начальник?

— Со мной.

— Покажь,

Я молча протягиваю ему листок, полученный от Вершинина.

Он читает письмо вслух, не знаю почему, но голос его крепнет с каждой прочитанной строчкой, пополняется назревающей яростью.

— «В Министерство внутренних дел. Пишет вам доб» рожелатель, к преступлению отношения не имеющий, но о преступлении узнавший от самого преступника, случайно узнавший, можно сказать. И от государства скрывать это я не хочу, потому что сам не нарушаю и другим не советую. А было, значит, так. Встретились мы, друг друга не зная, возле «Продовольственного» на Студенческой. Хотели было на троих сообразить, да на троих не вышло, а на двоих получилось. Ну одну бутылку взяли и у рынка выпили, потом вторую открыли и красненького добавили. Тут его и развезло. Раскрыл он мне душу свою, как на духу исповедался, что не рабочий человек он, а рецидивист-блатняга, вор в законе, как у них называется. И что зовут его Ключев Никита, не помню отчества, а едет он в город Тюмень по фальшивому паспорту на имя автомеханика Туликова. И о своих делах грабительских мне поведал. Угонял, говорит, я автомашины из тех, что по дворам да у подъездов стоят. И набор ключей мне показал, знатный такой набор, качественный. Так все и происходило: со двора прямо в Сызрань гнал к друзьям своим Шмитько да Тишкову. В автобазе они работают, да у каждого еще гаражи свои. Там, конечно, номера другие срабатывали, документы на машину подделывали, а саму ее, голубушку, из белой в синюю перекрашивали. Ну а потом куда? В Тбилиси, конечно, к директору одному автомобильному, Кецховели по имени. Я имена все помню, потому что хотя и выпимши был, но записал все сразу же после нашего разговора. Он так и остался в канаве, я его не будил, думаю, проспится, опохмелится и на вокзал — в Тюмень свою. И билет я у него видел, на какой поезд, не знаю, только поезд этот сегодня уходит. Уж вы сами постарайтесь, ловите ворягу. А пишу я не на Петровку, 38, а вам, потому что в МУРе московских жуликов ищут, а вы вас по всему Союзу. А жулики-то в Сызрани да в Тбилиси орудуют — вам до этого и докука. И еще объясняю, что на пишущей машинке пишу оттого, что почерк у меня не разбористый, а машинка так себе без дела в домоуправлении стоит. Вот и отстукал одним

пальцем, думаю, без ошибок — грамотный. А что не подписался, уж извините, кому охота в свидетелях по воровским делам таскаться».

Клюев дочитывает письмо уже тихо, чуть ли не шепотом.

— Вот уж не думал, что он сзади ударит, никак не думал. Верил ему.

— Почему?

— Вы правду сказали, начальник, старые счета у нас. Не мне его, а меня ему надо было бояться. Сволочей не жалею. Спрашивайте, начальник.

— Когда отходили с боями из Минска, ваша рота на левом фланге дивизии шла. Что произошло тогда, Клюев?

— Что тогда происходило? Бомбили нас «юнкеры». Несколько дней под бомбежкой шли. Да и «мессеры» дожимали, бреющим полетом болотные тропы простреливали. Ну, рассыпались роты, где какая — не разберешь, и кто где — спутаешь. Лес хлипкий, гнилой ольшаник, но кучный — спрятаться можно. Меж кочками так и втискивались всем телом в торфяную жижицу.

— Ягодкин с тобой рядом был?

— Видел его первое время. То впереди, то сзади. А порой и совсем пропадал.

— Надолго?

— Да нет, когда «мессеры» уходили, мы даже рядом пристраивались. Покурить или пожевать что. А если немецкие патрули клиньями вперед прорывались, то мы и бой принимали, с успехом даже. На болоте-то немцам тоже нелегко было: на машинах не пройдешь. Танки — и те вязли. А болото длиннющее, день за днем все тот же ольшаник да рыжие бочажки. Тут нас ротный и задержал. «Фрицы, — говорит, — справа десант выбросили, отрежут нас от дивизии — тогда конец. Поэтому будем в обход пробиваться». Вот тут Ягодкин и пропал. Дня три или четыре мы еще по болоту блукали — не вижу Ягодкина. Ну, думаю, все, гниет где-то в грязи болотной. Ан нет, когда мы этак к концу пятого дня все же вышли на соединение с дивизией, где повзводно, где поодиночке, смотрю — Ягодкин впереди меж кочек лежит, от «мессеров» прячется. Только странно очень: мы насквозь мокрые, а он сухой, чуток лишь в торфяной грязи плащ-палатку с передка да с плечей и штаны на коленях вымазал. Ну а когда «мессеры» ушли, я и под-

полз к Михайле, сел рядышком. Смотрю вблизи, — а глаз у меня стреляный, замечающий, — он и совсем сухой, словно где-то в палатке у печки обсыхал. «Откуда, — говорю, — ты взялся, пять дней по этой мокря-тине топаем, а тебя нет да нет?» — «А я не уходил никуда, — говорит, — я тут все время с вами бок о бок иду. Поотстал немного, правда, ну а потом нагнал. Ведь десант-то мы все-таки обошли. А я ему в ответ, не по фене, конечно, по фене он не понимает, мол, брось мне врать, мы все до нитки промокли, а ты сухонький да чистенький. В плену ты был, милок, может, взяли тебя, а может, и сам пришел, только сейчас тебя обратно подбросили. И для чего, тоже понятно. Наш политрук сразу тебя раскусит, да и шлепнет здесь же за милую душу. Взвизгнул Михайла, именно взвизгнул, а не крикнул, и за автомат. Только вырвал я у него автомат, да и прикладом ему два зуба выбил. «Вот я тебя и без политу-рука шлепну», — говорю. А он в слезы: как дите ревет. «Ну, взяли, — говорит, — с меня подписку, Ключев, сил-ком взяли. Попал я им в лапы, струсил, честно говорю, струсил. А им-то всего и надо: бумажку подмахнуть. Так что мне — подписи, что ли, жалко? Я ведь не обязан им служить. Я лучше родине послужу». — «Твое де-ло, — говорю, — лично мне эта военная муть уже надо-ела. В город приду, сбегу. На воле у меня свои дела есть, и ты мне пригодиться можешь. Так что доносить на тебя не буду и убивать не буду, только автоматик твой разряжу. А сейчас катись от меня подальше, слиз-няк, а то передумаю». Вот и все, гражданин начальник. Ушел он в свою роту, а я в свою. Повоевал я еще с го-дик, должно быть, а в Ростове сбежал.

С показаниями Ключева я возвращаюсь в Москву. На руках у меня свидетельство о том, что еще в первый год войны Михаил Федорович Ягодкин был завербован немецко-фашистской разведкой. Для меня это свиде-тельство совершенно бесспорно, и вместе с тем я со-знаю, что бесспорность его для объективного следствен-ного процесса вызывает сомнения. Во-первых, даже за-вербованный иностранной разведкой Ягодкин мог на нее и не работать, и вина его ничем, кроме рассказа Ключе-ва, не доказана. А во-вторых, на первом же допросе Ягодкин мог вообще опровергнуть этот рассказ как злоб-ное измышление клеветника, мстящего за анонимку. Да и ротный командир Ягодкина, вероятно, тоже не под-

твердил бы клюевского рассказа. Я уже предугадываю то, что может сказать генерал, когда я положу ему на стол этот рассказ. Вызывает ли доверие сама личность автора как бывшего дезертира и вора-рецидивиста, отбывающего длительный срок заключения за серьезное преступление, и способствуют ли доверию его обвинения? Что я отвечу? Не вызывает, не способствуют, и ротный не подтвердит, и Ягодкин опровергнет. Но для меня эти обвинения были и весомы и убедительны. Я не подсказывал своей версии Ключеву, он рассказал именно то, что происходило в действительности. И пусть его рассказ был мстью за анонимку, я не интересовался психологическими мотивами этой мести, но я нашел наконец тот кончик ниточки, которую нужно было тянуть и тянуть, разматывая весь клубок.

10

Утром прихожу в управление, а Жирмундский уже ждет меня.

— Что-нибудь случилось, Саша?

— Увы, ничего. Наблюдение за Родионовым пока безрезультатно. Ни в дирекции, ни в парткоме на него не жалуются: механик, мол, опытный, работает старательно. С кем общается, говорят, не знаем, в личную жизнь не вмешиваемся. Правда, его сосед по рабочему месту, тоже автомеханик, Мельников по фамилии, чуть больше сказал: «С кем дружит он, товарищ майор, я тоже не ведаю: домами не общаемся. Правда, «соображали» вместе не раз, после работы, конечно, но друзей тут у Фильки нет. Да и о своих делах у него всегда рот на замке. Пить, мол, с вами пью, а в душу не лезьте. Вот так, — говорит, — товарищ майор, о нашей с вами беседе я, конечно, трепаться не буду, знаю, что не положено, но сказать вам ничего более существенного не могу». Да, пожалуй, и я, Николай Петрович, ничего более существенного к рассказу его не добавлю. В круг Филиных связей еще не проникли, характер его работы на Ягодкина пока неясен.

— Пока, Саша, пока, — повторяю я Жирмундского. — Родионова на зубок взяли? Взяли. Вот что-нибудь да и выяснится. Кстати, генерал у себя?

— В ближайшие дни его не будет.

Внутренне, думаю, я даже доволен. Не будет скеп-

тического разговора о ценности привезенного мною документа. Во всяком случае, этот разговор откладывался.

— Пожалуй, так даже лучше. Через два-три дня доклад будет полнее. А пока подытожим, что уже найдено.

И я передаю Жирмундскому письменное признание Ключева. Майор читает его, перечитывает, потом долго глядит на меня без улыбки.

— Любопытный документ, — говорит он наконец. — Только вряд ли он обрадует генерала. Хочешь, я подскажу тебе его слова? — Жирмундский наклоняется над столом, как это делает генерал, и довольно похожим голосом начинает: — Ну, допустим, завербовали тогда немцы вашего Ягодкина, а что дальше? Туман, гипотезы, пока не схватили за лапу Ягодкина. И что вообще делает когда-то завербованный Ягодкин, кроме протезов, в своей поликлинике? — Тут Жирмундский, сыграв генерала, продолжает уже своим голосом: — Я даже знаю, что ты ему скажешь на это. Что у нас есть теперь право на подозрение и несомненный вывод для следствия.

— Вот мы и поведем с тобой это следствие, — говорю я. — С чего начнем? Непосредственно с Ягодкина. И проникнем наконец в загадочную для нас область филателии.

— Я уже нашел для этого подходящего парня, — подводит итог Жирмундский. — Старший лейтенант Чачин из отдела полковника Маркова. И с тем и с другим уже согласовано.

— Где же он, твой Чачин?

Жирмундский смотрит на часы.

— Думаю, что сейчас уже в приемной.

— Зови.

В кабинет входит спортивного вида парень лет тридцати, русоволосый и миловидный, похожий на любого из наших молодежных экранных героев, когда их показывают на лесах стройки или в поле на тракторе. Некогда коротко стриженные волосы успели уже отрасти до современного уровня парикмахерской моды, на верхней губе пушились недлинные блондинистые усы, на щеках у висков обозначились бачки, и очевидная небритость была явно не к лицу нашему ведомству.

— Разрешите объяснить, товарищ полковник, — рапортует он не без смущения. — Я только что с самолета.

Вернулся из командировки и даже побриться не успел. Товарищ майор не разрешил, приказал явиться таким, как есть.

Я понимаю ход Жирмундского. Парень нужен нам именно таким, как есть, именно в том же мятом замшевом пиджаке и цветастой рубашке без галстука. Но я все-таки спрашиваю:

— Таким и разгуливали в своей командировке?

— Для маскировки, товарищ полковник.

— Разрешаю побриться. Но усов и бачек не трогайте. И не стригитесь. Так вот, с этой минуты вы поступаете в наше распоряжение. В свой отдел пока не возвращайтесь, все уже согласовано.

— Есть, товарищ полковник.

— Называть меня можете Николай Петрович. И садитесь, пожалуйста. Говорят, вы марки собираете?

По глазам его вижу, что он ничего не понимает. И очень уж хочется ему узнать, в чем дело.

— Со школьных лет еще, Николай Петрович. Только в университете всю коллекцию обновил и скорректировал.

— Что значит «скорректировал»?

— Тематически. Собираю только русские марки, до-революционные. А советские — только об авиации.

— Хорошую коллекцию собрали?

— Говорят, хорошую.

— Кто говорит?

— Собиратели.

— Вот мы и хотим ввести вас в этот круг, а конкретнее — в Общество филателистов.

— А я давно уже член общества. Даже на выставку марок в Ленинской библиотеке кое-что из моей коллекции взяли.

Я развожу руками.

— Засвечен твой кандидат, майор. Со старта засвечен.

Сообразительный Чачин сразу же понял меня и опережает с ответом Жирмундского.

— В обществе не знают, где я работаю.

— Это точно?

— Я никому о работе не говорил, да там и не интересуются, где кто работает. Только и речь, что о марках да выставках.

— Так в анкете же есть все данные.

— А я вступал в общество, когда еще в университете учился.

— На юридическом, — говорю я Жирмундскому. — Нам это может и помешать. Куда идут с юридическое, сам понимаешь. Могут и к нам.

— Нет, — радостно улыбается Чачин: он уже понял смысл моей реплики, — я тогда на филологическом был. На юридический перешел после первого курса.

— Часто бываете в обществе?

— Больше в марочных магазинах и на почте — там у меня есть девушка, которая подбирает для меня марки, только что выпущенные. А в обществе не был с того дня, когда мою коллекцию на выставку отобрали. Она и сейчас там висит.

— Теперь будьте в своем собирательстве несколько пошумнее. И общайтесь с марочниками. У вас свободные деньги на марки есть?

— Для только что выпущенных много не нужно, а на редкие я все сбережения ухлопал. Уже мать жалуется.

— Вы женаты?

— Холост.

— Отлично. Нам удобнее. Если в связи с заданием возникнет необходимость в женской компании, не уклоняйтесь. Вас как зовут?

— Сергей Филиппович. Чаше Сережей.

— Значит, Сережа Чачин. Это и будут ваши позывные для связи. Никаких званий! В комитете больше не появляйтесь. Будем встречаться у майора — он тоже холостяк. А поскольку мы вас отправляем в командировку...

— Куда, Николай Петрович?

— В Москву. В общество собирателей марок, где бы они ни собирались. Говорите всем, что в отпуск не поехали, а отпускные пустили на пополнение коллекции. А если спросят, где вы работаете, скажете, что у одного профессора. У вас есть приятели среди собирателей? Ну и отлично. Похвастайте, что в скором времени поедете туристом в какую-нибудь капстрану — поохотиться за марками. Редкие марки вам, мол, для обмена пригодятся. А задание ваше состоит в том, чтобы этот намек дошел до сведения некоего Ягодкина.

— Знаю его.

— Знакомы?

— Нет. Только видел его недавно на выставке марок в Ленинской библиотеке. Потом ребята говорили о его выставочной коллекции. Редчайшее собрание марок, связанных с историей полярных исследований.

— А можно, скажем, такую коллекцию за год собрать?

— Сомнительно.

— Вот и узнайте все, что сможете, об этом собирателе. Добейтесь личного знакомства и сделайте так, чтобы эта возможность была случайной. В общем все.

11

В субботу мы едем в стоматологическую поликлинику. Она закрыта по воскресеньям, а суббота — неприятный день, когда из медицинского персонала дежурит только одна медсестра на случай экстренного вызова стоматолога на дом. И суббота — единственный день, когда мы без помехи можем проверить клиентуру Ягодкина.

Предварительно договариваемся с директором, просим назначить дежурной опытного, давно работающего здесь человека, способного обеспечить нам секретность нашей проверки. Директор сразу же объясняет нам, что дежурит в субботу именно такой человек — старшая медицинская сестра Корнакова, и робко спрашивает, нужно ли ему тоже быть в поликлинике. Мы поясняем, что в этом нет необходимости, пусть он предупредит сестру о нашем визите.

— У тебя есть план проверки? — интересуется Жирмундский.

— Какой еще план? Просмотрим регистрационные карточки пациентов Ягодкина за последние два года и отложим наиболее существенные.

— А принцип отбора?

— Элементарно прост. Во-первых, отберем карточки тех, кто работает в учреждениях военного ведомства или в так называемых «почтовых ящиках». Во-вторых, тех, кто был у него за эти два года всего однажды или два-три раза, но с большим многомесячным промежутком, да и то лишь на одном приеме. Ведь за полчаса или час на одном приеме не поставишь даже коронки. Вот мы и сопоставим один прием стоматолога с его диагнозом в медицинской карточке. И, в-третьих, отберем всех, кто

живет не в Киевском районе, потому что для их обслуживания требуется специальное разрешение директора или ходатайство лечащего врача.

— Для такой проверки двух человек мало. Там прорва регистрационных карточек.

— Почему двух? Мы прихватим с собой еще двух-трех оперативных работников помоложе. А сами посмотрим уже отложенные карточки — и бесспорные и сомнительные. А потом отцедим наиболее интересные.

— А если самых интересных Ягодкин принимает без регистрации?

— Не думаю. Ягодкин не работает дома. Следовательно, любой «левый» заказ может быть выполнен только из материалов поликлиники и силами ее зубных техников, а оплачивать их работу должен сам Ягодкин из своего «левого» гонорара. Это затруднительно и невыгодно. Проще зарегистрировать пациента и официально оформить его заказ. Дополнительный же гонорар стоматолог получает, как говорится, с глаза на глаз без хлопот и дележки. Значит, и такие заказы не минуют регистратуру.

В поликлинике нас встречает директор — не удержался все-таки, приехал полюбопытствовать — и дежурная медсестра Корнакова, похожая на строгую учительницу старших классов.

Здесь непривычная для поликлиники пустота. Нет обычной суеты в коридорах. Тихо. Не звонят телефоны. Не мелькают белые халаты врачей.

Нас четверо — меня и Жирмундского сопровождают старшие лейтенанты Строгов и Ковалев. Все в штатском, что, по-моему, даже озадачивает директора.

— Целая делегация, — недоумевает он. — Чем обязан?

— Ничем, — говорю я. — Ваше разрешение ознакомиться с картотекой пациентов поликлиники мы уже получили по телефону. А сейчас, собственно, и начинается наша работа.

— Поднять всю регистратуру? — восклицает он. — Это же бездна работы. А могу я спросить зачем?

— Спросить можете. Нам необходимо установить по регистрационным карточкам некоторые данные некоторых пациентов. Не всех, конечно. Подымать всю регистратуру не будем. Нас, в частности, интересуют лишь некоторые пациенты доктора Ягодкина.

Глаза у директора круглеют, он даже руками всплеснуть готов.

— Михаила Федоровича! Так ведь он лучший протезист поликлиники. Самый честный и добросовестный. Только зарплата и никаких «левых» заработков.

— Нас не интересуют ни левые, ни правые заработки ваших врачей вообще и Ягодкина в частности. Мы ни в чем его не обвиняем. Нам нужен не он, повторяю, а кое-кто из его пациентов. Вот мы и настаиваем на соблюдении строжайшей секретности нашей проверки. Никто, кроме вас и товарища Корнаковой, не должен знать о ней, и тем более Ягодкин. Незачем бросать даже малейшую тень на врача, репутация которого вне подозрений.

— Но карточки у нас лежат не по фамилиям врачей, а по алфавиту, — директор явно растерян, — да и только за этот год. Все прошлогодние записи сданы в архив.

— У нас есть списки пациентов каждого стоматолога, — вмешивается медсестра, — а прошлогодних пациентов, которые вновь обращаются к нам, мы регистрируем заново. — Она протягивает мне список посетителей Ягодкина. — Не так уж много работы, товарищ.

— Один вопрос, — останавливаю я уже уходящего директора, — а бывают у вас случаи приема без регистрации?

— Нет, конечно. «Леваков» мы не держим. Наши протезисты, особенно Ягодкин, работают на износ. Усердно и доброкачественно. Никаких претензий к ним не имею.

А Строгов и Ковалев уже разбирают карточки, взятые с полок. Жирмундский присоединяется к ним. Я же тихо беседую с Корнаковой.

— Это все из-за того иностранца? — спрашивает она.

— Отчасти, — говорю я.

— Так он как раз и не был зарегистрирован.

— Увы, это ему не помогло.

— А все остальные у Ягодкина только наши, советские.

— И среди них могут быть люди с нечистой совестью.

— Николай Петрович, — зовет меня Жирмундский, — взгляни-ка на эту карточку.

Карточка выписана на имя Немцовой Раисы Яковлевны, 1944 года рождения. Протез верхней челюсти: мост и две коронки.

— Обратите внимание на место работы.

Я читаю.

— «Научно-исследовательский институт имени Жолио-Кюри».

— Ядерные дела, — усмехается Жирмундский. — Я знаю этот институт. — Он щелкает по картонному переплету медкарточки. — Кстати, и другая любопытная деталь: живет эта дамочка в Сокольническом, а не в Киевском районе. Записать?

— Пиши.

Мы отбираем еще четырех человек. Жирмундский, подсев ко мне, читает вслух:

— «Ермаков Иван Сергеевич. Сорок пять лет. Научный работник НИИ твердых сплавов. Диагноз: протезы верхней и нижней челюстей».

— А живет, посмотрите-ка, где? На Ленинском? Где имение, а где наводнение.

— Дальше?

— «Шелест Яков Ильич, — читает Жирмундский, — двадцать девять лет. Переводчик советского комитета Международного совета музеев», — перелистывает карточку. — Был в январе и феврале с диагнозом: две коронки и мост верхней челюсти. Тоже в другом районе живет. «Лаврова Ольга Андреевна. Двадцать три года. Модельер Дома моделей». Живет в Киевском районе, но была только один раз, в феврале этого года. Диагноза нет... Вот еще один: «Челидзе Георгий Юстинович. Тридцать два года. Работает по договорам, как член Союза художников». Смотри-ка: в поликлинике бывает даже чаще, чем этого требует диагноз. И тоже не из Киевского...

Я возвращаю карточку Лавровой сестре.

— Почему не записан диагноз?

— Бывает, — отвечает та. — Может, забыл Михаил Федорович, или, что всего вероятнее, больной просто не потребовалась помощь протезиста.

— Так почему же она записана к Ягодкину? В карточке нет ни одной записи лечащих врачей.

Корнакова недоуменно пожимает плечами.

— А почему зарегистрированы у вас эти четверо? — Я предъявляю ей карточки Немцовой, Ермакова, Ше-

леста и Челидзе. — Ведь ни один из них не проживает в вашем районе.

— Мы делаем это в особых случаях с разрешения директора.

— Так почему же он разрешает?

— Он не всегда разрешает. Смотря какой врач просит. А Михаилу Федоровичу никогда не отказывает.

— Значит, все они записаны по просьбе Ягодкина?

— Да.

С выписками из лечебных карточек поликлиники мы уезжаем. Улов невелик, но существен. Все пятеро выбраны Ягодкиным или по материальным соображениям, или с какой-то другой, пока еще неизвестной целью. Это и необходимо выяснить. Как? Об этом мы размышляем уже на работе.

— Немцову, думаю, пока не беспокоить. Сначала выясним кое-какие детали ее биографии за последний год, — предлагает Жирмундский, — ее поведение на работе, область ее работы, близость к руководству или к секретным материалам института и, главное, что ее связывает с Ягодкиным. Роман или деловое сотрудничество?

— Резонно, — соглашаюсь я, — а Лаврову вызовем?

— Девчонка, фифочка. Может и проболтаться, — сомневается Саша.

— Опять резонно. Вопрос о Лавровой пока отложим.

— А трое мужчин — Челидзе, Шелест и Ермаков? Может быть, поискать их среди аристократов филателии? Передадим-ка розыски Чачину.

Мне не хочется засвечивать Чачина. Ведь любая, даже не официальная, справка его в канцелярии Общества филателистов может вызвать ненужное любопытство и разговоры. А задача у Чачина другая: незаметно вживаться в круг собирателей, стать в нем своим, примелькавшимся парнем, нащупать подходы к Ягодкину и вдруг да и найти что-то постороннее, не имеющее отношения к страсти коллекционера в его практике собирательства.

— Нет, — говорю я, — Чачина трогать не будем. Справимся об этих троих сами в канцелярии общества.

Нахожу телефон. Звоню. Отвечает женский голос. Прошу передать трубку кому-нибудь из руководителей общества.

— А никого нет. Я тут одна за всех и две девочки из типографии. Просматриваем эскизы новых марок, — отвечает тот же вежливый голос. — Что вы хотите?

— У вас есть под рукой список всех московских членов общества?

— Он у меня в столе.

— Запишите три фамилии, только не повторяйте их вслух, — диктую я, — и посмотрите, нет ли их в вашем списке. Я подожду у телефона.

Из положенной секретарем трубки доносится чуть приглушенный расстоянием другой женский голос: «Кто это говорит и чего ты мечешься?» — И тут же первый голос: «Отстань, не твое дело». Минуту спустя тот же голос адресуется уже ко мне.

— Есть все три ваши фамилии. А вы откуда говорите? — наконец-то интересуется девушка.

— Из газеты, — говорю я. — Есть задача: рассказать нашему многомиллионному читателю о филателистах. Очень он исстрадался без этого, многомиллионный читатель.

— Действительно важная задача, — смеется девушка.

Задача и вправду важная — наша задача, — но до ее решения пока далеко. Еще только формируются ее условия. Что дано и что надо найти. Мы знаем или, вернее, предполагаем, что надо найти, но дано нам для этого еще очень мало. Наблюдением за Ягодкиным установлено, что в пятницу он ездил на станцию технического обслуживания, где встречался с механиком Родионовым, потом толкался среди собирателей марок в магазине на Ленинском проспекте и заехал так часам к пяти в кафе «Националь» пообедать. Обедал он не один, а с молодым грузином или армянином, чем-то похожим на майора Томина из телевизионных «Знатоков». За столом они ничего друг другу не передавали, просто обедали, равнодушно, пожалуй, даже лениво переговариваясь. А в ночь с пятницы на субботу Ягодкин ночевал в доме номер один на улице Короленко.

Именно в этом доме, как выяснилось сегодня, живет Немцова Раиса Яковлевна.

Чачин вышел из дому, уже чувствуя себя в новой роли, но все же с волнующим и чуточку пугающим ощущением ее новизны.

Московское летнее утро всегда чудесно. Улицы чисты — только что прошли поливные машины, и асфальт, впитавший влагу, чуть потемнел, лакированные корпуса автомобилей сверкали на солнце всеми цветами спектра, прохожие не спешили — работа уже началась, и толкотня мешала только на перекрестках, и даже цветастые летние платья женщин казались Чачину почему-то ярче обычного, а запах цветущей липы вопреки законам природы будто отmetal все запахи улицы.

Чачину недавно позвонил полковник Соболев и уточнил задание. Есть три человека — он назвал их, указав имена и возраст: Иван Сергеевич Ермаков, сорока пяти лет, Шелест Яков Ильич, двадцати девяти, и Челидзе Георгий Юстинович, которому уже перевалило за тридцать. Все трое — члены Общества филателистов, и все как-то связаны с Ягодкиным. Задача, как сформулировал ее Соболев, установить характер этих связей. Лучше всего для этого личное общение, но в крайнем случае пригодится информация и от других лиц, если таковые найдутся. Основная цель остается прежней: искать подходы к Ягодкину, возможность знакомства с ним и, если удастся, проникнуть в окружающую его компанию. Если будут интересоваться, где Чачин работает, следует отвечать, не вдаваясь в подробности, что служит, мол, секретарем у одного профессора из «почтового ящика». На придиричвые вопросы можно назвать и профессора. Это Никонов Иван Константинович, он депутат Верховного Совета СССР. К его работе в научно-исследовательском институте не имею никакого отношения, даже названия института не знаю, но охотно использовал возможность стать его секретарем в делах, связанных с депутатской деятельностью. Академик уже предупрежден, и на любой проверяющий звонок в его депутатскую канцелярию ответят, что такой-то Чачин действительно работает депутатским секретарем академика и сейчас находится в очередном отпуске. Вот тут и есть смысл прихвастнуть, что после отпуска шеф якобы обещал ему устроить туристскую поездку за границу.

Что увлекало Чачина в этом задании? Оперативная

самостоятельность, возможность импровизации и поиска собственного решения в любой непредвиденной ситуации и — не исключено, — риск, риск, риск.

Чачин знал, куда идти. По Калининскому проспекту через Арбатскую площадь к колоннам Ленинской библиотеки, где на втором этаже в двух больших залах была развернута выставка лучших советских коллекций марок. Там нашлось место и для чачинского картона с полной серией, посвященной спасению челюскинцев, с портретами первых Героев Советского Союза, с марками, выпущенными в честь перелетов Чкалова и Громова из Москвы через полюс в Соединенные Штаты. А начинали картон несколько дореволюционных земских марок, считающихся особенно ценными у филателистов-любителей. Чачин не стремился лицезреть коллекцию, он видал и перевидал ее за время многократных посещений выставки и очень жалел, что задание полковника Соболева было получено почти накануне ее закрытия, а не перед вернисажем, где он сразу же встретил бы всех московских любителей почтовой марки и, вероятно, даже самого Ягодкина.

Ягодкин собирал все связанное с полярной темой, начиная с первых исследований Арктики и Антарктики, с экспедиций Пири и Нансена, Амундсена и Нобиле. Собирал он и почтовые штемпеля русского севера, и образцы полярной авиапочты. Имелся у него и знаменитый папанинский блок, посвященный советской дрейфующей станции «Северный полюс». Блока этого у Чачина не было, и он с удовольствием выменял бы его у Ягодкина: у такого коллекционера наверняка имелись и дубликаты. «Вот и подходящий случай для знакомства, — думал Чачин, — а если повезет, то и для дальнейшего общения, даже если обмена не будет».

Посетителей на выставке было мало, знакомых среди них Чачин не нашел, но внизу в курилке сразу же встретил двоих с кляссерами — Верховенского и Находкина.

Особого восторга коллеги не проявили, но поздоровались по-дружески.

— Тыщу лет! Где пропадал?

— В Москве. Где ж еще.

— И пустой пришел. Ничего нет для обмена?

— Он на свою коллекцию полюбоваться пришел.

— Моя коллекция висела и висит. Я на другие лю-

буюсь. Мне папанинский блок покоя не дает. У вас нет случайно?

— Чего нет, того нет.

— У Ягодкина под стеклом красуется, — вздохнул Чачин. — Может, и дубликат есть. Сменять бы!

— Нашел у кого. Корифеи с нашим братом не меняются. Он свои марочки по заграницам ищет. Привозят ему.

— Пижоны, — сказал Чачин. — Какой любитель, если он настоящий, а не пижон, будет для чужого стараться? Я через месяц-другой поеду, так прежде всего для себя поищу что получше.

— Куда поедешь?

— В Стокгольм или в Западную Германию.

— Лихо! В командировку?

— Профессор путевку обещал.

Удивление в глазах обоих собеседников.

— Какой профессор?

— Я его секретарем работаю.

— Только тебе-то за границу зачем? Ты же русские марки собираешь.

— А для обмена?

— Тебя надо с Яшкой Шелестом познакомить. У него для обмена михельсоновский кляссер.

— Какой кляссер? — не понял Чачин.

— Есть такой здоровенный том. Михельсон: «Русская мысль и речь». Такой же толстенный кляссер у Шелеста. По всей Европе марок набрал.

— Только Шелест сейчас в одесском порту сидит. Ему со всего Средиземноморья марки везут, — сказал Находкин.

Чачин умышленно не проявил интереса к Шелесту.

— Если найду что-нибудь стоящее в поездке, сам подыщу, с кем махнуться.

— Его бы с Жоркой свести, — предложил Верховенский. — У него нюх на туристов в капстраны. Знаешь Жорку Челидзе?

— Не знаю, — сказал Чачин, насторожившись: в первый же день повезло.

— Да ты его, наверно, сто раз видел. Этакий Томин из «Знатоков». Его даже гаишники не штрафуют — так похож.

— А где ж я его найду?

— Угостишь пивом в Цепекио — сведем. Он днем всегда там торчит.

В пивном баре Центрального парка культуры и отдыха было, как всегда,людно. Но свободный столик нашелся. Именно там и сидел похожий на артиста Каневского невысокий плотный грузин.

— Знакомьтесь, — сказал Находкин. — Жора Челидзе — Сережка Чачин. Коллеги-марочники.

— Гоги, — поправил его Челидзе, — хотя меня все здесь почему-то Жорой зовут. Я уже привык.

Говорил он по-русски чисто, без акцента, как коренной москвич.

— Я видел вашу коллекцию на выставке, — сказал он, пронзив Чачина чуть-чуть прищуренными глазами. — Ценные у вас эти земские марочки. Дорого платили, не секрет?

— Он по году на марку наскребал, — хохотнул Находкин. — Ты лучше скажи ему, где в Западной Германии марки покупать.

— Почему в Западной Германии? — поинтересовался Челидзе. Особого удивления он при этом не проявил.

— Так он как раз туда собирается.

Ничего, кроме вежливого интереса, Чачин не заметил.

— В командировку?

— Нет, простым туристом.

— А когда?

Чачин ответил, как и час назад Находкину.

— Через месяц-другой. Когда группа оформится.

Челидзе вежливо улыбался, не проявляя, впрочем, особого любопытства к беседе. Но ответить на вопрос Находкина он все же счел нужным:

— Марки в Западной Германии можно покупать где угодно. Почтовые в любом газетном киоске, а коллекционные в специализированных магазинах. В каждом городе найдется магазинчик, рассчитанный на филателистов. Ну а более точные адреса найдем, когда выяснится ваш маршрут. Они есть и в каталогах, и в специальных журналах. Время терпит.

— Почему это оно терпит? Или у вас его слишком много? — послышался позади грудной женский голос.

К столу подходила девушка с оттенком явно не русской, скорее цыганской прелести в худощавом лице,

с коротко подстриженными волосами и большими гранатовыми серьгами в ушах.

— Что-то вас слишком много, мальчики, — сказала она, протискиваясь между стульями.

Челидзе встал.

— Самое главное, я здесь, Лялочка. И давно жду.

Чачин тоже встал, пропуская девушку на место рядом с Челидзе. На своих очень высоких каблуках она была ниже его всего на несколько сантиметров, а он измерялся ста восьмьюдесятью с гаком.

— Познакомьтесь, — сказал Челидзе, — Лялочка. Она же Оля. Фамилия несущественна, место работы тоже несущественно, а существенны только ее внешность и острый язык, с которым вы сейчас познакомитесь.

— А что у вас существенно? — отпаривала она. — Жорку я знаю: он немногого стоит. А вы кто? Верховенский. Что-то из Достоевского?

— Я только однофамилец его героя, синьора. Скромный однофамилец.

— Инженер, наверно?

— Угадали.

— А я маляр, — сказал Находкин. Он был художником-плакатистом в одном из больших московских кинотеатров.

— Ну, это уже интереснее. Когда-нибудь я приглашу вас побелить потолок у меня на кухне. А вы что молчите? — обернулась она к Чачину.

— Вы не спрашиваете.

— А если спрошу?

— Разве это существенно, Лялочка? Кто есть кто. Здесь собрались рыцари одной страсти, поклонники одной богини, которой на Олимпе не было.

— Это почтовой марки, что ли? Тоже мне богиня! Неужели нет на свете ничего интереснее?

— Многое есть, Лялочка. Например, девушки. Утренние рассветы на университетской набережной, когда любимая рядом. Томление чувств. Трепет желаний. Хочется, хочется голубых лугов. Хочется, хочется стать быстрее постарше. Рано или поздно приходит к нам любовь, но лучше все-таки, если бы пораньше.

— Пошловато. Ваше?

— Нет, это я позаимствовал из популярной песни.

— А поп-музыку любите?

— Не очень. Я любитель старомодной классики.

— Тогда мы вас перевоспитаем, — оживилась Лялечка. — Правда, Жора, его стоит перевоспитать?

— Отчего же нет? Попробуем.

— Ну а теперь начнем треп, мальчики, — резюмировала Ляля, явно считая молчание Челидзе знаком согласия с чачинским перевоспитанием. — Просто треп. За жизнь. Начали.

И все начали. За жизнь так за жизнь. Ни о марках, ни о «закрытых компашках», ни о музыкальной старомодности Чачина. Никто его ни о чем не спрашивал, и он никого ни о чем не спрашивал. Просто смеялся, острил, читал Евтушенко и Ахмадулину, с удовольствием внимал комплиентам Ляли по адресу его голубых джинсов со звездно-полосатой нашлепкой на кармане, хохотал над анекдотами Находкина и даже с Жорой в общении был уже на «ты».

А в душе его пела сказочная жар-птица удачи. Голоса ее за столом в пивном баре никто не слышал, но он непременно достигнет полковника Соболева, потому что удачу эту полковник предвидел и запрограммировал, выбрав именно Чачина для такого задания. В том, что есть все-таки великий бог телепатии, старший лейтенант уже не сомневался.

13

Великий бог телепатии, однако, на этот раз промолчал. Об удаче Чачина я узнал от него самого вечером на квартире у Саши Жирмундского. Мы слушали внимательно, не перебивая, а старший лейтенант все рассказывал и рассказывал — оживленно, несбивчиво, даже с какой-то подчеркнутой красочностью. Я замечаю иногда, как Жирмундский настораживается: видимо, о чем-то хочет переспросить, но сдерживается, позволяя Чачину без помехи закончить повествование.

— Ты в университетской самодеятельности никогда не участвовал? — спрашивает Жирмундский.

— Нет, а что? — удивляется Чачин.

— Занятно рассказываешь. Профессионально. Вылитый Ираклий Андроников.

— Смеетесь, Александр Михайлович, — смущается Чачин. — Рассказал как рассказалось, А вы почему улыбаетесь, Николай Петрович?

— Твоей удаче, Сережа, — говорю я. — Твоему умению ее использовать, ну и твоей способности так картинно о ней рассказать. Теперь все видно, что ясно и что неясно.

— Прежде всего ясно, что Ягодкин за границу не ездит, — уточняет Жирмундский. — За границей обменивают марки его контрагенты. Что стоит провезти в бумажнике десяток новеньких или гашеных марок? Невинная вещь. Как значки — никакая таможня не придерется. Но в таком случае марки могут играть и другую роль. Это может быть и обмен информацией, специально закодированной, конечно. Во-вторых, за границей у них есть и адресат для обмена. Так?

Чачин подтверждает:

— Так. Челидзе обещал сообщить мне адрес, как только поездка будет оформлена.

— Значит, Ягодкин может клюнуть на байку о поездке. Тут даже не возможность, а вероятность.

— По-моему, Челидзе уже клюнул. Он словно подсчитывал, стоит ли использовать меня в этой поездке или не стоит. Оттого он сразу и не сообщил «обменного» адреса. Ждет визы Ягодкина.

— Во-первых, интерес твоего Жоры мог тебе и почудиться. А во-вторых, если ты прав, Ягодкин может и не завизировать, — размышляет Жирмундский. — Зачем приобщать к игре новичка, когда есть игроки проверенные?

Я тут же подключаюсь к разговору.

— А почему бы и не приобщить, если новичок полезен? Чачина они, конечно, проверят, но проверка нам не страшна: он надежно прикрыт. Обрати внимание на то, что Чачина уже «перевоспитывают». Лялечке он понравился.

— Джинсы мои ей понравились. Спецпошив к двухсотлетию Америки. Приятель в подарок привез. Так и сказала: они ей импонируют.

— Ты ей импонируешь, мужичок. Не скромничай. Симпатичных молодых людей в этой компании, полагаю, не так уж много. С одним Челидзе не развернешься. Может быть, Шелест еще? Все равно мало! А Лялечка молодая. Ей «умные» разговоры в застолье скучны.

— Так Шелест в Одессе сейчас.

— Откуда знаешь?

— Верховенский или Находкин, словом, кто-то из них сказал, что Шелест сейчас в одесском порту со всего Средиземноморья обещанных марок ждет.

— Значит, это надо понимать так: Шелест, мол, ждет возвращения из средиземноморского рейса советского судна, на котором кто-то из команды или пассажиров привезет ему какие-нибудь марки. И может статься, что не для себя он ждет этих марок. Не только для себя. Особой уверенности в этом у меня, конечно, нет, но возможность такая не исключается. Вполне допустимо, что в Черноморском пароходстве найдется один-другой филателист, который не сочтет для себя трудным делом оказать столь пустяковую услугу Ягодкину. Ну, отвез новые советские марки, обменял их в каком-нибудь филателистическом магазинчике на марки Замбии или Гвинеи — плевое дело. Одолжение за одолжение. Ягодкин ведь не останется в долгу. Ну а у Ягодкина, как и положено, количество переходит в качество: чем больше контрагентов и чем чаще их сменяют, тем меньше опасность провала.

— Кстати, как фамилия Лялечки? — интересуется Жирмундский. — Не Лаврова ли?

— Ее зовут Ольга, но фамилии я не знаю, хотя и обменялся с ней телефонами.

Когда Жирмундский, проводив Чачина, возвращается в комнату, я говорю:

— Лаврову пока проверять сами не будем. Лучше всего поручить это Чачину. Особенно если зовут ее Ольга Андреевна. С Чачиным она будет откровеннее. Пусть Чачин к ней присмотрится. А начнем с Ермакова.

— Может оказаться и так, что его отношения с Ягодкиным исчерпываются всего парой пластмассовых челюстей.

— Может. Тем лучше и для него и для нас. А заводил побережем напоследок.

— Челидзе и Немцову?

— Немцова может быть ключевым свидетелем: больно уж ее институт заманил для любой иностранной разведки. Шелест, пожалуй, только комиссионер в марочном «бизнесе». А Челидзе и Родионов — это явные приближенные Ягодкина. Его фавориты. Я лично думаю, что к деятельности обоих примешивается уголовщина.

Ермаков прибывает ровно к одиннадцати утра. Пунктуальный человек. Время он выбрал сам как наиболее для него удобное. Но, судя по его внешнему виду, ему сейчас не до удобств. Графически его внешность можно было бы выразить как один большой вопросительный знак.

— Садитесь, Иван Сергеевич, — говорю я, указывая ему на кресло. — Меня зовут Николай Петрович. Будем знакомы.

— Не вижу повода для знакомства, — ершисто начинает он.

— Повод есть, Иван Сергеевич. Живой повод. Есть среди ваших знакомых человек по имени Ягодкин Михаил Федорович?

Ермаков, недоуменно моргая, вспоминает. Я вижу, что он не притворяется, действительно вспоминает.

— Был, — наконец говорит он.

— Почему же в прошедшем времени?

— Потому что знакомство прекращено и более не поддерживается.

— Вот и расскажите нам всю историю вашего знакомства, как оно началось и закончилось.

Ермаков, с тем же недоумением пожав плечами, начинает рассказ:

— Познакомились мы с ними в ресторане Внуковского аэропорта, когда оба одним рейсом летели в Одессу. Было это около года назад. Пообедали, разговорились. Я, каюсь, похвастался предстоявшей мне в этом же месяце служебной командировкой в Западную Германию, он скромно сказал, что в заграничные командировки не ездит, служба, мол, не связана с этим: работает стоматологом-протезистом в зубной поликлинике Киевского района. Я, честно говоря, обрадовался: давно ищу хорошего протезиста. А он сразу же пообещал мне, что сделает все, что нужно, по возвращении из Одессы. За три дня сделает так, что я с новыми зубами за границу поеду. И действительно сделал. До сих пор ношу как влитые. — Ермаков улыбается, обнажая жемчужно-белый оскал зубов.

— А сколько он взял с вас? — интересуюсь я.

— Представьте себе, ничего лишнего. По государственным нормам взял, счет в регистратуре выписали.

Только об одном одолжении попросил: услуга, говорит, за услугу. Признался, что филателист он, давно уже собирает марки, преимущественно связанные с полярной тематикой. А в ФРГ, в Кёльне, у него есть коллега-коллекционер, который советские марки собирает и которому он с оказией посылает новые, только что выпущенные. Почему с оказией, удивился я, не проще ли переслать заказным письмом по нужному адресу? Оказывается, что не проще. Были случаи, когда марки пропадали, и к адресату приходили пустые конверты. Я сослался на то, что в Кёльне не буду, но его это не смутило. Он предложил мне послать марки по кёльнскому адресу из любого города ФРГ по тамошней внутренней почте. Он мне и марки дал вместе с адресом, новые советские марки с портретами космонавтов, чистые, без единой отметины: я их внимательно осмотрел. Марки как марки, ничего подозрительного.

— Адрес вы помните? — спрашиваю я.

— Забыл и дом и улицу. Помню только адресата. Филателистический магазин Кьюдоса.

Кьюдос, Кьюдос... Что-то знакомое в этом имени. Стоит порыться в делах.

А он молчит. Только недоумение в нем сменилось растерянностью: видимо, он осознал смысл беседы.

— Я понимаю, конечно... но вы, надеюсь, не обвините меня в том...

— Мы вас ни в чем не обвиняем, Иван Сергеевич, — перебиваю я его. — Мы уже выяснили, что нужно. Можете спокойно возвращаться на работу. Давайте ваш пропуск.

Он протягивает мне пропуск.

— И не волнуйтесь, Иван Сергеевич, — добавляю я, подписав пропуск. — Не из-за чего вам волноваться. Полагаю, вы никому не сказали о вызове к нам?

— Никому. Жена и дети на даче. Я один.

Он уходит нетвердой походкой, словно чего-то недосказал, недопонял, не предугадал. Что я скажу о нем? Человек совершил ошибку, не вдумываясь в ее скрытый смысл. Доверился преступнику... Стоп! Мы еще не доказали, что Ягодкин преступник. Любое дознание — это логический процесс, в котором из верных посылок делается единственный непреложный вывод. У нас же спорные посылки и спорные выводы. Чтобы сделать их бесспорными, мы как бы опрокидываем дознание вверх

тормашками и начинаем с несомненности и непреложности окончательного вывода. Для этого надо найти лишь такие же верные и бесспорные посылки.

Чачин знал, что найдет. Именно то, что было нужно полковнику Соболеву, — изнанку страсти Ягодкина-филателиста.

Накануне вечером Чачину позвонила Лялечка и пригласила в гости к Ягодкину. При этом пояснила, что собираются все к восьми часам, а Чачин должен прийти на полчаса раньше потому, что Михаил Федорович хочет познакомиться с ним не при людях, а наедине. Но пусть Чачин не беспокоится. А войти в ягодкинский кружок стоит: там интересно и весело.

Чачин и не беспокоился. Он заранее настроил себя как студент-отличник, приглашенный на беседу к профессору. И, знакомясь с Ягодкиным в передней — тот сам открыл ему дверь, — Чачин не суетился, скромно и почтительно назвал себя: «Чачин Сережа. Очень благодарен вам за приглашение, Михаил Федорович». И сказал это, не теряя самоуважения, с расчетом, что Ягодкин это поймет и оценит, как почтительный интерес неопита филателии к ее корифею, однако неопита, не оставляющего надежды этим корифеем стать.

И Ягодкин, должно быть, именно так и понял его, когда, чуть улыбнувшись, сказал:

— Спасибо, Сережа. Проходите прямо в кабинет.

Кабинет выглядел скромно, без деревянных резных, костяных или керамических украшений, без бронзы и свечей в диковинных подсвечниках — только стенды с книгами, письменный стол и вертящаяся этажерка с энциклопедическими словарями: общим трехтомным, медицинским, географическим, литературным и даже дипломатическим, который Чачин до сих пор и в глаза не видывал.

— Интересуетесь, где же коллекция? — усмехнулся Ягодкин, когда Чачин, равнодушный к полкам с книгами, внимательно разглядывал переплеты. — Она вон на тех двух полках за столом, видите кляссеры в желтых кожаных переплетах? Но знакомиться с ней будете потом, а сейчас давайте знакомиться сами. Знаете, как филателисты говорят: «Познай самого себя, познай дру-

га, а потом уже раскрывай перед ним свои сокровища». Впрочем, не только филателисты. Это я к нашей страсти восточную мудрость приложил.

— Я часть вашей коллекции уже видел, — сказал Чачин. — У вас есть и то, чего мне не хватает, хотя серийность у меня другая.

— А именно? — поинтересовался Ягодкин.

— В серии Героев Советского Союза у меня не хватает кое-каких полярников. Может быть, у вас есть дубли?

— Дубли есть, — усмехнулся Ягодкин, — только давайте не о дублях. И вообще не о марках — давайте о вас. Где учились, что кончили?

— Филологический.

— А как с работой?

Чачин засмеялся.

— Сейчас будете удивляться: филолог и вдруг на административной работе. Именно так. Секретарь-референт у одного профессора.

— И за границу, значит, не по делам едете?

— Не по делам. Скорее как отдохновение от дел. Это мне начальство прогулку устраивает. К западным немцам.

Ягодкин вдруг задумался: сказать или не сказать? Именно так и понял его задумчивость Чачин. Потом, видимо, решил, что сказать пора. Пожевал губами и заметил как бы вскользь:

— Будете в Кёльне, я вам один адресок дам. Как филателист филателисту. Крохотный магазинчик — с виду и не заметишь. А внутри — марочная Голконда. Найдете какое-нибудь полярное сокровище — берите. Сменяемся с вами на любой интересующий вас дубль.

Раздался звонок. Ягодкин побежал открывать. В передней послышались голоса, смех, что-то тяжелое поставили на пол. «Должно быть, продукты и вино», — подумал Чачин. А в кабинет заглянула волоокская Ляля.

— Наш интеллектуал уже здесь. Сюда, ребятки.

Среди гостей, кроме Жоры и Лялечки, было двое Чачину незнакомых. Одного из них все называли Филей. Он был мясист, жирен, нос так и лоснился от подкожного сала, а стриженная под бокс голова была посажена на квадратные плечи без всяких признаков шеи. Про таких обычно говорят: «Речами тих, зато очами лих». И, обедая очами накрытый стол, он только кряк-

нул: «Ну и житуха у вас, кореши!» Это было единственно, что он сказал или, вернее, повторил несколько раз за весь вечер. Другой представился Чачину как Яша Шелест, именно Яша, а не Яков.

А застолье было обильным и блистательным по своему географическому разнообразию. Московские жареные пирожки из кафе «Валдай» на Калининском, еще теплые, высились горкой возле наструганной сибирской рыбы, астраханская осетровая икра соседствовала с владивостокской кетовой, сардины из Марокко теснились рядом с исландской сельдью в винном соусе, а швейцарский сыр подпирал сбоку финскую колбасу. И бутылки с вином разбегались по столу, как знаки по географической карте. Шампанское из Абрау-Дюрсо и коньяк из Армении, массандровский портвейн и рижский бальзам, и даже пиво в круглых жестянках из магазина «Березка». Чачин зажмурился — не застолье, а банкет у Репетилова, где, как принято, «шумим, братец, шумим!».

Он так и сказал об этом вслух, как в шутку, конечно, чтобы никого не обидеть. Но никто и не обиделся: «Горе от ума» здесь не помнили, а может быть, и не видели, за столом крутилась, как магнитофонная лента, бессмыслица восклицаний и тостов, плоских остроумий и анекдотов, иногда даже с матом — втихаря на ухо, отчего Лялечка взвизгивала и была рассказчика по рукам (чаще всего Жору) так, что он зачастую ронял нож или вилку. Действительно, «шумели, братец, шумели». Только Ягодкин молчал по-фамусовски, по-хозяйски: зачем же барину шуметь, пусть дворня радуется. Иногда Чачин ловил на себе его взгляд, внимательный и пытливый, будто он что-то оценивал или прикидывал. Чачин не вдумывался: пусть смотрит. Он лишь старался не захмелеть, дабы насладиться и запомнить побольше. Лялечка дарила его вниманием с избытком, и это, по-видимому, заметил и Ягодкин, когда она, осмелев, поцеловала Чачина в щеку, что вызвало общий смех и театральное рычание Жоры Челидзе. Нельзя сказать, чтобы это не порадовало Чачина: Лялечка была в этот вечер очень эффектна, с модной прической — только что от парикмахера! — и большими бриллиантовыми серьгами в ушах.

— Нравится девочка, а? — усмехнулся Ягодкин.

— Не менее, чем ее серьги, — сказал Чачин.

— Серьги действительно ей очень идут. У Жоры хороший вкус, — добавил Ягодкин, добавил как бы мимоходом, мельком, но явно с тем, чтобы Чачин понял, «кто есть кто», и Чачин это и подтвердил:

— Жаль, что у нас сейчас только одна дама, и, увы, не моя.

— Я не ревнив, — сказал Жора.

Чачин не принял вызова и промолчал. А Лялечка тотчас же спросила у Ягодкина:

— Кстати, действительно, по какой причине я одна вас развлекаю? А почему Раечки нет?

— У нее совещание вечером, — сказал Ягодкин.

Не подумав, Чачин не замедлил откликнуться:

— Бедняжка! Мы тут шампанское пьем, а она где-то создает материальные ценности на благо Отечества.

— Не затрагивайте больше этой темы, — шепнула ему в ухо Лялечка. — Слышите?

Ягодкин тотчас же насторожился.

— Шептунов на мороз, — сказал он, даже не скрывая повелительной формы обращения. — О чем это ты изволила шептаться с соседом?

Лялечка не растерялась:

— Я изволила сказать ему, что Рая гораздо красивее меня и что ему особенно стоит пожалеть об ее отсутствии.

— Это можно было сказать и вслух.

Ягодкин улыбнулся при этом, но даже улыбка не смогла вновь пустить в ход остановившуюся пластинку застойной бессмыслицы. Возникла пауза. И сейчас же ворвался в нее хриловатый говорок Шелеста, казалось только и ждавшего случая рассказать всем то, что он не успел досказать сидевшему рядом Жоре.

— Значит, так... И вам, Михаил Федорович, будет интересно послушать. О моей встрече с Кириллом в Одессе вы знаете: я вам марки от него привез. А сказал вам не все — не успел. Слесарь-водопроводчик помешал: в туалете у вас бачок протекал, ну а мне на работу надо было спешить. Срок командировки уже позавчера кончился...

— Не тани, — оборвал его Ягодкин.

Но Шелеста это не смутило. Язык у него уже заплетался, он захмелел и, приговаривая, все время тыкал вилкой куда-то мимо тарелки. Ягодкин, как показалось

Чачину, смотрел на все это с плохо скрытой тревогой, видимо, не решив: остановить болтуна или подождать, что он еще скажет. А Шелест, глотнув коньяка из недопитого бокала, продолжал за притихшим уже столом:

— О чем я? О марках этих самых... Все восемь новеньких с белыми медведями теперь у вас. А я еще не сказал вам о механике. Да. С механиком Кирилл и ходил за ними. Кирилл обменивал, тот покупал. Одиннадцать штук из свободной Африки. Из Киншасы такая... пальчики будут лизать от зависти. И все оттуда... от Кьюдоса.

Ягодкин оборвал его с непонятной злостью:

— Не говори глупостей. В Марселе марками торгуют Женэ и Реньяк!

— Все они одна шайка-лейка, — отмахнулся Шелест. — А я с Кириллом к этому механику пошел и перекупил их все за полсотни. О них мы с вами не договаривались, Михаил Федорович.

— Ты обязан был передать мне все. Твои я тебе бы вернул. Но посмотреть их я должен был все до единой. Надеюсь, они еще у тебя?

— Только девять штук, Михаил Федорович, — проговорил трезвеющий Шелест. — Две я уже сменял.

— У кого?

— Вы его не знаете. Дружок один факультетский.

— Как найти его, знаешь?

— Спрашивайте!

— Тогда пройдем-ка в кабинет.

Шелест нетвердой походкой пошел за ним. Филя на цыпочках подкрался к приоткрытой двери и заглянул в щель. За столом все молчали.

— Требуется все марки вернуть. Чтоб завтра же были у него, — объявил Филя по мере подслушивания. — Говорит тихо, но строго. Хи! Матом врезал. И это наш-то тихоня, Михаил Федорыч...

— Отойди от двери, — сказал Жора. — Сейчас же. Слышишь?

— Не глухой, — пробурчал Филя, но от двери отошел.

А вслед за ним вышли и хозяин с Шелестом. Шелест шел покорно, опустив голову, и ни на кого не смотрел.

— Извините, други мои, — сказал Ягодкин. — Произошло небольшое недоразумение. Сейчас наш общий

друг будет вынужден покинуть нас. Он уже нагрузился, и с него хватит. Кроме того, у него есть неотложное дело.

Но вечер был уже испорчен, и первой осознала это Ляля. Посмотрев на часы, она решительно встала из-за стола.

— Боюсь, что и нам пора, Михаил Федорович. Час поздний. Вы с нами, Сережа, или...

— Или, — резюмировал Ягодкин. — Сережу я отвезу сам. Мне тоже надо проветриться. Фильку дома оставляю: в Косино ему далеко, да он и не доберется. А вы, Ольга Андреевна и Георгий Юстинович, отчаливайте по домам на своем «Жигуленке».

— Понравилась девочка? — спросил он у Чачина уже в машине, когда она сворачивала с улицы Дунаевского на Кутузовский проспект.

Чачин неопределенно усмехнулся: то ли понравилась, то ли нет. И ответил неопределенно:

— Я не собираюсь конкурировать с Челидзе. А почему она из Лялечки превратилась в Ольгу Андреевну?

— Потому что так она именуется в паспорте. Лаврова Ольга Андреевна. А Лялечка — это уже ее собственное изобретение. Нечто вроде фирменной этикетки. Ну а что скажете о нашей компашке?

Чачин ожидал этого вопроса и уже заранее продумал, как именно должен был ответить на него «джинсово-кожаный» интеллектуал.

— Честно говоря, я разочарован, Михаил Федорович. Я ведь не для пирушки к вам приходил, а познакомиться с вашей коллекцией. К сожалению, знакомство не состоялось. А компания, что ж... компания нормальная. Марочники, скажем, как и врачи или писатели, люди разные. И, честно говоря, я лично не осуждаю вашего Шелеста. Какие-то марки привез вам, какие-то купил для себя. Что ж в этом дурного?

— Есть свой этикет у нас, филателистов: не обменивай марок с кем попало, а если обмениваешь, предварительно покажи другу — вдруг он заинтересуется ими. Шелест приобрел марки не для себя — для обмена и не показал их мне. Вот что плохо.

— А вы, оказывается, ревностный блюститель этикета, — засмеялся Чачин.

— Хорошей коллекции не соберешь без хороших друзей. Они и подскажут вам, где у кого что найти, об-

менять или купить, и даже сами купят, если у вас не хватает наличных. Таким другом я и считал Шелеста. К сожалению, ошибся.

— Он исправится, — сказал Чачин.

— Надеюсь, — отрезал Ягодкин и переменял тему: — А когда вы рассчитываете оформляться?

— Я уже оформился. На днях паспорт дадут. Все произошло гораздо быстрее, чем я думал.

— Куда именно?

— Сначала во Франкфурт-на-Майне, ну а затем по стране. Бонн, Кёльн, Гамбург. Может быть, порядок следования будет и другой. Перед отъездом выяснится.

Ягодкин долго молчал. Казалось, он раздумывал, приобщать ли Чачина к своим делам или отпустить его с миром. Но и чем рисковал уважаемый Михаил Федорович? Ничем не рисковал. Обычный неглупый мальчик едет в обычную туристскую поездку, каких у нас сотни. А Михаил Федорович ему доброе дело делает: филателистический адресок дает, где с хорошей рекомендацией скидку обеспечат.

— Кёльн — это меня устраивает, — наконец сказал Ягодкин, — да и вас тоже. В связи с этим у меня просьба. Будете в Кёльне, зайдите в редакцию радиостанции «Немецкая волна».

— Вы что?! — вскинулся Чачин.

— Шучу, шучу, — улыбнулся Ягодкин, не отрывая глаз от вилляющей впереди автомашины. — Я имею в виду марочный магазин Кете Кюдоса. Адресок я вам скажу по телефону. Сейчас не помню. Склероз.

Что бы спросил тут чистый коллекционер Чачин? Вероятно, то, что ждет от него Ягодкин. А Ягодкин ждал вопроса о том, что нужно ему от Чачина. Именно об этом тот и спросил.

— Кюдос — коллега многих собирателей, — пояснил Ягодкин. — Никогда мы друг друга не видели, а знаем все, что положено знать коллекционеру о коллекционере. Меня интересует полярная почта, а Кюдос собирает, как и вы, советские марки. Я дам вам несколько таких марок, ну, скажем, блок «Союз» — «Аполлон» и еще кое-что. А вы обмениваете их у Кюдоса на мою тематику. Скотт, Пири, Нансен, Амундсен, арктическая и антарктическая Америка. Словом, подберете сами из того, что вам предложат. И учтите, что Кюдос не жулик и рыночные цены марок знает как азбуку.

— Так я и свои могу взять, — сказал Чачин. — У меня вагон дублей.

— Берите, у Кюдоса неплохая коллекция. Подыщите для обмена что-нибудь раннее, давно вышедшее из употребления. Такие марки выше котируются на мировом филателистическом рынке. А себе возьмете что приглянется. Советую новую Африку, у нас на нее все марочники клюют. А папанинский дубль я вам так отдам. Ни-ни, не капризничайте. Мы, рыцари одной страсти, от дружеских услуг не отказываемся. Надеюсь, и я могу рассчитывать на вашу дружбу. Так?

— Безусловно, — подтвердил Чачин.

Угрызений совести он не испытывал.

16

Вот он сидит опять предо мной и Жирмундским и рассказывает о том, что произошло на вечеринке у Ягодкина.

Ничего нового для нас в этом рассказе нет, зато многое из наших предположений подтвердилось. Да, Лялечка оказалась Лавровой Ольгой Андреевной, модельершей из ателье мод. Да, Раечка, то есть Немцова Райса Яковлевна, действительно участвует в той же «компашке». Да, Шелест ездил в Одессу для связи с кем-то из команды пассажирского теплохода, курсирующего между портами Средиземного моря. Этот «кто-то» оказался барменом, который и обменивал ягодкинские марки где-то в Марселе. Да, марки эти, видимо, средство связи Ягодкина со своими хозяевами за рубежом. Они были не кодом, а всего лишь способом передачи зашифрованных сообщений. Именно потому Ягодкин и хотел видеть все марки, привезенные Шелестом. Я специально узнавал у экспертов, можно ли незаметно для глаза нанести на марку зашифрованный текст. Сказали, что трудно, нужен, мол, специальный клей, но, вообще-то говоря, такая возможность не исключается. Видимо, Шелест не знал о такой возможности и рассматривал привезенные из Марселя марки лишь в зависимости от их ценности для коллекционера. Не подозревал это и Ермаков, посылая ягодкинские марки в Кёльн по внутригерманской почте. Словом, выбранный курьером икс, игрек или зет не знает секрета новень-

ких советских марок, которые приходят таким способом из Москвы в Кёльн.

— Интересно, сколько было таких курьеров? — размышляю я вслух.

— Двух мы знаем наверняка, третий наклеивается, — ухмыляется Жирмундский. — Интересно, сколько у него было таких курьеров?

— Не так уж много, как тебе кажется. Давно ли работает Ягодкин для своей разведслужбы? Год с лишним? Срок для профессионала разведчика не малый, но Ягодкин-то профессионал липовый. И едва ли уж так велика отдача его как разведчика своим зарубежным хозяевам. Да они ее и не ждут так скоро. Подумай лучше, для чего мог быть расконсервирован человек с такой необходимой, конечно, но не столь уже популярной профессией, как Ягодкин? Не крупный государственный или общественный работник, не специалист-ученый в какой-нибудь интересующей вражескую разведку области, даже не рядовой сотрудник, близкий к любой секретной информации, словом, не личность, разведке нужная в первую очередь. К тому же азам разведывательной службы он не обучен, опыта разведчика у него нет, он не шифровальщик и не радист и, вероятно, даже азбуки Морзе не знает... Так зачем же он понадобился Кьюдосу, Лимманису и компании? Полагаю, для очень простой задачи: подбирать нужный для его боссов человеческий материал. Людей, на которых мог бы опереться разведчик-профессионал. Такого разведчика пока посылать еще рано, потому что Ягодкин еще ничего путного для своих хозяев не сделал. Мошенники и аферисты годны только для связи или для крыши, а скрытые антисоветчики — к нескрытым Ягодкин даже приблизиться не посмеет — только для того, чтобы распространять и хранить подпольную эмигрантскую писанину. Но и таких он должен разыскивать, прошупывать и сообщать о своих удачах хозяевам, когда такие удачи реальны. А много ли было у него этих удач? Не знаю, но убежден, что немного. Настроения и планы Лялечки прошупает Чачин, но не думаю, что она годится на что-либо, кроме приманки для «дичи», если такая «дичь» подвернется. Что сделал Ермаков, мы уже знаем. На том же попроще подвизается и Шелест, если мы не узнаем о нем побольше. А Немцова, видимо, совсем не тот человек, который бы с успехом мог порабо-

тать на хозяев Ягодкина. Им нужны люди с другим интеллектуальным уровнем. Я не утверждаю, конечно, только предполагаю.

— На каком же основании?

— А ты что-нибудь узнал о Немцовой? — отвечаю я на вопрос вопросом.

— Ничего предосудительного. Работоспособна, аккуратна и не болтлива. Идеальный секретарь для приемной директора... И никаких романов в институте: Мелик-Хаспабов этого не любит. Работой с секретными материалами занимаются там специальные отделы и специалисты с другим уровнем знаний и опыта.

— Потому я и не подозреваю Немцову, — говорю я. — Возникла она в жизни Ягодкина еще до появления Лимманиса, и марочной консультации не требовалось, чтобы получить согласие на ее вербовку. Впрочем, Раечку я не отвергаю, и присмотреться к ней нужно. Меня же больше интересует Челидзе, он ближе всех к Ягодкину, и обязанности у него совсем другие, чем у Шелеста и Лавровой.

Чачин смотрит уныло, я его понимаю: не узнал ничего нового, не сделал никаких открытий, к Раечке даже подхода у него нет, оберегает ее Ягодкин от излишних знакомств. Единственная надежда на то, что не откажется он от оказии в Кёльн. Вот и Жирмундский о том же думает, скосил глаза, словно смущен или разочарован как человек, пришедший в театр на премьеру и вдруг увидевший вместо нее рядовой заигранный спектакль, случайно уцелевший в репертуаре. Вероятно, и майор считает, что мы по-прежнему далеко не продвинулись и в случае провала Чачина проиграем если не партию, то хотя бы дебют.

Я спрашиваю себя, что ответить этим «прагматикам», не ведающим слово «предвидение»?

И отвечаю:

— У вас нет воображения, друзья мои. Не цените мелочей, которые подтверждают следствие, а ведь из мелочей складывается целое. Есть такая игра «джиг-со». Придумали ее в Америке в дни великого экономического кризиса тридцатых годов, когда безработным учителям, кассирам прогоревших банков, продавцам закрывшихся магазинов и уволенным университетским профессора́м нужно было как-то коротать время в очередях на бирже труда. Делалось это так. Брали литографию с

копии какой-нибудь классической итальянской или голландской картины, вроде «Тайной встречи» или «Ночного дозора», наклеивали ее на фанеру и разрезали на множество кусочков различной формы — треугольников, квадратов, параллелограммов, кружков и прочих порождений Евклидовой геометрии, а потом сваливали в коробку, как шашки. Из этой кучи деревяшек надо было собрать означенную картину. Большого терпения требовала эта работа, большой точности, и потому именно ее и называли «джиг-со». По-русски это можно перевести, как «составная картина-загадка» или, чуточку изменив английское написание, еще короче: «сложи так». Вот и мы, ребята, занимаемся таким же сложением. Сложили многое? Сложили. Так чего ж унывать? Оснований для этого нет.

— Лаврову и Шелеста мы сложим, а вот Челидзе и Раечка пока не укладываются, — виновато замечает Жирмундский.

Я улыбаюсь: дошло все-таки мое напутствие.

— К Ягодкину пока не ходи, — говорю я Чачину. — Жди звонка, а позвонит он наверняка. Дома у тебя кто?

— Отец и мать — куда надежнее, — смеется Чачин. — Отец — генерал в отставке. Мать на пенсии. Оба знают: никому ни слова о моей работе.

Меня немножко беспокоит самоуверенность Чачина. Не рискнет так просто открыться Ягодкин первому встречному. Говорю об этом.

Чачин тотчас же откликается:

— Уже проверяли. Вчера днем, когда меня не было дома. К телефону подошел отец. Его спросили, молодой мужской голос с хрипотцой, можно ли зайти ко мне на работу и где именно я работаю. Говорит, мол, мой старый школьный товарищ, находится проездом в Москве и очень хотел бы повидаться. А отец в ответ: «Сережка в отпуску, проводит свой отпуск в Москве, и вы можете зайти к нему вечером». И при этом спросил: а какой именно товарищ мною интересуется? Ответа не последовало, положили трубку.

— Значит, порядок, Сережа, — говорю я. — Начинай «роман» с Лялечкой.

— Так она с Жоркой... — мямлит Чачин.

— А ты отбей. Или не умеешь? Интеллектуально ты интересней Челидзе. Так, по крайней мере, мне бы хотелось думать, — подпускаю я шпильку. — Телефон са-

ма дала. Вот и позвони. Пригласи в ресторан получше. С джазом каким-нибудь заливхватским.

Чачин согласился, но с кислым видом. В своей привлекательности для Лялечки он был совсем не уверен. А хотелось, видно, что хотелось...

17

Но Лялечка согласилась сразу. Даже ресторан выбрала: «Метрополь». Там, мол, и обслуживают лучше, чем в «Праге» или «Арбате», и зал большой, и танцевать удобно вокруг фонтана. Словом, первый редут был взят Чачиным сразу.

Второй оказался укрепленнее. Разговор сначала не шел: выбирали меню, болтали о пустяках, Лялечка почему-то заговорила об осенних модах, вспомнила за чем-то Находкина и Верховенского. Имя Челидзе даже не было названо. Но Чачин не настаивал. Ужин предстоял долгий.

— Вы женаты? — вдруг спросила Лялечка.

— Нет, а вы?

— Ну, меня надо спрашивать: замужем ли я, товарищ интеллигент. Нет, к вашему счастью, не замужем. Можете делать предложение. Руки и сердца, как говорили в древности.

— У друзей я девушек не отбиваю, — отпарировал Чачин.

— Это у какого же друга?

— У Челидзе, например.

— Во-первых, Жорка вам не друг, друзей у него вообще нет, а во-вторых, я не собственность. Да и замуж выходить пока не собираюсь. Живу у родителей. Они у меня сейчас в Иране. Отец представитель Экспортфильма, мать дает уроки музыки в советской колонии. Вот и живу одна свободно и весело. Относительно весело, конечно, никому отчета не нужно давать. А в квартире все должно блеснуть, ни пылинки: отец иногда налетает из Тегерана, не предупредив телеграммой, и очень сердится, если заметит следы вечеринок. Так что в гости ко мне не напрашивайтесь — это надо еще заслужить.

— Постараюсь, — ответил Чачин, — а то у Ягодки на мне что-то не очень понравилось.

— Почему? Обычно у него очень весело. Вино, за-

куски, сладости, застольная болтовня о том о сем — ни о чем. Анекдоты, сплетни, магнитофон. Это вам не повезло: два марочника друг с другом поцапались неизвестно из-за чего. Я эти марки терпеть не могу. Хотя забыла: вы тоже из оных.

— И Челидзе марочник.

— К сожалению.

— А где он работает?

— Нигде. Он свободный художник, как обычно себя именует. Еще, говорят, церкви реставрирует. Но работ его я не видела: в мастерскую к себе он не зовет.

— У наших «свободных художников» обычно с деньгами негусто, а у Челидзе собственная машина, — с показной завистью сказал Чачин.

— И притом «Волга», — подтвердила Лялечка. — Он купил ее у кого-то по случаю. Потом отремонтировал ее на станции технического обслуживания. А сейчас она блесит как новенькая и дает на трассе, когда гаишников нет, по сто шестьдесят. Вообще, удачливый человек Жорка. Вы с ним дружите — не прогадаете. А поссоритесь — остерегайтесь. Я и сама его боюсь иногда, если он не в духе. А человек полезный, уйму денег зарабатывает, и не только советских.

— Валюта? — насторожился Чачин и тотчас же пожалел об этом. Но Лялечка не заметила промаха:

— Бывает.

— Откуда же у него валюта?

— Откуда? — не без злорадства ухмыльнулась Ляля. — Не от верблюда, конечно, а от богатых родственников из Америки. И не у него, а у Ягодкина.

— За что же такая милость?

— За услуги.

— Какие же услуги требуются врачу-протезисту?

Ляля даже не думала, что это открытый вопрос. Она рассказывала охотно, с вызовом: девчонка, а вот, пожалуйста, — могу многое рассказать.

— Михаил Федорович не только протезист, он еще и видный коллекционер-филателист. Сие вам известно, конечно. А Жора Челидзе помогает ему пополнять коллекцию. Находит ему клиентуру, то есть людей, уезжающих за границу. Хороший зубной техник всем нужен — и таким, как вы, и помоложе вас, если зуб выбит. И тут, как говорится, услуга за услугу. Он — золотую коронку или мостик, а ему — почтовые марки из

наиболее редкостных. Он вам и адрес назовет, где марку достать, и саму марку опишет. А у него валюты навалом.

Чачин внимательно слушал, но интереса своего не показывал. Дожевывал цыпленка табака, лениво поглядывая на свою собеседницу. А Лялечка, оставив цыпленка, уже не умолкала.

— С ним Жора меня и познакомил, когда наш Дом моделей уезжал на парижскую выставку. «Нужный человек, — сказал мне Жора, — он тебе будет полезен». Помню, я спросила: «А сколько лет этому человеку?» Жора сказал. Я засмеялась и ответила, что моим зубам без единой червоточинки зубной техник едва ли понадобится. «Но у него есть валюта, — сказал Жора, — смотри не прогадай». Так я и попала в поликлинику к Ягодкину. Он оказался не стариком, а просто пожилым человеком, вполне терпимым, — не для романов, конечно, хотя пассия у него красивее меня в десять раз, но для застольных встреч за ужином вполне на уровне. Тут-то он и попросил меня оказать ему небольшую услугу. Он, мол, коллекционер марок и обменивается ими со своими коллегами за рубежом. А посылать их почтой рискованно: письма из Советского Союза в капиталистических странах вскрываются, и конверт может прийти к адресату пустым. Поэтому он и просит провезти с собой одну из новых советских марок, скажем, в кошелечке, куда не будут заглядывать никакие таможенники, и послать ее письмом по такому-то адресу. Кажется, в Марсель какому-то Жэнэ или Жаннэ, не помню. За это он, мол, дает мне сто долларов, пятьдесят лично мне, а пятьдесят на покупку для его пассии всякого бабского барахла. Каюсь, я согрешила. И доллары провезла, и марку переслала. Обыкновенная, кстати, советская марочка, выпущенная ко Дню космонавтики. Чистенькая, новенькая, без единой пометки, ну и переслала я ее по указанному адресу. Пустяк для меня, а он полтинник отвалил.

Джаз заиграл старое аргентинское танго, и Чачин без смущения пригласил девушку. Танцевать он умел. Все шло чин чинком: Лялечка раскрылась, и можно было, перебросившись словами-пустышками, задать ей уже колючий вопрос.

— А почему вы все-таки Лялечка, а не Оля? — спросил Чачин мимоходом для начала.

— С детства прозвали. Вот и осталось. А вам что, не нравится?

— Нет, почему? К вам идет. Не нравится мне одно: и стодолларовая бумажка Ягодкина, и ваши отношения с Челидзе. Да и связь его с Ягодкиным, честно говоря, непонятна.

— Не думайте, что я продажная, — обиделась Лялечка. — Доллары я взяла, почему не взять, если дают. Подумаешь, марку переслала по какому-то адресу — тоже мне преступление. А Жорка обыкновенный хахаль, нежадный и неревнивый. И что его связывает с Ягодкиным, меня не интересует. Ездил куда-то недавно, говорит, на какую-то электростанцию под Москвой, и помчался Ягодкину докладывать. А мы с Раей Немцовой — это пассия Михаила Федоровича — как раз у него и были в гостях, пили кофе с ликером. Позавчера, что ли? Ну да, позавчера. Жорка ворвался небритый, темный, как ночь. «Ты бы хоть побрился, Жорка, — говорит ему Ягодкин, — неудобно ведь перед дамами». А тот еще более взъерошился и бряк: не до бритья, мол, теперь, Михаил Федорович, сорвалось дело — не вышло. «А ты у него был?» — спрашивает Ягодкин. «Конечно, был. Он отказался. Все, — говорит, — отрезано!» Мы в недоумении, сами понимаете, молчим, слушаем. А Жора Ягодкину: «Убрали бы вы этих баб, Михаил Федорович, не до гостей нам сейчас». Ягодкин сжал губы, посмотрел на нас, подумал, а потом вежливенько так сказал: «Вы бы и вправду прошли в соседнюю комнату, магнитофон включили, а нам с этим юным хамом надо поговорить как следует». Ну мы и ушли. А потом Ягодкин объяснил, что речь шла о продаже крупной суммы в долларах и что покупатель в последнюю минуту отказался. А паникует Жора напрасно: ничего ему не грозит, никаких долларов нет и не было. Потом ко мне Жорка пришел злющий-презлющий и говорит, что из-за Михаила Федоровича он в такое болото залез — не вылезешь. Ведь это он какому-то Еремину валюту возил, а не Ягодкин. «Тот, — говорит, — чист-чистехонек, от всего откажется, а мне, дураку, отвечать». — «За что ж тебе отвечать, — спрашиваю, — если твой Еремин долларов не взял?» — «Так ведь это я ему предлагал, — кричит, — я! Если он заявит куда следует, Ягодкин вывернется, а мне сидеть в лучшем случае за спекуляцию иностранной валютой. Ну, не найдут у меня

никаких долларов, а пятнышко на репутации останется. И вообще, — говорит, — я у нашего Ягодкина в таком капкане сижу, что в пору хоть без ноги, да уйти». — «Куда ж ты уйдешь?» — спрашиваю. «А у меня брат, — говорит, — в Тбилиси. Мигом в горную Сванетию переправит. Захолустье отчаянное, но прожить можно, пока шухер с валютой не уляжется. И самое страшное, — говорит, — не валюта, а то, что я ее Еремину предлагал». Я, честно говоря, ничего не поняла, только Жорку с тех пор не видела. Может, и в самом деле на Кавказ сбежал.

Лялочка залпом выпила рюмку ликера, отхлебнула кофе, и по тому, как зазвенела чашка о блюдец, можно было судить с взволнованности девушки. Даже щеки у нее запали. Выложились, как говорится, до последних глубин души своей.

— Знаете что, Сережа, — вдруг сказала она, стирая потеки под глазами, — расклеилась я что-то. Пойдемте отсюда. Неподходящее у меня сейчас настроение.

Чачин молча встал. Он понял, что узнал все, что можно было узнать от Лялочки. Сорвалась с обрыва девочка и захлебывается. А девушка неплохая. Видимо, поняла, что связь с Челидзе была не просто временным увлечением, а чем-то более серьезным и страшным.

— Только вы никому не говорите, Сережа, о том, что я вам сейчас рассказала. Не сдержалась, крашенная дура. — И, резко повернувшись, пошла к выходу.

Когда Чачин, расплатившись с официантом, нашел ее в раздевалке, он вспомнил, что не ответил на ее просьбу. И даже обрадовался. Никаких обещаний он ей не давал и сегодня же доложит обо всем Жирмундскому.

Итак, появилась новая фигура — Еремин. Надо его найти и как можно скорее. А тут еще неожиданный звонок Линьковой.

— Рад вас слышать, Елена Ивановна. Что-то случилось?

— Случилось. Только что видела латыша, о котором вам тогда рассказывала. Он отпустил бородку, но я его

все-таки узнала. Это тот самый Лимас, или Лиманис, как его называл Ягодкин. Они оба стояли вместе у подъезда гостиницы «Националь» и вместе же вошли в холл, когда я подошла поближе. Меня они не видели — это точно.

— Сложи так, — говорю я Жирмундскому, передав ему суть услышанного от Линьковой, — и срочный розыск Еремина, и круглосуточное наблюдение за Ягодкиным. Нам теперь важно знать и учитывать каждый его ход в игре. И немедленно пошли кого-нибудь в «Националь». Пусть разузнает, какие иностранцы поселились за последние дни в этой гостинице и не было ли среди них худощавого человека с бородкой. Я не очень-то верю, что его зовут Лимманисом, но выяснить имя совершенно необходимо. Кстати, учти, что генерал через пару дней возвращается и мы должны быть во всеоружии. Ведь речь идет уже не о гипотетической версии, а о цепочке достоверных уличающих фактов.

— Бу сде, — говорит Жирмундский.

В кабинете его уже нет. А в приемной у меня ждет Шелест. Проходя к себе, я уже заметил его: растерянный, щуплый юноша с длинными прямыми волосами, в темном, видимо парадном, костюме и даже при галстуке, что совсем излишне при такой свирепой жаре.

Но, прежде чем принять Шелеста, я вызываю по телефону Чачина.

— Сережа, — говорю я без предисловий, — слушайте и запоминайте. Пора уже сообщить Ягодкину, что вы выезжаете за границу, скажем, послезавтра и что паспорт и виза у вас уже на руках. Поэтому пусть он передаст вам то, что хотел, завтра или в крайнем случае послезавтра утром. Затем встретитесь с ним, когда ему будет удобно, лучше на улице, на остановке троллейбуса или автобуса. От приглашения на дом уклонитесь: времени у вас, мол, в обрез. Если на свидании он попросит вас, допустим, из любопытства, что ли, показать ему ваш заграничный паспорт, скажите, что при себе у вас его нет, оставили дома. Возможно, или даже вероятно, он предложит вас подвезти, не отказывайтесь, но только до аэропорта. А у начальника аэропорта, куда вы пройдете через служебный вход, найдете Жирмундского. Ясно?

Остается Шелест.

Он входит решительно и спокойно — видимо, здра-

вый смысл преодолел его растерянность, подсказав ему, что ничего больше свидетельских показаний в этих стенах от него не потребуют и, следовательно, тревожиться не о чем. Входит он молча, без приглашения садится в кресло у стола против меня и ждет.

Мне это нравится. Можно быть официальным без излишних любезностей.

— Шелест Яков Ильич? — начинаю я.

— Точно.

— Женаты?

— Холост.

— Живете с родителями?

— Нет. Они мне выстроили однокомнатную квартиру на улице Руставели.

— Где работаете?

— По окончании Московского автодорожного института оставлен на кафедре.

— Год рождения?

— Тысяча девятьсот пятьдесят второй.

— Есть личная автомашина?

— Пока только о ней мечтаю. Средства не позволяют. На ставку младшего научного сотрудника автомашины не приобретешь.

— Можно приработать.

— Я и пытаюсь. Готов к любому поручению, не предусмотренному Уголовным кодексом. Не гожусь также для холуйства, подхалимажа, клеветы и доносов.

Мальчик мне нравился все больше. Импонировала лаконичность и четкость его ответов, его непоказная самоуверенность и убежденность в своей правоте. Такой паренек, подумал я, ни увилить, ни лгать не будет.

— Вы член Общества филателистов? — спрашиваю я опять.

— Давно.

— Нас интересуют ваши отношения с одним из членов того же общества. Я имею в виду Ягодкина Михаила Федоровича.

Шелест отвечает сразу же, не обдумывая ответ:

— Отношения несложные. Работодатель и работник. Поручающий и порученец. В общем, помогаю ему пополнять его отличную, кстати, коллекцию.

— Каким образом?

— Во-первых, я сотрудничаю в журнале «Филателия СССР» и все сведения о новых почтовых марках

получаю, так сказать, из первых рук. Знаком я и с рыночной стоимостью любой редкостной марки. Кроме того, я одессит, и в Одессе у меня в Черноморском пароходстве уйма знакомых. Есть среди них и мои коллеги по страсти к почтовой марке. Вот я и связал Ягодкина с одним таким собирателем, а именно с барменом теплохода «Колхида» Тихвинским, которого все называют просто Кир. У Ягодкина связи с некоторыми специализированными магазинами за границей. Он хотел послать несколько новых советских марок, в частности блок «Союз» — «Аполлон», и обменять их в Марселе на марки, посвященные Антарктической Америке и дрейфующим полярным станциям США. Кир это сделал, и марки я Михаилу Федоровичу привез, бесплатно, конечно.

— И без инцидентов?

— Вы проникательны, — смеется Шелест. — Инцидент был. Правда, не при передаче, а два дня спустя у него дома на вечеринке. Я захмелел и разболтал по дурости о том, что Кир ходил в Марселе в марочный магазин вместе с механиком теплохода, и о том, что он в этом же магазине купил для себя кучу разных экзотических марок. Узнав об этом от Кира, я нашел механика и перекупил у него десяток марок из Нигерии, Конго, Камеруна и Коморских островов. Две из них я уже здесь, в Москве, сменял на чудесную датскую марку, выпущенную к двухсотлетию американской Декларации независимости, номинальная стоимость 70 + 20 рэ, ну и я отвалил за нее какую-то толику. Так вот, когда я рассказал об этом, Ягодкин буквально рассвирепел. Оказывается, я обязан был показать ему все купленные и обмененные в Марселе марки, он не претендовал на них, но обязательно хотел их лицезреть. Ну, я привез их ему на другой же день, кроме тех двух, обмененных уже здесь, в Москве.

— Марки со штемпелем или без?

— Нет, все новехонькие.

— Ну что ж, — говорю я, — будем считать, что о Ягодкине пока достаточно. А что вы скажете о Челидзе? Он ваш друг, кажется?

— Друг? Вы хотите сказать: знакомый. Другом Челидзе может быть такой же подонок, как и он сам.

— Интересно. А почему?

— Прежде всего потому, что он человек неинтели-

гентный и нечистый. Едва ли шибко грамотный. Когда-то застрял в шестом классе десятилетки, на том и остановился. Диктанта ему не давайте: стыдно будет читать. К географии он относится, как мадам Простакова, только вместо извозчиков гоняет на собственной автомашине. Якобы коллекционирует марки, но отличить Конго от Камеруна не сумеет. А почему нечистый? Потому что духовно нечистоплотный, готовый на любую подлость, на любое преступление, если оно покажется ему безнаказанным.

— Где же он работает?

— Говорит, что свободный художник, что-то лепит, что-то малюет. Церковники его иногда приглашают — платят здорово. В мастерской у него, по-моему, никто никогда не был, да и существует ли таковая, мне неизвестно. А зарабатывает он не меньше, чем какой-нибудь завмаг. Мастер утилизировать потребности и чаяния современного мещанина. Может достать любой импорт: от французских духов до американских джинсов. И притом не только шмотки. Одному моему приятелю он достал, например, японский транзисторный телевизор «Шарп», а я, например, купил через него пишущую машинку «Оливетти».

— А валютой не балуется?

— Не знаю. Сертификатами он, правда, расплачивался как-то. Но сертификаты были не его, а ягодкинские. А вот тайна их союза для меня сокрыта.

— Значит, союз все-таки есть?

— Несомненно. Откуда, например, возникла Раечка — любовная страсть почтенного Михаила Федоровича? Ее где-то разыскал и подготовил для этой роли Жора. Откуда появилась Лялечка? Из того же источника. Оттуда же «Волга», и мебельный антиквариат, и редкие марочки.

— А откуда валюта у Ягодкина?

— Врать не хочу. Не знаю. Но слыхал, что где-то за рубежом у него есть родня, которая ему иногда что-то подбрасывает. Вот и нужен Челидзе, чтобы денежки где-то пристраивать. Станный он человек, товарищ полковник, порой даже и не поймешь, что и зачем ему нужно. На днях приходит ко мне и просит: напиши мне сценку какой-нибудь научной конференции при испытании, скажем, какого-то прибора. Нужно, мол, для одного розыгрыша. Он знает, что я научную фантастику

люблю и физику знаю: все-таки специальный институт окончил. Напиши сценку как бы для радиопередачи: ничего не видно, а все слышно. А я, мол, на магнитную пленку перепишу. Подробности объяснения за мной, а гонорар полсотни. Ну какой же дурак откажется? Я и написал. Кратенький диалог на испытании прибора для определения состояния вещества в магнитном поле. Прочитал. Жора сказал: «Блеск», выложил полста и умчался. Ну зачем ему понадобилась эта псевдонаучная размазня? Голову сломаешь — не разгадать.

— А это, — говорю я, — мы у самого Челидзе спросим.

И в этот же момент в кабинет буквально врывается Жирмундский. Увидев Шелеста, замедляет шаги и рапортует:

— Есть важное сообщение, товарищ полковник. Может быть, отложите пока ваш разговор?

— А мы уже кончили. Давайте ваш пропуск, Яков Ильич. Только знаете...

— Все знаю, товарищ полковник, — говорит Шелест.

И когда он уходит, Жирмундский, не садясь, продолжает:

— Я разыскал Еремина.

— Где он?

— Убит. Сбит машиной. Вот рапорт инспектора ГАИ. Читай.

И я прочел.

— «Я, инспектор Кунцевского ГАИ, старший лейтенант Горелов И. М., 20 августа в 12 часов 35 минут находился на съезде Минского шоссе у гостиницы «Мотель». В 12 часов 40 минут автомобиль ГАЗ-24 «Волга» с забрызганным грязью номером сбил пешехода, стоявшего у обочины на проезжей части. Убедившись, что к пострадавшему уже сбежались люди и первая помощь будет ему оказана, я начал преследование автомашины, которая, сбив человека, не остановилась. Включив сирену, я преследовал ее, шедшую со скоростью 160 км в час до 21-го км, где у поворота от населенного пункта «Переделкино» водитель ее, не успев затормозить, врезался в самосвал МАЗ-205 с гос. номером ЮБА 32-17. При столкновении нарушителя отбросило в сторону. Машина его загорелась, и водитель погиб. При осмотре тела были обнаружены документы — паспорт серия ХСА № 522423, выданный 75 о/м г. Москвы 30 марта

1968 г., и водительские права серия ААА № 324672 на имя Родионова Филиппа Никитича, механика станции технического обслуживания производственного объединения «Мосавтотехобслуживание» № 12 на Хорошевском шоссе».

— Что скажешь, Николай Петрович? — спрашивает Жирмундский. — Конечно, жаль человека, но еще более жаль свидетеля, показаний которого было бы достаточно, чтобы сразу же посадить Ягодкина на скамью подсудимых. А в угрозыске мне сказали, что у Родионова, кроме документов, нашли еще пятьсот рублей сотенными купюрами. Цена убийства, так, что ли?

Я молчу. Сказать, что я удивлен, не могу. Я потрясен. Выбит из седла, как жокей на финише. Два возможных свидетеля выпали из следственного процесса.

— Послезавтра возвращается генерал, — мельком вспоминает Жирмундский, — а с чем мы к нему придем? С Лялечкой и Шелестом? Маловато. Правда, отыскался латыш. Он действительно живет в «Национале». Только он не латыш и не Лимманис, а Отто Бауэр из Вены. Представитель торговой фирмы «Телекс». Судя по внешности, в точности соответствует описанию Линьковой. Но вполне вероятно, что будет отрицать знакомство с Ягодкиным. Тем более что Ягодкин за эти дни в «Национале» не появлялся.

— У нас есть еще Немцова и Чачин, — говорю я.

19

Чачин звонит мне домой в половине десятого:

— Я уже звонил вам, Николай Петрович, но телефон не отвечал. В управлении вас тоже не было. Рейс во Франкфурт-на-Майне в десять сорок. Как вы и предполагали, Ягодкин напросился меня отвезти в аэропорт. О паспорте не спрашивал. Проводит он меня только до Шереметьевского аэропорта. Я настоял, даже сказал вспыльчиво: я, мол, не маленький, меня даже родители не провожают, а если он мне в чем-то не доверяет, то может свои марки забрать: они у меня в бумажнике. Он пожурил меня за мальчишескую вспыльчивость и, по-моему, очень неохотно согласился. Поэтому полагаю, что он будет незаметно за мной наблюдать во время посадки. А я, как мы условились, постараюсь скрыться в толпе и служебным входом пройти в каби-

нет начальника аэропорта. Я уже договорился с товарищем майором, что он будет меня ждать за десять минут до посадки. Там же я и передам ему марки. Товарищ майор сказал, что отвезет меня домой прямо от служебного входа, а завтра я могу уже возвращаться в свой отдел.

— Вношу поправку, Сережа, — говорю я. — Завтра вы целый день посидите дома. Никуда не выходите, двери не открывайте, к телефону не подходите. А на все справки о вас лично и по телефону пусть ваши родители отвечают, что вы уехали за границу. Вот так. Ну а завтра доложите своему начальству, что выполнили наше задание и откомандированы к себе в отдел.

Жду Жирмундского. По моим расчетам, если отправка самолета не задержится, он будет у меня в первом часу. Жду, покурываю, читать не хочется, и я мысленно подвожу итоги сделанного. Если добытая таким образом марка окажется шифровкой, это можно будет установить только завтра в экспертизе, и с докладом генералу все будет в порядке. В нем остается только один пробел — Немцова. Но и его мы завтра заполним.

В десять минут первого прибывает Жирмундский. Никаких объяснений не требуется: они у него на лице, как некий вид лучезарности. Молча он протягивает мне марки. Их две — «Аполлон» — «Союз», новехонькие, с бесцветной клеевой поверхностью на обороте. Так же ни о чем не спрашивая, возвращаю марки майору, добавляя только:

— Утром сразу же отдай Красовской. Пусть снимет клей. И если это шифровка, тотчас же шифровальщикам. Пусть поторопятся. Не думаю, чтобы шифр оказался таким уж сложным. Расшифруют и без источника.

У Красовской уже все готово. Клей смыт, и в лупу на оборотной стороне каждой марки отчетливо видны миниатюрные цифры — почти прилегающие друг к другу пятизначные числовые ряды. Как я и предполагал: шифровка. Немедленно передаю ее шифровальщикам.

Генерал будет после трех часов дня, а до этого мы успеем побывать у Немцовой. На работе ее сегодня нет: Жирмундский узнает об этом по телефону. Решаем не вызывать ее в комитет, а нагрянуть к ней на квартиру. Утром она наверняка дома.

Так мы и делаем.

И тут нас встречает полнейшая неожиданность.

Мы только успеваем представиться, как Немцова говорит:

— Проходите, товарищи, или граждане, как мне, наконец, нужно вас называть. Я вас давно уже поджигаю. И то, за чем вы приехали, вас тоже ждет — вон там, на столе.

На круглом полированном столике посреди комнаты лежит плоская миниатюрная кассета с магнитной пленкой.

Я еще недоумеваю, но Жирмундский сразу находится:

— А давайте-ка мы присядем к столу, если позволите. И сами садитесь. И рассказывайте обо всем с самого начала.

— Со знакомства с Ягодкиным?

— Зачем? Сначала о себе, о своей работе.

Я гляжу на Немцову и не вижу никаких следов беспокойства на ее строгом, красивом, не приукрашенном косметикой лице.

— Зовут меня Немцова Раиса Григорьевна. Мне двадцать шесть лет. Работаю в институте секретарем директора. Никаких секретных материалов у меня на работе нет, или, вернее, они через меня не проходят. Для этого есть другие люди и другие виды хранения.

— И Ягодкина это устраивало? — спрашиваю я, словно упоминание Ягодкина в нашем разговоре само собой разумеется.

И Немцова не удивляется, сразу отвечает:

— Нет, конечно. Он очень настаивал, чтобы меня допустили в круг этих людей.

— Перед кем настаивал?

— Передой мной, ясно. Ни с кем в институте он не был связан.

— И что же вы ему ответили?

— То, что я не физик, а у нас все сотрудники или доктора, или кандидаты наук. У директора даже стенографистки со специальным образованием. А у меня и высшего нет: с третьего курса пединститута ушла — замуж вышла. Когда же муж умер — он тоже в этом институте работал, — меня Анастас Павлович взял к себе личным секретарем. И никакой соучастницей Ягодкина я не стала вот до этой штуки. — Она небрежным жестом указывает на катушку с магнитной пленкой.

И опять мы не спрашиваем, что это такое, ждем, что

расскажет сама, а она говорит, говорит, говорит, словно хочет сразу выложить все, что скопилось в душе, о чем она думала и передумала.

— Меня привлекла в Ягодкине не только его трогательная заботливость и даже не чисто мужской интерес ко мне как к женщине, хотя в доме у него я чувствовала себя неуютно рядом с ухоженной и красивой, но почему-то завидующей мне Лялечкой. Привлекло меня в Ягодкине его внимание к моей работе, даже к самым скучным в ней мелочам. Ну какой мужчина будет интересоваться тем, как проходит мой служебный день в институте, кто заходит к директору, кто даже просто проходит мимо меня. И я рассказывала и радовалась, что есть у близкого мне человека не только интерес к моей внешности или к одежде, хотя одевалась я всегда очень скромно, а интерес к мелочам моей жизни, о которой-то и рассказывать было некому. А Ягодкин все спрашивал, и всем интересовался, и очень хотел, чтобы на работе меня оценили и допустили в свой учебный круг. Он даже книгу мне подарил — вон лежит так и нераскрытая. «Физика высоких энергий». Я в ней ни строчки понять не могу. Да Ягодкин и сам не стал читать, не моя, говорит, специальность. Вот, мол, прочтешь и будешь с ними на равной ноге. «Ну хоть по страничке в день читай, что совсем непонятно, пропустишь, но картина-то всей вашей работы тебе будет яснее, и с людьми легче сходиться будешь». Что и говорить, приятно было мне такое внимание, такое участие в моей личной жизни, только книжка эта не для меня писана. Но вот однажды случился у нас такой разговор...

Она задумывается, приглаживая рукой свои светлые, чуть выющиеся волосы, и я смотрю на ее тонкие и длинные пальцы и думаю: этим бы пальцам с тончайшими механизмами работать, а не пропуска подписывать и телефонную трубку поднимать, соединяя директора с городом. А ведь Ягодкин знал фон той среды, в которую стремился проникнуть, знал, кто есть кто в этой среде, и мечтал только о том, чтобы покорная ему Раечка сумела бы стать необходимым каналом связи.

— Любопытный разговор, — продолжает она задумчиво. — Спросил он меня как-то: хорошо ли работают наши телефоны, не вызываем ли мы иногда телефонных мастеров для починки? Я ответила, что по-

добных случаев не помню. «А пропустили бы к вам такого мастера, если бы это понадобилось?» — «Конечно, пропустили бы». А он как-то, не смотря мне в глаза, говорит: не могла бы я устроить такой пропуск Челидзе под видом телефонного мастера? «А зачем? — спрашиваю. — Ведь обман это, и Челидзе не к чему глазеть на то, что его не касается». — «Ну какой же это обман, — говорит он. — Пустяк, придет человек и уйдет». Кстати, в телефонах Жорка разбирается не хуже профессионала. Отвернет гайку, заглянет внутрь аппарата и уйдет. «Не спорь, девочка, слушай старших и запоминай. Челидзе должен сам взглянуть на окружающую тебя обстановку. Он и придет к тебе завтра в половине третьего, а ты ему пропуск закажешь. Ничего плохого не будет, это я тебе обещаю». Ну, я и уступила, и Анастаса Павловича обманула, и пропуск Челидзе заказала, и его в кабинет пустила. Только он что-то быстро оттуда вышел, даже не бледный, а серый какой-то и, уходя, шепнул: «Будь завтра вечером дома, приду. И Ягодкину ни полслова».

Мы с Жирмундским слушаем не перебивая. Картина выписывается действительно интересная. Что Челидзе собирался сделать с телефоном в кабинете директора, нам понятно, но мы ждем подробностей и не сомневаемся, что они будут не просто интересны — сенсационны!

А она продолжает так же спокойно: видимо, уже все продумала и решила:

— Челидзе действительно пришел через день вечером и принес эту кассету с пленкой. И то, что он сказал притом, было страшно. Оказывается, он должен был вмонтировать в телефонный аппарат Анастаса Павловича какое-то записывающее устройство, а включалось оно, когда я поднимала трубку у себя на столе. Ягодкин предупредил меня об этом: сними, мол, трубку, как только все соберутся в кабинете, поддержи минуту, не больше, и клади на рычаг. Вот и все. Но Челидзе сказал, что ничего он не вмонтировал, не сумел при посторонних: кто-то стоял подле него и смотрел, что он делает. Ну и струсил, говорит, открыл аппарат и закрыл, объяснил, что все, мол, в порядке, и ушел. «А тебе говорю, что с меня хватит! А не то десятку заработаешь в колонии с усиленным режимом. Вот тебе кассета, я ее сам сработал на совесть: такой физик, как

Ягодкин, охмурет. А ты, — говорит, — скажешь Ягодкину, что из аппарата я ее вынул, когда ты меня на другой день снова вызвала и в кабинет пустила». И об этом вторичном визите Челидзе в институт у нас с Ягодкиным тоже было условлено. Да еще Жорка скривился и добавил: «Отдашь кассету Ягодкину — тебе хоть передышка будет, пока совсем не завербовал. Могу, — говорит, — и другой совет дать: если жизнь дорога, сразу с кассетой к чекистам иди, срок меньший дадут, а то ведь у Ягодкина и до вышки прямая дорога. Ведь он сам подневольный, а хозяева его за границей в какой-нибудь «Свободной Европе». Оттуда и приказы шлют, а он нас завербовывает. Я-то лично смываюсь, в колонию неохота, а жить можно везде, если умеешь. Здесь же хана всем, помани мое слово. И за Ягодкиным следят, он уже сам это чувствует — только смыться ему некуда, и возьмут всех нас, голубчиков, за шиворот, если дураками будем. А я не дурак и в такую дыру залезу, что никому даже присниться не может». С этими словами он и ушел. Вот и жду, кто придет раньше — вы или Ягодкин. Слава богу, что пришли вы. Ну и забирайте, а вот и кассета. В общем, все.

— Нет, не все, Раиса Григорьевна, — подытоживает Жирмундский. — О сроках пока говорить не будем — все у нас впереди. И забирать вас не будем, а кассету возьмем. Только где же записывающее устройство?

— А он его в Москву-реку выбросил. Крохотный такой аппаратик, заграничный. Я-то его не видела, Челидзе рассказал. «Не хочу, — говорит, — чтобы эта гадость мне жизнь сократила, а то Ягодкин сам ее сократит с помощью своего Фильки». Ну а мне что Ягодкину сказать? Я ведь не актриса, сыграть не сумею.

— Небольшую рольку все-таки придется сыграть, Раиса Григорьевна, — говорю я, постукивая пальцами по миниатюрной кассете. — Скажитесь больной, расстроенной, допустим, выговором начальства за то, что пускаете в кабинет посторонних. Словом, придумайте, это не так уж трудно. А на вопрос о кассете удивитесь, скажите, что Челидзе не заходил, в институте вторично не был и никакой кассеты с пленкой вам не передавал. Пусть Ягодкин поволнует и сам поедет Челидзе разыскивать.

— А если найдет?

— Тогда и мы его у вас найдем. Ведь от Челидзе он опять к вам придет. В общем, мы вам позвоним сегодня же.

В комитете секретарь сообщает нам, что генерал уже вернулся, находится у себя и ждет нас с докладом. Его перебивает телефонный звонок.

— Александров звонит, Николай Петрович. Передаю трубку.

Я слышу в трубке какое-то неясное бормотание.

— Что с вами, товарищ лейтенант? Вы больны?

Александров — это сотрудник, которому поручено наблюдение за Челидзе. Он явно чем-то напуган.

— Неувязочка вышла, товарищ полковник. Виноват. Исчез Челидзе.

— Как исчез?

— Он прибыл домой в двадцать два сорок пять. Я засек время. Прибыл на своей «Волге». Машину оставил во дворе. Вошел в подъезд. Это с улицы. Живет он в однокомнатной квартире на четвертом этаже. Сразу же осветились оба окна — и на кухне и в комнате. Примерно через час — времени я не засек — та же «Волга» выехала со двора и с большой скоростью помчалась по улице. Из подъезда никто не выходил, и свет в окнах квартиры Челидзе продолжал гореть. Думаю, если машину угнали, рискну подняться и позвонить. Никто не открыл дверь. Позвонил еще раз. Тогда я толкнул дверь, а она открыта.

И квартира пуста. Платяной шкаф настежь, ящик с рубашками выдвинут, часть носильных вещей отсутствует, ящики письменного стола тоже открыты — при поверхностном осмотре ни документов, ни денег не обнаружено.

— Как же он мог бежать с четвертого этажа, если он, как вы утверждаете, не выходил из подъезда?

— Окна комнаты были закрыты, но открыто окно на лестничной клетке. А рядом по стене дома проходит пожарная лестница. Правда, она обрезана на высоте трех метров от земли, но прыгнуть оттуда трудно.

— Вы будете строго наказаны, Александров, за то, что упустили Челидзе, — с трудом сдерживаюсь, чтобы не накричать на незадачливого сотрудника.

Жирмундский криво улыбается. Он все уже понял.

— Перехитрил нас Георгий Юстинович.

— Немедленно объявите розыск Челидзе.

— Он мог удрать и с фальшивым паспортом.

— У нас есть его фотокарточка. Размножьте и разошлите. Мы не имеем права его упустить. Даже стыдно к генералу идти.

К генералу действительно идти стыдно. Мы много сделали, но и многое проглядели. А генерал все помнит. И то, что кажется нам бесспорным, может вызвать не один и не два коварных вопроса.

— Да еще шифровальщики копаются, — вздыхаю я.

— Текст уже расшифрован, — подсказывает Жирмундский.

По-видимому, цифровые комбинации не вызвали у них больших затруднений. Опыт шифровки, отличное знание лексики и семантики языка, привычный подбор наиболее часто встречающихся в языке букв, умение подбирать концы слов к их началам, а начала к концам создали в результате почти телеграфный без предлогов и знаков препинания, но, думаю, точный опус.

«ИНЖЕНЕР ОТКАЗАЛСЯ ПРИШЛОСЬ УСТРАНИТЬ ИНСТИТУТЕ УЖЕ ЕСТЬ СВЯЗНОЙ ПОДГОТОВЛЯЕТСЯ ЗАПИСЬ ИСПЫТАНИЯ ПРИБОРА СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА МАГНИТНОМ ПОЛЕ ПЛЕНКУ ПЕРЕДАМ ОТТО НЕОЖИДАННО ОБНАРУЖИЛ МНОГОКРАТНУЮ СЛЕЖКУ ЕСЛИ ПРОВАЛ ОТТО СОГЛАСЕН ВАРИАНТ ЗЕТ ХАРОН»

— Все понятно, — говорю я. — Кроме одного.

— Вариант зет.

— Именно.

— А может быть, вариант Челидзе?

— Теоретически возможно, тем более что Отто согласен. Новый паспорт, новая личность. Какая-нибудь глухомань. Зубные техники везде нужны. Только практически трудно осуществимо. Не так оборотист, как Челидзе, и не так прыток.

— Все равно у нас козырь для генерала. Даже не просто козырь, а козырной туз. — Жирмундского всегда заносит на поворотах.

Меня тоже заносит.

— Два туза. Шифровка и пленка.

По предложению генерала я опускаю хорошо ему известную предысторию дела и начинаю с того, что уже было с ним обусловлено — с поисков «дружка-фронтотвичка», загнанного Ягодкиным в исправительную колонию. Рассказываю о том, как нашел его с помощью МВД, и о трехдневном пребывании Ягодкина в плену у гитлеровцев, откуда, как известно, добровольно не отпускали. Кладу на стол и заявление Ключева, собственноручно им написанное. Генерал читает. Долго, внимательно, не поднимая глаз.

— Любопытный документ, хотя и скомпрометированный. Ягодкин отвергнет его как месть за донос.

— Донос как анонимка в суде не рассматривался. Ключев признался сам, считая, что в уголовном розыске до всего докопались. О Ягодкине отзывался с уважением и благодарностью, до последних минут нашего разговора не раскрывался.

— Но ты же сказал ему о доносе.

— Я показал ему анонимку, и он все понял.

Я говорю решительно, убежденно, не взвинчиваясь. Я был следователем на допросе Ключева. А следователь всегда знает, когда человек лжет. Следователь — это психолог, хирург, вскрывающий скальпелем мысли тайное тайных — душу человеческую. Я знал, что Ключев говорил правду.

— Вы забыли о человеческой совести, товарищ генерал. Даже разбойничья совесть не молчит, когда ее оскорбляют. Ключев не мстил, говорила оскорбленная совесть.

Генерал улыбается. Он меня понял.

— Обычно победителей не судят, Соболев. Ты прав. Продолжай.

И я продолжаю. О поликлинике, о филателистах, о том, почему мы не допрашивали Челидзе и Родионова, о самых обыкновенных советских марках, путешествующих в складках чужих бумажников, об удаче Сережи Чачина.

Чачинский маскарад веселит генерала.

— В замшевой куртке, говоришь? И в голубых штанах? И волосы до плеч?

— Ну, не до плеч, конечно. Но стричься я ему запретил и усы заставил отращивать. Стиляга по всем статьям.

— Хотел бы я посмотреть на этого красавчика.

— Могу предъявить его в наличии. Он в отделе у Маркова.

— Его не предъявлять, а награждать нужно. Награждать! Ясно? И не ждите для этого торжественных дней.

— Будет сделано, товарищ генерал.

Так мы доходим до зашифрованной марки. Генерал читает и пересчитывает полученный от шифровальщиков текст. Лицо хмурится.

— Что значит «пришлось устранить»? — спрашивает он. Голос его заморожен до предела.

Скрепя сердце собираюсь ответить, но меня перебивает Жирмундский:

— Разрешите доложить, товарищ генерал.

И рассказывает все о Еремине и о его гибели на Минском шоссе.

— Потеряли свидетеля? — кричит генерал. — Человека вы потеряли, майор. А человеческая жизнь дороже любых свидетельских показаний. И ведь это ваш промах, полковник. И не промах, а вина. Ви-на!

— Мы его не сразу нашли. Исходные данные невелики...

— Исходные данные... О человеке разговор, а вы: исходные данные... Прозевали маневр врага. Надо было искать Еремина, а за остальными поглядывать.

Генерал прав. Чекист на операции должен предвидеть все. Ведь мы имеем дело не с трусливым человеком, испугавшимся в плену пытки и со страху предавшим родину, а с коварным и злобным хищником, готовым продать Родину трижды, если ему трижды заплатят. Сейчас он загнанный на охоте волк, не пожалевший ни одной человеческой жизни, если можно спасти свою драгоценную. Хозяева его щедры и беспринципны, так он и сделает все, что от него потребуют. Мне даже думается, что он не жалеет о содеянном там, на фронте, во время отступления из Минска. Чем он лучше Фильки Родионова? Тот убивает за пятьсот рублей, этому платят тысячи. Перспективный агент, ухитрившийся прожить безнаказанно более тридцати лет в шкуре безобидного врача-протезиста. Ты выследил волка, Соболев, и ты его поймал, но ты не имеешь права на ошибку и заслуживаешь беспорного за нее наказания.

— О наказаниях будем говорить потом, — словно

откликается на мою мысль генерал. — И не здесь. Продолжайте доклад, полковник. Что значит «вариант зет»?

— Мы еще этого не выяснили, товарищ генерал.

— А «связной в институте» и «магнитная запись испытания прибора»?

— Разрешите воспользоваться вашим магнитофоном. Это та самая запись, которую Челидзе привез Немецовой.

Генерал согласно кивает. Я вкладываю в магнитофон катушку с магнитной пленкой и включаю запись. Слышен шум голосов, кто-то заканчивает фразу, ему отвечает другой, тут же присоединяется третий. Сколько человек беседуют, сказать трудно. Голоса повторяются, иногда с промежутками, иногда сразу, один за другим: «...обычная вакуумная камера, стекло и металл.

...смысл эксперимента в том, что с помощью направленного взрыва сжимается пространство, в котором локализовано магнитное поле.

...ясно, конечно: взрыв сжимает контур связанного с ним поля.

...значит, импульсный разгон?

...в общем-то, испытание в производственных условиях производится при более высоких температурах.

...а что получится?

...выход в интервал больших полей может дать качественный скачок в состоянии вещества.

...сколько эрстед?

...подождите, когда магнитное поле достигнет расчетного значения.

...а в результате?

...полупроводники становятся металлами, а металлы — полупроводниками».

Голоса потише, почти шепот:

«...в общем-то, малоубедительно.

...а ты чем занят?

...предполагаю следующий ход Карпова в его телевизионном матче».

Кто-то кричит:

«...не мешайте, товарищи!

...считаю: пять, четыре, три, два один... нуль!

...посмотрел бы на шкалу показателей.

...в сущности, та же вакуумная камера, магнитное кольцо и та же сверхдистиллированная вода».

Смешок:

«...святая вода!

...поле как бы ряд параллельных ладоней, поставленных то по вертикали, то по горизонтали.

...а уровень радиации?

...прошу не мешать!»

Молчание. Пленка идет без слов, кто-то кашляет. Потом снова включается голос:

«...в лабораторных условиях температура средней кинетической энергии молекул достигнет десяти, может быть, даже двенадцати тысяч.

...подсчеты потом.

...давление такого поля — это миллионы атмосфер.

...а изменение внешней среды?

...глупый вопрос. Какой? Ведь испытывается давление в магнитном поле».

Повторяется шепот:

«...поехал.

...а ты нашел ход Карпова?»

Пленка обрывается. Ведь катушка миниатюрна и вместе с записывающим устройством предназначена для вмонтирования в обыкновенный телефонный аппарат.

Все мы недоуменно молчим. Переглядываемся. Общее психологическое состояние, в каком мы находимся, я бы точно назвал растерянностью.

— Может, еще раз пропустим? — осторожно предлагает генерал.

— Зачем? — пожимает плечами Жирмундский. — Все мы знаем, что это липа.

— Я не физик, — говорю я. — Физику забыл со школьных лет, да тогда нас такой и не учили. Все мы знаем о физике только то, что читаем в газетах, названия да имена. Эйнштейн, Дирак, атом, вакуум, протон, нейтрон, позитрон. И если не отталкиваться от липы, то кто из нас, прочитав этот диалог в какой-нибудь книге, усомнился бы в его правдоподобии?

Жирмундский пытается возразить:

— Я бы рискнул. Почему испытания проходят в кабинете, а не в лаборатории?

— А если кабинет, скажем, соединен с лабораторией? Бывают же такие совмещения, — предполагает генерал и продолжает: — А что, если эту дезу вернуть Ягодкину? Ведь он знает о физике не больше нас.

— Он передаст ее Отто Бауэру. В точности, как в шифровке, — отвечает майор.

— Вы думаете, Бауэр знает физику лучше? А экспертов здесь под рукой у них нет. Есть смысл, майор, выпустить дезу с Бауэром, определенно есть. Пошлите ее Немцовой с нарочным, сговоритесь по телефону, подскажите ей, как вести себя с Ягодкиным. Ну а мы посмотрим, как развернутся события.

Жирмундский, забрав пленку, уходит. Мы остаемся вдвоем с генералом. Один на один. И я предвижу все, что он мне сейчас скажет.

И он говорит именно то:

— У тебя две ошибки, Соболев. И серьезные. Еремин и Родионов. Убийцу, конечно, не жалко, но живой он был бы нужнее нам, чем мертвый.

— У меня три ошибки, Иван Кузьмич. — Я обращаюсь к нему так, потому что мы вдвоем и разговор неофициальный. — Третья — Челидзе. Мои сотрудники упустили его.

— Сбежал?

— Вчера ночью. Или заметил слежку, или испугался встречи с Ягодкиным. А может, и то и другое. Не выходя из подъезда, через окно в лестничной клетке спустился по прилегающей к стене пожарной лестнице и удрал на своей машине.

— Объявлен розыск?

— Да. Уже размножена и разослана его фотокарточка.

— Найдем. — Генерал неожиданно снисходителен. — Главное сделано: то, что ты предвидел, ты и доказал. Количество фактов перешло в качество. Косвенные улики легли по прямой... Если Бауэр клюнет на приманку, мы охотно пожелаем ему успеха в доставке дезы по адресу. Воображаю рожи его хозяев, когда их эксперты обнаружат липу. Когда возьмешь Ягодкина?

— Сегодня Немцова отдаст ему катушку с пленкой. Завтра он передаст ее Бауэру. Тогда и возьмем.

— Слушай... а если не брать? Если поиграть с ним и с его хозяевами?

Я думаю об этом.

— Бессмысленно, товарищ генерал. Ягодкин сам себя проиграл. Кто ему станет верить после этой пленки?

— Ты прав. Стало быть, действуй...

В кабинете меня поджидает Жирмундский.

— Как генерал? Все еще рассержен?

— Нет, доволен. Даже очень доволен. Правда, с оговорками. Еремина он нам не простит. Да мы и сами себе не простим...

Жирмундский согласно кивает. Что ж поделаешь: наша вина.

— Отослал Немцовой катушку?

— Тотчас же. И с ней поговорил.

— Не подведет?

— Нет. Сделает, что требуется. Жду ее звонка.

Я молчу с чувством охотника, выследившего добычу. Нервы как струны. Даже в голове отзвук. Звенит.

— А как с Челидзе?

— Послал Булата в Тбилиси. Он там всю Грузию подымет. Тем более что у Челидзе брат в Тбилиси.

Зачем-то перебираю на столе какие-то папки. Заглядываю в блокнот, хотя и знаю, что ничего в нем не записывал. Время течет медленно-медленно, как жидкий мед. Десять минут, двадцать, час... Говорить не хочется. Наконец-то долгожданный звонок.

— Соболев слушает. Здравствуйте, Раиса Григорьевна... Был, говорите, сейчас же ушел? И катушку взял? Хорошо. Спешил? Ясно зачем. Немедленно звоните, как только опять появится. Очень важно, каким он появится. Вы поняли, Раиса Григорьевна? Прекрасно. Жду.

Жирмундский ни о чем не спрашивает. Он все понял.

— Я думаю, он в «Националь» поехал.

— Я тоже. Будут вместе прослушивать. Хорошо бы, Александров додумался позвонить. Нам очень важно знать, с каким настроением он вышел от Бауэра.

Александров звонит через час:

— Я из «Националя». Ягодкин вышел красный, потный и, по-моему, очень довольный. И сейчас же в бар. Пьет коньяк прямо у стойки.

— Кто в машине? Вы и Зайцев? Не упустите. Он может поехать к Немцовой. Если он задержится у нее, там и берите. Уйдет рано, проследите куда. Если за город, предупредите по линии, чтобы задержали машину. Все.

Трудно ждать, ничего не делая. Но мы ждем. Проходит минут сорок, а звонка от Немцовой нет. Куда же поехал Ягодкин? Где он сейчас?

Узнал я об этом не сразу. Может быть, час-два прошло... Но долгожданный звонок Немцовой сразу насторожил. Говорит она хрипло, с одышкой, с трудом подбирая слова:

— Только что ушел Ягодкин. Пробыл около часу, не больше. Но какой же мразью он оказался! Говорю непонятно, потому что нижняя губа у меня разбита: уходя, он ударил меня кулаком в лицо...

— Как это случилось? — Я почти кричу.

— Даже говорить не хочется... Пришел, насквозь коньяком пропахший, швырнул пиджак на диван, да так швырнул, что бумажник вылетел, и сказал, что идет в ванную: ему надо, мол, принять душ, побриться и привести себя в порядок. Пока он мылся, я подняла бумажник, открыла его и увидела немецкий паспорт на имя какого-то Отто Бауэра, чужие, несоветские деньги и билет на самолет до Вены на сегодня в восемь тридцать вечера. Когда он вышел из ванной, я подаю ему бумажник и спрашиваю: «Почему у тебя немецкий паспорт с твоей карточкой, на чужое имя и чужой билет на авиарейс до Вены?» Так он даже позеленел от злости. Ткнул бумажник в карман и схватил меня за горло. «Я тебя задушу, — говорит, — сволочь, научу, как в чужих карманах шарить». А потом кулаком в лицо ткнул и ушел. Я тут же вам и звоню.

— Вот что, Раиса Григорьевна, — говорю я, — никуда не улетит ваш Ягодкин с чужим паспортом. Мы им займемся. А вы закройте дверь на все замки и никому не открывайте, кто бы ни позвонил. Я вам сам позвоню утром, а до моего звонка никуда не выходите. Мало ли что может случиться.

— Что там произошло? — волнуется Жирмундский.

— Сегодня в двадцать тридцать Ягодкин вылетает в Вену с паспортом Отто Бауэра.

— А фото?

— В паспорт вклеена фотография Ягодкина. Видимо, это и есть «вариант зет». Если агенту угрожает опасность разоблачения, загнать его куда-нибудь в глубинку с паспортом на другое имя. А вышло, что не в глубинку, а на Запад, в царство «инакомыслия». И каким образом это вышло? Зачем хозяевам Ягодкин за границей — без знания языков, без опыта разведчика? Марками в киоске торговать? Чепуха! Не мог Бауэр подарить ему свой паспорт с авиабилетами в придачу,

если сам сегодня собирается в Вену. Тут что-то другое. Почему молчишь?

— Есть мыслишка, Николай Петрович. Может быть, Ягодкин просто украл у Бауэра его билет и паспорт. А дома свою карточку вклеил. Могло так случиться? Могло. А где это было, неважно. В баре ли, где вместе выпивали и Бауэр, расплачиваясь, оставил на стойке бумажник, а Ягодкин его подобрал или дома, где Бауэр, скажем, повесил пиджак на спинку стула. Всегда можно украсть документ, если знаешь, где он лежит.

— Но ведь Ягодкин знал, что Бауэр перед поездкой в аэропорт, не найдя бумажника с деньгами и документами, обязательно позвонит портье, а тот дежурному ближайшего отделения милиции, — недоумеваю я. — Ведь это же неминуемый провал и арест в аэропорту. На что же рассчитывал Ягодкин?

— Бауэра он знает лучше нас, Николай Петрович. И не позвонит тот ни портье, ни в милицию. Незачем. И новый паспорт, и билет на самолет ему все равно выдадут в посольстве с отсрочкой на день. Спросишь, для чего ему спасать провалившегося агента? Так ведь как агент Ягодкин с украденным паспортом для него все равно потерян. В глубинку теперь его уже не заго니шь, а его арест в Москве может быть источником непредвиденных неприятностей для самого Бауэра. Так пусть уже занимается им венская полиция.

Я соглашаюсь. Возможно, Жирмундский и прав. До завтрашнего утра Бауэр не будет беспокоить ни милицию, ни посольство. А если мы ошибаемся, Ягодкин все равно будет задержан или нами, или угрозыском.

Бауэр знает, что Ягодкин «засвечен». Не сегодня-завтра его арестуют. Что он будет говорить на допросах? Кого назовет? Многих, многих — Ягодкин не из молчунов. И о Бауэре поведает, о скромном иностранце. И вот результат: Отто Бауэр — персона нон грата. Черта с два он получит когда-нибудь въездную визу в СССР. А значит, прощай, карьера связника... Нет, Бауэр предпочтет поиграть в растеряху-иностранца в надежде, что Ягодкину удастся улететь в Вену. А уж там им займутся как следует. Там Бауэр в самых ярких красках опишет коварство бывшего разведчика, доказавшегося до воровства.

— Есть еще и третий вариант, — размышляет Жирмундский. — Бауэр сам прибудет в аэропорт.

— Исключено, — говорю я. — Возможность нашего вмешательства может быть им предугадана. А тогда зачем ему рисковать? Вероятно, он все-таки надеется, что Ягодкин улетит.

— А не упустим?

— За его машиной следуют Зайцев и Александров. Надеюсь, они уже догадались, куда он направляется. До вылета еще полтора часа. Тут и моя «Волга» успеет.

Жирмундский явно недоволен, что мы едем не вместе

— А нельзя ли воссоединиться?

— Нельзя. Нас там и без тебя трое. А ты нужен здесь. И не отходи от стола. Через какие-нибудь четверть часа Александров или Зайцев тебе просигнализируют. Скажи им, что, если я почему-либо опоздаю к авиарейсу на Вену, пусть берут его без меня. Прямо у трапа. Но, вероятнее всего, я успею. У меня в запасе час с лишним.

Я даже не беру оружия. Ни стрелять, ни сопротивляться Ягодкин не будет. Поймет, что игра проиграна, и будет рассчитывать на свою изворотливость или на недостаточность наших улик. Ведь загадки Чачина он не разгадал и о расшифрованном тексте его сообщения на марке не знает.

Август сейчас, как июль, — сухой и жаркий. В городе двадцать восемь градусов. Но от ветра, врывающегося в полуоткрытое окно машины, мне хорошо и прохладно. Навстречу бегут желтые огни фар, путевые знаки, высокие фонари над дорогой, чернеющая в сумерках придорожная трава и неизменный кусок шоссе впереди, где-то всегда обрезанный темнотой.

Что ж, Ягодкин не улетит, он даже не подыметься по трапу, я тут же попрошу его отойти в сторону — и, наконец, делу венец. Только надо успеть вовремя.

А вот и аэропорт. Я проделываю все необходимые формальности, ставлю машину, где ей положено ждать, и прохожу через служебный вход в помещение аэровокзала.

Я не люблю вокзальной обстановки, разношерстной пассажирской толчеи, суетни у касс и окошек для справок, у буфетных киосков с теплым лимонадом и зачерствевшими бутербродами. Кресла для пассажиров всегда заняты, присесть негде, а у меня еще полчаса свободного времени. Встречи с Ягодкиным я не боюсь: ме-

ня трудно узнать в роговых очках с дымчатыми стеклами, в модной шляпе с широкими полями и в светлом плаще, купленном в Бухаресте прошлым летом. Впрочем, для маскировки я еще покупаю у входа букет с гладиолусами. Люди чаще глядят на цветы, а не на человека с букетом. Он их внимания не привлекает, ну встречает кого или провожает, не все ли равно. Так я прохожу мимо сидящих, что-то читающих, что-то жующих, о чем-то болтающих или скучно молчащих людей. Сразу же нахожу Александра. Он сидит на диване с «Огоньком» в руках, открытом на странице с кроссвордом. Вероятно, Ягодкин где-то близко. Александров меня не узнает, косит глазом на гладиолусы и возвращается к своему кроссворду. «Столица Венесуэлы, столица Венесуэлы...» — бормочет он еле слышно.

— Каракас, — подсказываю я, также не повышая голоса.

Он оборачивается ко мне, узнает и уже готов вскочить с официальным приветствием.

— Сидеть! — тихо говорю я. — Ягодкин близко?

— Через три ряда, напротив. Сидит вполоборота к нам. Закрылся газетой.

— А где Зайцев?

— Он ведет наблюдение с другой стороны.

Я смотрю на часы. Минут через десять объявят посадку. Я почти шепотом говорю о том Александрову.

— Мы еще не знаем, на какой рейс у него билет, — отвечает он. — Александр Михайлович приказал ждать вас.

— Все правильно. На посадке в толпе пассажиров возьмите его в клещи. Один впереди, другой сзади. Не рядом, конечно. Он вас еще не приметил?

— Думаю, нет. Все время читает газету. А вы где будете?

— Я встречу его у трапа. Вы подойдете туда же.

Лавируя между ожидающими, прохожу на летное поле. Почему я намеревался задержать Ягодкина лишь в последние минуты перед посадкой? Проще было бы арестовать его тут же, в пассажирском холле. Но я хотел взять его, как говорится, с поличным, официально зафиксировав его попытку бежать за границу. Ведь само по себе его пребывание в аэровокзале еще не свидетельствовало об этом. Ведь он мог признаться, что действительно украл бумажник у Бауэра и действительно

вклеил в его паспорт свою фотокарточку, но бежать раздумал, собирался уже уехать домой, заменить в паспорте свою карточку бауэровской и вернуть этот паспорт его законному владельцу вместе с просроченным билетом на самолет. Все-таки одним преступлением будет меньше, а другие, мол, надо еще доказать. Нет, я рассчитал все точно: арест при посадке на самолет был хорошим ходом. Король заматован. Все!

Только не король он, не король, не годится тут шахматная терминология.

Я стою у трапа рядом со стюардессой — очень картинной и обаятельной, как в любом киноэпизоде, где такие вот стюардессы встречают пассажиров у самолета. Она смотрит на меня почти с восхищенным любопытством: мое служебное удостоверение свою роль сыграло.

— Вы не полетите с нами, товарищ полковник? — спрашивает она.

— Нет, не полечу. Мне тут одного пассажира требуется встретить.

— С цветами?

— Цветы — это для вас, Лидочка. Я только ждал этого вопроса, чтобы вручить вам букет.

— Спасибо. Только, между прочим, я не Лидочка, а Валя.

— Простите, Валечка. Тут я с одной стюардессой летал, на вас похожей. Так ее звали Лидочкой. Ну и сболтнул по-стариковски.

— Какой же вы старик? Полковник он и есть полковник. Да и совсем молодых полковников не бывает.

— А космонавты? — улыбаюсь я.

— Так то космонавты, а не просто военные... — Она ищет слова, которые могли бы, не обидев меня, объяснить в ее понимании разницу между просто полковником и полковником-космонавтом. — Да, и работа у них не просто военная и не просто воздушная, как у наших пилотов, а специальная, особая и очень-очень трудная.

— У нас, Валя, тоже специальная и нелегкая, хотя мы и не летаем в космос, — вздыхаю я.

— А кто этот ваш пассажир, не секрет?

— Секрет, Валя. А увидеть его вы, конечно, увидите.

К самолету уже подходят первые пассажиры. Много наших, советских, но в основном иностранцы.

Ягодкин подходит к трапу вслед за платиноволосой

Гретхен в белых расклешенных брюках. В руках у него мягкий клетчатый чемодан, весь оклеенный иностранными этикетками. Глаза, как и у меня, прикрыты дымчатыми очками. В сущности, такой же примитивный маскарад, как и мой.

На Гретхен я не смотрю, но перед Ягодкиным протягиваю руку, преграждая ему путь на лестницу.

— Варум? — спрашивает он по-немецки, явно не узнавая меня.

— Отойдем в сторонку, Михаил Федорович, — говорю я негромко, но непреклонно.

Он еще не понял или делает вид, что не понял.

— Их бин Отто Бауэр. Я есть иностранный турист, — настаивает он, ломая русский язык.

— Не будем мешать пассажирам, Михаил Федорович. И не надо шуметь. Ведь мы с вами давно знакомы.

Я беру его под руку, сбоку вырастает лейтенант Александров, а чуть позади Зайцев. Ягодкин уже узнал меня и как-то оседает. Он не сопротивляется, только еле-еле идет, ни о чем не спрашивая. Да и не о чем говорить, когда все уже ясно.

Так мы доходим до ожидающей нас машины.

— Сегодня допрашивать вас не буду, Михаил Федорович, — поясняю я арестованному, — у вас есть еще время подумать до завтра. Только учтите, что нам уже все известно. Абсолютно все. А вы, товарищи, — обращаясь я уже к своим лейтенантам, — доставьте его прямо в камеру, майор Жирмундский все оформит. Ну а я доберусь на вашей машине.

— Она на стоянке, — рапортует лейтенант.

Из аэропорта звоню Жирмундскому:

— Все сыграно как по нотам, Саша. Взяли прямо у самолета, в очереди на посадку. Сейчас его увезли Зайцев и Александров. Оформи все, что нужно, и езжай домой.

— Не нравится мне твой тон, Николай Петрович. Голоса победителя не слышу.

Тон у меня действительно минорный, но я просто устал на следственном марафоне. И не дошел до финиша, осталось еще несколько метров. Ведь Еремин убит, а Челидзе еще не найден. И сопротивляться Ягодкин будет отчаянно.

— А мы еще не победили, товарищ майор. И завтра самое трудное — первый допрос.

Утро следующего дня начинается у меня с телефонных звонков. Сначала звоню Немцовой.

— Раиса Григорьевна? Соболев вас приветствует. Ни вчера вечером, ни ночью вас никто не потревожил, нет? Отлично. Теперь можете спокойно входить и выходить когда вам вздумается. Никаких неожиданностей не будет: Ягодкин арестован. Челидзе струсил, и это вас спасло. Ну а если бы он не струсил? Вы бы наверняка могли стать соучастницей Ягодкина. Сначала невольной, а потом завербованной.

В ответ я слышу всхлипывания и бессвязный лепет, из которого можно понять, что Челидзе или арестован нами, или сбежал.

— А откуда это вам известно? — спрашиваю я.

— Ни вчера вечером, ни сегодня утром его телефон не отвечает.

— Незачем вам тревожиться о Челидзе, — говорю я. — Пройдет время, и он сядет на скамью подсудимых рядом с Ягодкиным.

Вызываю по внутреннему телефону Жирмундского.

Я знаю, о чем спросить Жирмундского, и он знает, о чем я спрошу. Поэтому сразу же, как ЭВМ, выдает готовый ответ:

— В милицию я уже звонил. Заявление Бауэра получено. И тут же передано в МУР одновременно с просьбой посольства.

— Соедини меня с угрозыском, — говорю я.

Трубку подымает старший инспектор Маликов, с которым я уже встречался в связи с делом Гадохи. Оказывается, он меня помнит и потому позволяет себе пошутить:

— Третье дело вам сдаем, товарищ полковник. Отлично. Могу еще парочку подбросить.

— Не помню второго, — говорю я.

— А дело об убийстве на Минском шоссе. Его у нас забрал ваш помощник. Кстати, и первое и второе мы бы закрыли: там нет даже подозреваемых. Один сгорел, второй, угробив машину, сам же разбился. Только в третьем деле надо вора искать. Посольство требует, да поскорее.

— Уже нашли, — усмехаюсь я.

— Кто?

— Мы же и нашли. Так что передавайте дело. Облегчаем вашу работу.

Обмен любезностями завершает переговоры. А дело закрыть нельзя. Ни первое, ни второе, ни третье: они все опечатаны одной сургучной печатью. И одного из ее хозяев мы уж знаем.

Отто Бауэр. Коммерсант. Представитель мюнхенской фирмы «Телекс» с ее филиалом в Вене. И Бауэр не подставное лицо, у него есть действительно торговые дела в Москве: справка Внешторга подтверждает безупречность его коммерческой репутации. Он действительно покупает и продает то, что нужно его хозяевам. Но то, что у него есть и другие хозяева, знаем пока только мы. Знаем, но доказать не можем. И привлечь к ответственности не можем. Правда, катушку с магнитофонной записью мы у него, может быть, и найдем, но запись подтвердит только розыгрыш Челидзе и Шелеста. А Бауэру мы даже экспертизы физиков предъявить не сможем. Он посмеется и скажет: нашел где-то на улице, прослушал дома и оставил у себя, как любопытную диковинку. В чем же его обвинишь? В шифрованной переписке на почтовых марках он не участвовал, с Ягодкиным, скажем, незнаком, а имя Отто так же популярно в Германии, как у нас Владимир или Олег. Даже если признается Ягодкин, Бауэр может хладнокровно все отрицать. Никаких очевидцев их знакомства ни у нас, ни у Ягодкина нет. Свидетельство Линьковой неубедительно. В первый раз она видела его только мельком накануне превращения Ягодкина в филателиста. На прошлой неделе также мельком заметила его в подъезде гостиницы «Националь» на улице Горького. На официальном допросе она может сказать только то, что Бауэр чем-то напоминает Лимманиса, как его называл тогда Ягодкин, но категорически утверждать, что это одно и то же лицо, она, конечно, не будет. Случайная встреча со случайным человеком. Показания Ягодкина? Врет, врет, какие сомнения!.. Так что никаких оснований для того, чтобы задержать Отто Бауэра накануне его возвращения в Вену у нас не имеется. Да и пусть улетает он со своей липовой записью. Второй или третий раз уже не приедет, когда узнает, кто и где нашел его документы, — это он знает, и, пожалуй, этого он боится. Но сие уже не наша компетенция.

— Значит, ни документов, ни билета на самолет ему

не возвращаем? — спрашивает Жирмундский, когда я излагаю ему свои соображения о Бауэре.

— А зачем? Они пойдут в дело Ягодкина вместе с западногерманской валютой, а новый паспорт и билет он получит в посольстве.

— Следующего приезда не будет, — резюмирует Жирмундский. — Особенно после того, как их экспертиза проверит запись.

— Запись ему простят, — говорю я, — не всегда разведчик знает современную физику. А вот за то, что крупно ставил на Ягодкина, накажут. Но выбросить не выбросят: хорошо, подонок, знает русский язык.

Я смотрю на часы. Уже полдень. Пора начинать генеральную репетицию. Жирмундский просит разрешения присутствовать на допросе. Разрешаю, конечно. Ведь он прошел со мной весь долгий путь от Гадохи до Ягодкина, знает все мелочи дела и всегда может подсказать нужный вопрос.

Звоню по внутреннему телефону.

— Ягодкина на допрос.

Ягодкин появляется, садится на стул напротив меня.

23

— Можно закурить, гражданин следователь?

Я протягиваю ему сигареты. Он закуривает с наслаждением давно не курившего человека. Глаза еще спокойнее и не дрожат руки. Значит, допрос будет трудный.

— Я вас предупреждал, что все знаем о вас?

— Предупреждали. Только ваше «все» — это мое «ничего». Меня могли бы уличить только факты. А у вас всего один: чужой паспорт и попытка бегства. Не могу не признать: бы-ло!

Ягодкин хорошо знает Уголовный кодекс. Статья о попытке бегства за границу — это одно, а статья об антисоветской деятельности в интересах иностранной разведки нечто совсем другое. И наказания разные. Мне уже ясно, что Ягодкин будет признавать только то, что будет неопровержимо доказано. Но от любого преступления, как от камня, брошенного в воду, расходятся круги...

— Как очутились у вас документы Бауэра? — спрашиваю я.

— Нашел в вагоне метро на скамейке рядом. Соседей не помню. Близ какой станции, тоже не помню.

— Зачем же вы вклеили свою карточку в чужой паспорт?

— Затем, чтобы воспользоваться им как своим.

— И авиабилетом до Вены?

— Неумный вопрос. Все затем, чтобы удрать за границу.

— Разве у нас вам так плохо жилось?

— Всегда ищешь лучших возможностей в жизни. У нас две личные автомашины — это уже предлог для вмешательства ОБХСС, а за границей — только признак зажиточности.

— А Бауэр не способствовал вашему побегу?

— Только косвенно, как владелец паспорта.

— Может быть, вы все-таки с ним знакомы?

— Ни разу не видел.

— Неправда. Вы связаны с Бауэром, и ваша попытка к бегству — это в его кодовой системе переосмысленный вами «вариант зет»!

Хороший удар. У Ягодкина в глазах искорки ужаса. Но злая воля берет верх, искорки гаснут. Лицо снова маска невозмутимости.

— Что значит «переосмысленный»? — медлит он, подавив невысказанное.

— То, что вам надлежало скрыться где-нибудь на периферии, а вы предпочли бежать за границу с паспортом Бауэра.

— А при чем здесь «вариант зет»? Я вас не понимаю.

— Откуда же, вы думаете, мы взяли эти два слова?

— Не интересуюсь.

— Ладно, к вопросу о «варианте зет» мы еще вернемся, а пока ответьте на вопрос из вашей военной биографии.

— Она чиста, как стеклышко, протертое замшей. Сначала отступали, потом наступали, два раза был ранен, отлеживался в госпиталях, потом догонял свою часть. В плену не был, без вести не пропадал. Можете проверить. Да уж проверяли, наверно...

— Мы проверили: все совпадает. Но интересует нас лишь один эпизод вашей фронтовой биографии. Ваше отступление из Минска.

— А что тут интересного? Хаос, сумятица, смятение чувств. Отступали мы по болоту, обходя прорвавшую-

ся по шоссе танковую колонну противника. Под ногами кочки, торфяные озерца, осока, грязь, в которой не только человек, танк утонет. А кругом мгла, туман, ольшаник, простреливаемый и с воздуха и с шоссе. Гибли люди без счета. Ну а мне повезло: уцелел. Только одной контузией и отделался.

— А кто с вами рядом был, не упомните?

— Разве теперь вспомнишь. Натыкались друг на друга в поисках ушедших частей, бывало, что и шли вместе, а потом теряли друг друга, особенно во время бомбежек. С одним, можно сказать, два дня до смерти шли: так на руках у меня и богу душу отдал. Старая рана открылась, шов лопнул. А я даже как звать его позабыл.

— А Ключева не помните? Бывшего штрафника из вашей роты?

И опять в глазах его вспыхивают искорки страха. И тут же гаснут: сильной воли человек.

— Не припоминаю.

— Нет, Ягодкин, помните. И он вас четверть века помнил. И в Москве вас нашел, чтобы посчитаться за старые дела-делишки. Ведь мы знаем об этом визите и о его последствиях тоже.

— Жив еще старый ворюга. Такого вспоминать — только себя компрометировать.

— А он о вас помнит.

— Басни.

— Вот и прочтите одну из них. — Я передаю ему копию заявления Ключева.

Ягодкин читает, не подымая глаз, только руки дрожат — вот-вот разорвет он этот листок бумаги, только сознание подсказывает, что не надо на него так реагировать. Читает он долго, я думаю, перечитывает каждую строку по нескольку раз, размышляя, как обесценить этот документ. Наконец наши взгляды встречаются — мой уверенный и его озлобленный взгляд попавшего в капкан волка.

— Не так все было, гражданин следователь. Оклеветал он меня так, что и сказать нечего. Оболгал на-чисто.

— Почему же?

— Со злобы. От зависти. Я на свободе, а он лес в колонии рубит.

Я не говорю Ягодкину об анонимке: в деле она не

рассматривалась, Ключев и так все признал. Но об анонимке вспомнил сам Ягодкин.

— Я знаю, что здесь только вы задаете вопросы, гражданин следователь. Вы спрашиваете, я отвечаю. Но разрешите и мне задать вам вопрос.

— Спрашивайте.

— Вы знакомились с делом Ключева?

— Конечно.

— Не было ли в этом деле указующего письма без подписи обо всех его преступлениях перед законом?

— Анонимное письмо в суде не рассматривалось.

— Это я написал его. Перечислил все им содеянное.

Я вижу ход Ягодкина и куда он ведет. Ягодкин мог бы отвести обвинение Ключева как месть за его заявление в угрозыск.

— Возможно, следствие не придало ему большого значения, — говорю я. — И кем бы ни был Ключев, срок его заключения рано или поздно закончится. А свидетельство его о вашем пребывании в плену у немцев и о вашем согласии работать на их разведку все равно остается таким же уличающим вас свидетельством, даже если бы он был соучастником вашего преступления.

Он опять меняется у меня на глазах. Не суетится, не ерничает, не пытается ничего опровергнуть. Только говорит снова медленно-медленно, как будто все уже решил.

— О чем плакать? — вздыхает он. — Было. И плен, и вербовка. Взяли подписку и отпустили через несколько дней на том же участке фронта. Но ведь не работал же я на гитлеровскую разведку. Всю войну прошел с боями, наградами и чистой совестью. Никого не продал, не предал. О Ключеве не говорю: дезертир он и ворюга, и жалеть его не за что. А то, что он сказал обо мне, — правда. Но ей уже больше тридцати лет, можно было бы и простить.

— Простить можно, если бы не напомнили. Ведь есть когда-то подписанное обязательство. В угаре наступления, в огне первых боев о вас просто забыли, а вот через три десятка лет все-таки вспомнили. Нашлась где-то в архивах гитлеровских преемников ваша подписочка. И не тронули бы вас из-за нее: только мужество надо было иметь, мужество признания, а вы шантажа испугались. Все у вас было: работа, в которой вы были мастером, семья, которую могли бы и не разрушать,

перспектива честной, незапятнанной жизни. Но вот приезжает из Мюнхена или Кёльна некий господин Бауэр, представитель уже не гитлеровской разведки. И честная жизнь гражданина Ягодкина кончается. Появляются доллары, кляссеры с редкими марками, да и расплата не слишком трудная: всего-навсего сколотить вокруг себя группу своих людей, которым весело хочется жить, не утруждая себя хождением на работу, и на которых мог бы опереться уже более опытный, чем вы, другой специально засланный вашей разведслужбой агент. Тутгодились бы и бывшие уголовники, и просто жадные до денег люди, и злобные антисоветчики, готовые на все, чтобы порадовать хозяев. К счастью для нас, времени у вас было мало, не успели вы расширить «компашку», да и довериться вы могли только двум, полученным в наследство от вашего «однофамильца» из Марьиной роши. Один просто ловкий мошенник, валютчик и спекулянт, другой нераскрывшийся бандит, способный на любое преступление за пару сотенных. Наследство небогатое, хотя трюк с однофамильцами как прикрытие роль свою сыграл. Только надо было так случиться, что первый Ягодкин был совсем не Ягодкин, а Гадоха, один из моих старых знакомых. Вот отсюда-то и начался новый ваш след, как изменника Родины, подлеца и убийцы. Да, да, убийцы, потому что на ваших руках кровь убитого по вашей указке советского человека. А начнем мы с вашего развода, с ваших первых знакомств, с поисков связных, которые могли бы перевезти за границу на вид совсем новенькие советские марки, а на самом деле марки с зашифрованным на обороте текстом и затем покрытые непрозрачным бесцветным клеем.

— Это только ваша гипотеза, гражданин следовательно, — снова очень спокойно возражает Ягодкин. — Я действительно посылаю своим зарубежным друзьям новые советские марки, но никаких манипуляций с ними не происходит. Марки так и остаются марками, а не способом секретной связи с заграницей, в чем вы меня обвиняете.

— Почему же вы, посылая марки, не пользуетесь обычной почтовой связью? — вмешивается в допрос Жирмундский.

— Потому что не хочу рисковать. Письма из СССР, рассуждаю я, могут подвергаться перлюстрации на лю-

бом европейском почтамте — я не говорю, конечно, о социалистических странах — и если их вскрывает тоже филателист и коллекционер, любая, вложенная в эти письма советская марка может легко исчезнуть. Тут уж никакие заявления в полицию не помогут.

Мы переглядываемся с Жирмундским, и я понимаю его предостерегающий взгляд: пока не говорить о Чачине и о расшифрованном нами тексте на обороте переданной ему почтовой марки, прибегать к главному нашему доказательству. Что ж, побережем. Тем более что деятельность Ягодкина на попрание советской филателии далеко не исчерпана.

— Значит, вы признаетесь в том, что ваш интерес к филателии и связанным с нею обменным операциям с зарубежными коллекционерами возник у вас с приездом в Москву и визитом к вам господина Бауэра? — суммирует свой вопрос Жирмундский.

— Нет, не признаюсь.

— Но у нас есть свидетельство вашей бывшей жены.

— Она может свидетельствовать только о том, что было в действительности. Действительно, я купил у богатого иностранца его редкую коллекцию марок. Естественно, я не собирал ее, но у филателистов не спрашивают, приобретал ли он свою коллекцию оптом или поштучно. Значение имеют сами марки, а не их бывшие собственники. Кстати, бывшего собственника купленных мною марок звали не Бауэром.

— Ну, Лимманисом, как вы назвали его вашей жене. У гастролеров из иностранных разведок обычно десятки разных фамилий.

— О своей профессии он мне не рассказывал. Речь шла только о марках.

— Странно не это. Странно то, что пополняли вы свою коллекцию главным образом из зарубежных источников.

— Европейский марочный рынок богаче нашего.

— А связных для гастролей на этом рынке подыскивал вам Челидзе?

— Об этом спросите его самого. Вы хотите спросить, почему сертификатами расплачивался Челидзе?

— Допустим.

— Потому что мне так было удобнее. Он избавлял меня от лишних хлопот.

— Это он для вас пытался завербовать инженера Еремина?

— Завербовать? Для меня? Не пугайте, гражданин следователь. В первый раз слышу эту фамилию.

— Не лгите, Ягодкин. Челидзе с ним вел переговоры от вашего имени. Ведь Еремин шел к нам, чтобы рассказать об этом. Вот тогда он и был сбит, а точнее, убит вашим автомехаником.

— Почему моим? Родионов обслуживал на станции десятки автомашин. И кстати, как мне рассказали, сбил случайно, пытался удрать от погони и в результате погиб сам в автомобильной аварии.

— Но он ехал в машине с поддельным городским номером, а кроме того, в его бумажнике нашли несколько новеньких сотенных купюр, которыми кто-то мог заплатить за убийство Еремина.

— И этот «кто-то» я?

— Это выяснится на допросе Челидзе. Связь с Родионовым вы поддерживали через него.

Ягодкин брезгливо морщится. Ведь он, по-видимому, уже осведомлен о побеге Челидзе.

— Вот и копайте эту грязь без меня. С таких подонков она ко мне не пристанет.

Исчезновение Челидзе позволяет Ягодкину вилить. Вероятно, он и далее будет пользоваться этим исчезновением, ускользая от самых «опасных поворотов» допроса.

Что ж, попробуем все-таки остановить его на таком повороте.

— С Немцовой вас познакомил Челидзе?

— Возможно.

— Отсюда и ваша близость к ней?

— Нельзя игнорировать женщину с таким обаянием. Ни один холостяк не прошел бы мимо.

— А почему вы так интересовались ее работой в области, мягко говоря, весьма далекой от ваших профессиональных забот?

— Откуда вам это известно?

— От самой Немцовой. Зачем, например, вы послали в ее институт под видом телефонного мастера того же Челидзе?

— Она что-то путает, Вероятно, это была его инициатива.

— Для чего?

— Спросите у Челидзе. Я не смешивал своих и его интересов.

Жирмундский снова подмигивает мне: пора, мол, переходить к Чачину. Я предоставлял ему инициативу. Жирмундский тут же переходит к допросу.

— Как вам удалось спровоцировать Чачина?

— При чем здесь провокация? От Челидзе я узнал, что Чачин едет в Западную Германию. Пригласил познакомиться, почему-то был уверен, что у нас обоих имеются обменные марки. Так и оказалось, даже уговаривать не пришлось. Коллекционер всегда поймет коллекционера. И хотя Чачин сам собирает советские марки, кто ж откажется от зарубежных новинок — для обмена хотя бы. Лично я послал Кьюдосу две новехонькие советские марки «Союз» — «Аполлон», ну а Чачин из своих мог обменивать любые дубли.

— Взамен вы ничего не получите, — говорит Жирмундский. — Обе ваши марки у нас.

И кладет перед Ягодкиным фотоснимок обоих марок с цифровой записью и листок бумаги с расшифрованным текстом. Ягодкин, не нагибаясь к столу, читает. Руки опять дрожат, а лицо, как в кино, крупным планом отражает все охватывающие его эмоции. Сначала только испуг, сознание того, что мы все о нем уже знаем, потом вдруг появляется отчаянно сопротивляющаяся мысль: не все, мол, еще потеряно, он еще может подняться.

— Для меня это такая же новость, как и для вас. Марки для обмена доставил Челидзе. Я только передал их Чачину. А зашифрованный и замаскированный кле-ем текст не на моей совести. Предъявляйте обвинение Челидзе.

Ягодкин знал, что его шаг отчаянный, надеялся, что Челидзе мы не нашли, что скрылся он глубоко и надолго.

— Здесь сказано: инженер от вербовки отказался, пришлось устранить. А ведь вербовал его не я, а Челидзе. Я его и в глаза не видал. И устранил его Родионов не по моему приказанию, а по директиве Челидзе... Да и связной в институте — я даже не знаю, о каком институте идет речь, — не мой агент, а Немцова была связана с Челидзе теснее, чем со мной.

Неужели же все-таки ускользнет от нас Ягодкин, скрывшись за спиной «альтер эго»? Ведь доказать мы

можем только два его преступления: попытку с чужим паспортом бежать за границу и тайную вербовку его гитлеровской разведкой в первые дни войны. Но доказать, что побег был запланирован и подготовлен самим Бауэром, мы не можем, а на гитлеровскую разведку он не работал ни в первые, ни в последние дни войны. Все остальное он отрицает, подставляя под удар исчезнувшего Челидзе.

«Допрос Челидзе! А где мы найдем сейчас его точку на карте? Прочесать всю горную Сванетию? Сколько времени это потребует? Месяц, год, полтора, два? А если он не в горной Сванетии? Какие у нас данные, кроме разосланной фотокарточки?»

Телефонный звонок прерывает мои раздумья. Станный телефонный звонок в минуты молчания, когда решается судьба человека. Я апатичен, Жирмундский морщится, Ягодкин вздрагивает: а вдруг это тот самый звонок, который ставит точку в его последнем слове защиты?

Прав Ягодкин: это именно тот звонок!

Я машинально подымаю трубку. Звонит Булат из Тбилиси.

— Только что взяли Челидзе на даче его брата за городом. Не успели они сплавить его в Сванетию.

— В Москву, — выдавливаю я с трудом застревающие в горле слова, — сейчас же в Москву. Предусмотрите все: охрану, доставку, передвижение по городу.

И, не глядя на Ягодкина, нажимаю кнопку звонка на столе. Входит дежурный.

— Уведите обвиняемого.

На Ягодкина я уже не смотрю. Мне все равно теперь, как он выглядит, как реагирует на звонок, о чем размышляет.

Жирмундский наклоняется над столом.

— Откуда? Кто?

— В Тбилиси арестован Челидзе. Теперь все! Конечная точка.

«Джиг-со». Составная картинка-загадка, представлявшая когда-то груды распиленных мелких кусочков, уже собрана до конца. «Сложи так» — говорит нам ее название, если заменить в нем не очень мешающие фонетике буквы. По крайней мере для иностранца.

СОДЕРЖАНИЕ

ОПОЗНАЙ ЖИВОГО	3
СЛОЖИ ТАК	133

ИБ № 1728

Сергей Александрович Абрамов

ОПОЗНАЙ ЖИВОГО

Редакторы **В. Фалеев, С. Лазаревич**

Художник **К. Фадин**

Художественный редактор **Б. Федотов**

Технический редактор **И. Соленов**

Корректоры **Г. Василёва, Н. Павлова**

Сдано в набор 05.04.79. Подписано в печать 29.08.79. А00209.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Условн. печ. л. 13,44. Учетно-изд. л. 14,2. Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 10 к. Заказ 649.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

1 р. 10 к.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ